

В.Г.
КОРОЛЕНКО

Владимир Галактионович Короленко

**Том 5. История моего
современника. Книга 1**
(Собрание сочинений в десяти томах #5)

Пятый том составляет первая книга «Истории моего современника».

«История моего современника» — крупнейшее произведение В. Г. Короленко, над которым он работал с 1905 по 1921 год. Писалось оно со значительными перерывами и осталось незавершенным, так как каждый раз те или иные политические события отвлекали Короленко от этого труда.

<http://ruslit.traumlibrary.net>

Содержание

История моего современника. Книга 1	0005
От автора	0005
Часть первая Раннее детство	0008
Часть вторая Начало учения. — Восстание	0168
Часть третья В уездном городе. — Ученические годы	0291
Часть четвертая В деревне	0428
Часть пятая Новые веяния	0502
Приложения	0668
Детская любовь *	0668
Мое первое знакомство с Диккенсом *	0731
Комментарии	0749

**Владимир Галактионович
Короленко
Собрание сочинений в
десяти томах
Том 5. История моего
современника. Книга 1**

История моего современника. Книга 1

От автора

В этой книге я пытаюсь вызвать в памяти и оживить ряд картин прошлого полустолетия, как они отражались в душе сначала ребенка, потом юноши, потом взрослого человека. Раннее детство и первые годы моей юности совпали с временем освобождения. Середина жизни протекла в период темной, сначала правительственной, а потом и общественной реакции и среди первых движений борьбы. Теперь я вижу многое из того, о чем мечтало и за что боролось мое поколение, врывающимся на арену жизни тревожно и бурно. Думаю, что многие эпизоды из времен моих ссыльных скитаний, события, встречи, мысли и чувства людей того времени и той среды не потеряли и теперь интереса самой живой действительности. Мне хочется думать, что они сохранят еще свое значение и для будущего. Наша жизнь колеблется и

вздрагивает от острых столкновений новых начал с отжившими, и я надеюсь хоть отчасти осветить некоторые элементы этой борьбы.

Но ранее мне хотелось привлечь внимание читателей к первым движениям зарождающегося и растущего сознания. Я понимал, что мне будет трудно сосредоточиться на этих далеких воспоминаниях под грохот настоящего, в котором слышатся раскаты надвигающейся грозы, но я не представлял себе, до какой степени это будет трудно.

Я пишу не историю моего времени, а только историю одной жизни в это время, и мне хочется, чтобы читатель ознакомился предварительно с той призмой, в которой оно отражалось... А это возможно лишь в последовательном рассказе. Детство и юность составляют содержание этой первой части.

Еще одно замечание. Эти записки не биография, потому что я не особенно заботился о полноте биографических сведений; не исповедь, потому что я не верю ни в возможность, ни в полезность публичной исповеди; не портрет, потому что трудно рисовать соб-

ственный портрет с ручательством за сходство. Всякое отражение отличается от действительности уже тем, что оно отражение; отражение заведомо неполное — тем более. Оно всегда, если можно так выразиться, гуще отражает избранные мотивы, а потому часто, при всей правдивости, привлекательнее, интереснее и, пожалуй, чище действительности.

В своей работе я стремился к возможно полной исторической правде, часто жертвуя ей красивыми или яркими чертами правды художественной. Здесь не будет ничего, что мне не встречалось в действительности, чего я не испытал, не чувствовал, не видел. И все же повторяю: я не пытаюсь дать собственный портрет. Здесь читатель найдет только черты из «истории моего современника», человека, известного мне ближе всех остальных людей моего времени...

Часть первая

Раннее детство

I. Первые впечатления бытия

Я помню себя рано, но первые мои впечатления разрознены, точно ярко освещенные островки среди бесцветной пустоты и тумана.

Самое раннее из этих воспоминаний — сильное зрительное впечатление пожара. Мне мог идти тогда второй год, но я совершенно ясно вижу и теперь языки пламени над крышей сарая во дворе, странно освещенные среди ночи стены большого каменного дома и его отсвечивающие пламенем окна. Помню себя, тепло закутанного, на чьих-то руках, среди кучки людей, стоявших на крыльце. Из этой неопределенной толпы память выделяет присутствие матери, между тем как отец, хромой, опираясь на палку, подымается по лестнице каменного дома во дворе напротив, и мне кажется, что он идет в огонь. Но это меня не пугает. Меня очень занимают мелькающие, как головешки, по дво-

ру каски пожарных, потом одна пожарная бочка у ворот и входящий в ворота гимназист с укороченной ногой и высоким наставным каблуком. Ни страха, ни тревоги я, кажется, не испытывал, связи явлений не устанавливал. В мои глаза в первый еще раз э жизни попадало столько огня, пожарные каски и гимназист с короткой ногой, и я внимательно рассматривал все эти предметы на глубоком фоне ночной тьмы. Звуков я при этом не помню: вся картина только безмолвно переливается в памяти плавучими отсветами багрового пламени.

Вспоминаю, затем, несколько совершенно незначительных случаев, когда меня держат на руках, унимают мои слезы или забавляют. Мне кажется, что я вспоминаю, но очень смутно, свои первые шаги... Голова у меня в детстве была большая, и при падениях я часто стучался ею об пол. Один раз это было на лестнице. Мне было очень больно, и я громко плакал, пока отец не утешил меня особым приемом. Он побил палкой ступеньку лестницы, и это доставило мне удовлетворение. Вероятно, я был тогда в периоде фетишизма и

предполагал в деревянной доске злую и враждебную волю. И вот ее бьют за меня, а она даже не может уйти... Разумеется, эти слова очень грубо переводят тогдашние мои ощущения, но доску и как будто выражение ее покорности под ударами вспоминаю ясно.

Впоследствии то же ощущение повторилось в более сложном виде. Я был уже несколько больше. Был необыкновенно светлый и теплый лунный вечер. Это вообще первый вечер, который я запомнил в своей жизни. Родители куда-то уехали, братья, должно быть, спали, нянька ушла на кухню, и я остался с одним только лакеем, носившим неблагозвучное прозвище Гандыло. Дверь из передней на двор была открыта, и в нее откуда-то, из озаренной луною дали, неслось рокотание колес по мощеной улице. И рокотание колес я тоже в первый раз выделил в своем сознании как особое явление, и в первый же раз я не спал так долго... Мне было страшно — вероятно, днем рассказывали о ворах. Мне показалось, что наш двор при лунном свете очень странный и что в открытую дверь со двора непременно войдет «вор». Я как будто знал,

что вор — человек, но вместе он представлялся мне и не совсем человеком, а каким-то человекообразным таинственным существом, которое делает мне зло уже одним своим внезапным появлением. От этого я вдруг громко заплакал.

Не знаю уж по какой логике, — но лакей Гандыло опять принес отцовскую палку и вывел меня на крыльцо, где я — быть может, по связи с прежним эпизодом такого же рода — стал крепко бить ступеньку лестницы. И на этот раз это опять доставило удовлетворение; трусость моя прошла настолько, что еще раза два я бесстрашно выходил наружу уже один, без Гандылы, и опять колотил на лестнице воображаемого вора, упиваясь своеобразным ощущением своей храбрости. На следующее утро я с увлечением рассказывал матери, что вчера, когда ее не было, к нам приходил вор, которого мы с Гандылом крепко побили. Мать снисходительно поддакивала. Я знал, что никакого вора не было и что мать это знает. Но я очень любил мать в эту минуту за то, что она мне не противоречит. Мне было бы тяжело отказаться от того воображаемого су-

щества, которого я сначала боялся, а потом положительно «чувствовал» при странном лунном сиянии между моей палкой и ступенькой лестницы. Это не была зрительная галлюцинация, но было какое-то упоение от своей победы над страхом...

Еще стоит островком в моей памяти путешествие в Кишинев к деду с отцовской стороны... Из этого путешествия я помню переправу через реку (кажется, Прут), когда наша коляска была установлена на плоту и, плавно колыхаясь, отделилась от берега или берег отделился от нее — я этого еще не различал. В то же время переправлялся через реку отряд солдат, причем, мне помнится, солдаты плыли по двое и по трое на маленьких квадратных плотиках, чего, кажется, при переправах войск не бывает... Я с любопытством смотрел на них, а они смотрели в нашу коляску и говорили что-то мне непонятное... Кажется, эта переправа была в связи с севастопольской войной...

В тот же вечер, вскоре после, переезда через реку, я испытал первое чувство резкого разочарования и обиды... Внутри просторной

дорожной коляски было темно. Я сидел у кого-то на руках впереди, и вдруг мое внимание привлекла красноватая точка, то вспыхивавшая, то угасавшая в углу, в том месте, где сидел отец. Я стал смеяться и потянулся к ней. Мать говорила что-то предостерегающее, но мне так хотелось ближе ознакомиться с интересным предметом или существом, что я заплакал. Тогда отец подвинул ко мне маленькую красную звездочку, ласково притаившуюся под пеплом. Я потянулся к ней указательным пальцем правой руки; некоторое время она не давалась, но потом вдруг вспыхнула ярче, и меня внезапно обжег резкий укус. Думаю, что по силе впечатления теперь этому могло бы равняться разве крепкое и неожиданное укушение ядовитой змеи, притаившейся, например, в букете цветов. Огонек казался мне сознательно хитрым и злым. Через два-три года, когда мне вспомнился этот эпизод, я прибежал к матери, стал рассказывать и заплакал. Это были опять слезы обиды...

Подобное же разочарование вызвало во мне первое купание. Река произвела на меня чарующее впечатление: мне были новы,

странны и прекрасны мелкие зеленоватые волны зыби, врывавшиеся под стенки купальни, и то, как они играли блесками, осколками небесной синевы и яркими кусочками как будто изломанной купальни. Все это казалось мне весело, живо, бодро, привлекательно и дружелюбно, и я упрашивал мать поскорее внести меня в воду. И вдруг — неожиданное и резкое впечатление не то холода, не то ожога... Я громко заплакал и так забился на руках у матери, что она чуть меня не выронила. Купание мое на этот раз так и не состоялось. Пока мать плескалась в воде с непонятным для меня наслаждением, я сидел на скамье, надувшись, глядел на лукавую зыбь, продолжавшую играть так же заманчиво осколками неба и купальни, и сердился... На кого? Кажется, на реку.

Это были первые разочарования: я кидался навстречу природе с доверием незнания, она отвечала стихийным бесстрашием, которое мне казалось сознательно враждебным...

Еще одно из тех первичных ощущений, когда явление природы впервые остается в сознании выделенным из остального мира как

особое и резко законченное, с основными его свойствами. Это — воспоминание о первой прогулке в сосновом бору. Здесь меня положительно заворожил протяжный шум лесных верхушек, и я остановился как вкопанный на дорожке. Этого никто не заметил, и все наше общество пошло дальше. Дорожка в нескольких саженьях впереди круто опускалась книзу, и я глядел, как на этом изломе исчезали сначала ноги, потом туловища, потом головы нашей компании... Я ждал с жутким чувством, когда исчезнет последней ярко-белая шляпа дяди Генриха, самого высокого из братьев моей матери, и наконец остался один... Я, кажется, чувствовал, что «один в лесу» — это, в сущности, страшно, но, как заколдованный, не мог ни двинуться, ни произнести звука и только слушал то тихий свист, то звон, то смутный говор и вздохи леса, сливавшиеся в протяжную, глубокую, нескончаемую и осмысленную гармонию, в которой улавливались одновременно и общий гул, и отдельные голоса живых гигантов, и колыхания, и тихие поскрипывания красных стволов... Все это как бы проникало в меня захватывающей

могучей волной... Я переставал чувствовать себя отдельно от этого моря жизни, и это было так сильно, что когда меня хватились и брат матери вернулся за мной, то я стоял на том же месте и не откликался... Подходившего ко мне дядю, в светлом костюме и соломенной шляпе, я видел точно чужого, незнакомо-го человека во сне...

Впоследствии и эта минута часто вставала в моей душе, особенно в часы усталости, как первообраз глубокого, но живого покоя... Природа ласково манила ребенка в начале его жизни своей нескончаемой, непонятной тайной, как будто обещающая где-то в бесконечности глубину познания и блаженство разгадки...

Как, однако, грубо наши слова выражают наши ощущения... В душе есть тоже много непонятого говора, который не выразить грубыми словами, как и речи природы... И это именно то, где душа и природа составляют одно...

.....

Все это разрозненные, отдельные впечатления полусознательного существования, не связанные как будто ничем, кроме личного

ощущения. Последним из них является переезд на новую квартиру... И даже не переезд (его я не помню, как не помню и прежней квартиры), а опять первое впечатление от нового дома, от нового двора и сада. Все это показалось мне новым миром, но странно: затем это воспоминание выпадает из моей памяти. Я вспомнил о нем только уже через несколько лет, и когда вспомнил, то даже удивился, так как мне представлялось в то время, что мы жили в этом доме вечно и что вообще в мире никаких крупных перемен не бывает. Основным фоном моих впечатлений за несколько детских лет является бессознательная уверенность в полной законченности и неизменяемости всего, что меня окружало. Если бы я имел ясное понятие о творении, то, вероятно, сказал бы тогда, что мой отец (которого я знал хромым) так и был создан с палкой в руке, что бабушку бог сотворил именно бабушкой, что мать моя всегда была такая же красивая голубоглазая женщина с русой косой, что даже сарай за домом так и явился на свет покосившимся и с зелеными лишаями на крыше. Это было тихое, устойчи-

вое нарастание жизненных сил, плавно уносившее меня вместе с окружающим мирком, а берега стороннего необъятного мира, по которым можно было бы заметить движение, мне тогда не были видны... И сам я, казалось, всегда был таким же мальчиком с большой головой, причем старший брат был несколько выше меня, а младший ниже... И эти взаимные отношения должны были остаться навсегда... Мы говорили иной раз: «Когда мы будем большими», или: «Когда мы умрем», но это была глупая фраза, пустая, без живого содержания...

Однажды утром мой младший брат, который и засыпал, и вставал раньше меня, подошел к моей постели и сказал с особенным выражением в голосе:

— Вставай скорее... Что. я тебе покажу!

— Что такое?

— Увидишь. Скорей, я ждать не стану.

И он опять ушел на двор с видом серьезного человека, не желающего терять время. Я торопливо оделся и вышел за ним. Оказалось, что какие-то незнакомые нам мужики совершенно разрушили наше парадное крыльцо.

От него оставалась куча досок и разной деревянной гнили, а выходная дверь странным образом висела высоко над землей. А главное — под дверью зияла глубокая рана из облупленной штукатурки, темных бревен и свай... Впечатление было резко, отчасти болезненно, но еще более поразительно. Брат стоял неподвижно, глубоко заинтересованный, и провожал глазами каждое движение плотников. Я присоединился к его безмолвному созерцанию, а вскоре к нам обоим присоединилась и сестра. И так мы простояли долго, ничего не говоря и не двигаясь. Дня через три-четыре новое крыльцо было готово на месте старого, и мне положительно казалось, что физиономия нашего дома совершенно изменилась. Новое крыльцо было явно «приставлено», тогда как старое казалось органической частью нашего почтенного цельного дома, как нос или брови у человека.

А главное — в душе отложилось первое впечатление «изнанки» и того, что под этой гладко выстроганной и покрашенной поверхностью скрыты сырые, изъеденные гнилью свай и зияющие пустоты...

II. Мой отец

По семейному преданию, род наш шел от какого-то миргородского казачьего полковника, получившего от польских королей гербовое дворянство. После смерти моего деда отец, ездивший на похороны, привез затейливую печать, на которой была изображена ладья с двумя собачьими головами на носу и корме и с зубчатой башней посередине. Когда однажды мы, дети, спросили, что это такое, то отец ответил, что это наш «герб» и что мы имеем право припечатывать им свои письма, тогда как другие люди этого права не имеют. Называется эта штука по-польски довольно странно: «Korab i lodzia» (ковчег и ладья), но какой это имеет смысл, сам отец объяснить нам не может; пожалуй, и никакого смысла не имеет... А вот есть еще герб, так тот называется проще: «Pchta na bgbenku hopki tnie»[1], и имеет более смысла, потому что казаков и шляхту в походах сильно кусали блохи... И, взяв карандаш, он живо набросал на бумаге блоху, отплясывающую на барабане, окружив ее щитом, мечом и всеми гербовыми атрибутами. Рисовал он порядочно, и мы смеялись.

Таким образом, к первому же представлению о наших дворянских «клейнодах» отец присоединил оттенок насмешки, и мне кажется, что это у него было сознательно. Мой прадед, по словам отца, был полковым писарем, дед — русским чиновником, как и отец. Крепостными душами и землями они, кажется, никогда не владели... Восстановить свои потомственно-дворянские права отец никогда не стремился, и, когда он умер, мы оказались «сыновьями надворного советника», с правами беспоместного служилого дворянства, без всяких реальных связей с дворянской средой, да, кажется, и с какой бы то ни было другой.

Образ отца сохранился в моей памяти совершенно ясно: человек среднего роста, с легкой склонностью к полноте. Как чиновник того времени, он тщательно брился; черты его лица были тонки и красивы. Орлиный нос, большие карие глаза и губы с сильно изогнутыми верхними линиями. Говорили, что в молодости он был похож на Наполеона Первого, особенно когда надевал по-наполеоновски чиновничью треуголку. Но мне трудно

было представить Наполеона хромым, а отец всегда ходил с палкой и слегка волочил левую ногу...

На лице его постоянно было выражение какой-то затаенной печали и заботы. Лишь изредка оно прояснялось. Иной раз он собирал нас к себе в кабинет, позволял играть и ползать по себе, рисовал картинки, рассказывал смешные анекдоты и сказки. Вероятно, в душе этого человека был большой запас благодущия и смеха: даже своим поучениям он придавал полу-юмористическую форму, и мы в эти минуты его очень любили. Но эти проблески становились с годами все реже, природная веселость все гуще задерживалась меланхолией и заботой. Под конец его хватало уже лишь на то, чтобы дотягивать кое-как наше воспитание, и в более сознательные годы у нас уже не было с отцом никакой внутренней близости... Так он и сошел в могилу, мало знакомый нам, его детям. И только долго спустя, когда миновали годы юношеской беззаботности, я собрал черта за чертой, что мог, об его жизни, и образ этого глубоко несчастного человека ожил в моей душе — и более

дорогой, и более знакомый, чем прежде.

Он был чиновник. Объективная история его жизни сохранилась поэтому в «послужных списках». Родился в 1810 году, в 1826-м поступил в писцы... Умер в 1868 году в чине надворного советника... Вот скудная канва, на которой, однако, вышиты были узоры всей человеческой жизни... Надежды, ожидания, проблески счастья, разочарование... Среди пожелтевших бумаг сохранилась одна, собственно ненужная впоследствии, но которую отец сберег как воспоминание. Это — полуофициальное письмо князя Васильчикова по поводу назначения отца уездным судьей в город Житомир. «Суд этот, — пишет князь Васильчиков, — по случаю присоединения к нему магистрата, принимая более обширный, а следственно, и более важный круг действий, требует председательствующего, который бы, вполне постигая свое назначение, дал судопроизводству удовлетворительное начало». В этих видах князь и выбирает отца. В конце письма «вельможа» с большим вниманием входит в положение скромного чиновника как человека семейного, для которо-

го перевод сопряжен с неудобствами, но с тем вместе указывает, что новое назначение открывает ему широкие виды на будущее, и просит приехать как можно скорее... Последние строки вписаны автором письма собственноручно, и тон проникнут уважением. Это была скромная, теперь забытая, неудавшаяся, но все же реформа, и блестящий вельможа, самодур и сатрап, как все вельможи того времени, не лишенный, однако, некоторых «благих намерений и порывов», звал в сотрудники скромного чиновника, в котором признавал нового человека для нового дела...

Это было... в 1849 году, и отцу предлагалась должность уездного судьи в губернском городе. Через двадцать лет он умер в той же должности в глухом уездном городишке...

Итак, он был по службе очевидный неудачник...

Для меня несомненно, что это объясняется его донкихотскою честностью.

Среда не очень ценит исключения, которых не понимает, и потому беспокоится... Каждый раз на новом месте отцовской службы неизменно повторялись одни и те же сце-

ны: к отцу являлись «по освященному веками обычаю» представители разных городских сословий с приношениями. Отец отказывался сначала довольно спокойно. На другой день депутации являлись с приношениями в усиленном размере, но отец встречал их уже грубо, а на третий бесцеремонно гнал «представителей» палкой, а те толпились в дверях с выражением изумления и испуга... Впоследствии, ознакомившись с деятельностью отца, все проникались к нему глубоким уважением. Все признавали, от мелкого торговца до губернского начальства, что нет такой силы, которая бы заставила судью покривить душою против совести и закона, но... и при этом находили, что если бы судья вдобавок принимал умеренные «благодарности», то было бы понятнее, проще и вообще «более по-людски».

Уже в период довольно сознательной моей жизни случился довольно яркий эпизод этого рода. В уездном суде шел процесс богатого помещика, графа Е-ского, с бедной родственницей, кажется вдовой его брата. Помещик был магнат с большими связями, средствами и влиянием, которые он деятельно пустил в

ход. Вдова вела процесс «по праву бедности», не внося гербовых пошлин, и все предсказывали ей неудачу, так как дело все-таки было запутанное, а на суд было оказано давление. Перед окончанием дела появился у нас сам граф; его карета с гербами раза два-три останавливалась у нашего скромного домика, и долговязый гайдук в ливрее торчал у нашего покосившегося крыльца. Первые два раза граф держался величаво, но осторожно, и отец только холодно и формально отстранял его подходы. Но в третий раз он, вероятно, сделал прямое предложение. Отец, внезапно вспыхнув, обругал аристократа каким-то неприличным словом и застучал палкой. Граф, красный и взбешенный, вышел от отца с угрозами и быстро сел в свою карету...

Вдова тоже приходила к отцу, хотя он не особенно любил эти посещения. Бедная женщина, в трауре и с заплаканными глазами, угнетенная и робкая, приходила к матери, что-то рассказывала ей и плакала. Бедняге все казалось, что она еще что-то должна растолковать судье; вероятно, это все были ненужные пустяки, на которые отец только отмахивался.

вался и произносил обычную у него в таких случаях фразу:

— А! Толкуй больной с подлекарем!.. Все будет сделано по закону...

Процесс был решен в пользу вдовы, причем все знали, что этим она обязана исключительно твердости отца... Сенат как-то неожиданно скоро утвердил решение, и скромная вдова стала сразу одной из богатейших помещиц не только в уезде, но, пожалуй, в губернии.

Когда она опять явилась в нашу квартиру, на этот раз в коляске, — все с трудом узнавали в ней прежнюю скромную просительницу. Ее траур кончился, она как будто даже помолодела и сияла радостью и счастьем. Отец принял ее очень радушно, с тою благосклонностью, которую мы обыкновенно чувствуем к людям, нам много обязанным. Но когда она попросила «разговора наедине», то вскоре тоже вышла из кабинета с покрасневшим лицом и слезами на глазах. Добрая женщина знала, что перемена ее положения всецело зависела от твердости, пожалуй, даже некоторого служебного героизма этого скромного

хромого человека... Но сама она не в силах ничем существенным выразить ему свою благодарность...

Ее это огорчило, даже обидело. На следующий день она приехала к нам на квартиру, когда отец был на службе, а мать случайно отлучилась из дому, и навезла разных материй и товаров, которыми завалила в гостиной всю мебель. Между прочим, она подозвала сестру и поднесла ей огромную куклу, прекрасно одетую, с большими голубыми глазами, закрывавшимися, когда ее клали спать...

Мать была очень испугана, застав все эти подарки. Когда отец пришел из суда, то в нашей квартире разразилась одна из самых бурных вспышек, какие я только запомню. Он ругал вдову, швырял материи на пол, обвинял мать и успокоился лишь тогда, когда перед подъездом появилась тележка, на которую навалили все подарки и отослали обратно.

Но тут вышло неожиданное затруднение. Когда очередь дошла до куклы, то сестра решительно запротестовала, и протест ее принял такой драматический характер, что отец после нескольких попыток все-таки уступил,

хотя и с большим неудовольствием.

— Через вас я стал-таки взяточником, — сказал он сердито, уходя в свою комнату.

На это все смотрели тогда как на бесцельное чудачество.

— Ну кому, скажи, пожалуйста, вред от благодарности, — говорил мне один добродетельный подсудок, «не бравший взятки», — подумай: ведь дело кончено, человек чувствует, что всем тебе обязан, и идет с благодарной душой... А ты его чуть не собаками... За что?

Я почти уверен, что отец никогда и не обсуждал этого вопроса с точки зрения непосредственного вреда или пользы. Я догадываюсь, что он вступил в жизнь с большими и, вероятно, не совсем обычными для того времени ожиданиями. Но жизнь затерла его в серой и грязной среде. И он дорожил как последней святыней этой чертой, которая выделяла его не только из толпы заведомых «взяточников», но также и из среды добродетельных людей тогдашней золотой середины... И чем труднее приходилось ему с большой и все возраставшей семьей, тем с большей чуткостью и исключительностью он отгоражи-

вал свою душевную независимость и гордость...

При этом одна черта являлась для меня впоследствии некоторой психологической загадкой: кругом стояло (именно «стояло», как загнившее болото) повальное взяточничество и неправда. Чиновники того самого суда, где служил отец, несомненно, брали направо и налево, и притом не только благодарности, но и заведомые «хабары». Я помню, как один «уважаемый» господин, хороший знакомый нашей семьи, человек живой и остроумный, на одном вечере у нас довольно многочисленной компании чрезвычайно картинно рассказывал, как однажды он помог еврею-контрабандисту увернуться от ответственности и спасти огромную партию захваченного товара... Контрабандисты обещали обогатить начинавшего карьеру мелкого чиновника, но... он исполнил их просьбу раньше, чем они свое обещание... Для расчета ему назначили свидание ночью в каком-то уединенном месте, где он и ждал до зари... Я очень живо помню картинное описание этой ночи; чиновник ждал еврея, как «влюбленный свою возлюб-

ленную». Он чутко вслушивался в ночные звуки, он лихорадочно поднимался навстречу каждому шороху... И все общество с захватывающим вниманием следило за переходами от надежды к разочарованию в этой взяточнической драме... Когда же оказалось, что чиновника надули, то драма разрешилась общим смехом, под которым, однако, угадывалось и негодование против евреев, и некоторое сочувствие к обманутому. Отец был тут же, и моя память ясно рисует картину: карточный стол, освещенный сальными свечами, за ним четыре партнера. Среди них — мой отец, а против него герой контрабандного анекдота, сопровождающий остротами каждую бросаемую карту. Отец весело смеется...

Вообще он относился к среде с большим благодушием, ограждая от неправды только небольшой круг, на который имел непосредственное влияние. Помню несколько случаев, когда он приходил из суда домой глубоко огорченный. Однажды, когда мать, с тревожным участием глядя в его расстроенное лицо, подала ему тарелку супу, — он попробовал

есть, съел две-три ложки и — отодвинул тарелку.

— Не могу... — сказал он.

— Дело кончилось? — спросила мать тихо.

— Да... каторга...

— Боже мой! — испуганно сказала мать. —

А ты что же?

— А! Толкуй больной с подлекарем, — ответил отец с раздражением. — Я! я!.. Что я могу сделать!

Но затем он прибавил мягче:

— Сделал что мог... Закон ясен.

Он не обедал в этот день и не лег, по обыкновению, спать после обеда, а долго ходил по кабинету, постукивая на ходу своей палкой. Когда часа через два мать послала меня в кабинет посмотреть, не заснул ли он, и, если не спит, позвать к чаю, — то я застал его перед кроватью на коленях. Он горячо молился на образ, и все несколько тучное тело его вздрагивало... Он горько плакал.

Но я уверен, что это были слезы сожаления к «жертве закона», а не разъедающее сознание своей вины, как его орудия. В этом отношении совесть его всегда была непоколебимо

спокойна, и когда я теперь думаю об этом, то мне становится ясна основная разница в настроении честных людей того поколения с настроением наших дней. Он признавал себя ответственным лишь за свою личную деятельность. Едкое чувство вины за общественную неправду ему было совершенно незнакомо. Бог, царь и закон стояли для него на высоте, не доступной для критики. Бог всемогущ и справедлив, но на земле много торжествующих негодяев и страдающей добродетели. Это входит в неведомые планы Высшей Справедливости — и только. Царь и закон — также не доступны человеческому суду, а если порой при некоторых применениях закона сердце поворачивается в груди от жалости и сострадания, это — стихийное несчастье, не подлежащее никаким обобщениям. Один гибнет от тифа, другой — от закона. Несчастливая судьба! Дело судьи — смотреть, чтобы закон, раз пущенный в ход, прилагался правильно. Но если и этого нет, если подкупная чиновничья среда извращает закон в угоду сильному, он, судья, будет бороться с этим в пределах суда всеми доступными ему средствами. Если за

это придется пострадать, он пострадает, но в деле номер такой-то всякая строка, внесенная его рукой, будет чиста от неправды. И в таком виде дело выйдет за пределы уездного суда в сенат, а может быть, и выше. Если сенат согласится с его соображениями — он будет искренно рад за правую сторону. Если и сенаторов подкупят сила и деньги, это — дело их совести, и когда-нибудь они ответят за это если не перед царем, то перед богом... Что законы могут быть плохи, это опять лежит на ответственности царя перед богом — он, судья, так же не ответствен за это, как и за то, что иной раз гром с высокого неба убивает неповинного ребенка...

Да, это было цельное настроение, род устойчивого равновесия совести. Внутренние их устои не колебались анализом, и честные люди того времени не знали глубокого душевного разлада, вытекающего из сознания личной ответственности за «весь порядок вещей»... Я не знаю, существует ли теперь эта цельность хоть в одной чиновничьей душе в такой неприкосновенности и полноте. Думаю, что нет. Время этого настроения ушло

безвозвратно, и уже сознательная юность моего поколения была захвачена разъедающим, тяжелым, но творческим сознанием общей ответственности... Отец умер рано. Если бы он жил дольше, то, несомненно, мы, молодежь, охваченная критикой, не раз услышали бы от него обычную формулу:

— Та-алкуй больной с подлекарем!

Причем, конечно, величественным подлекарем являлось бы то высокое и определяющее, что, по его мнению, должно было оставаться вне критики.

Но чем в конце концов закончилось бы это столкновение — теперь осталось тайной, о которой я думаю часто с печальным сожалением...

III. Отец и мать

У отца были свои причины для глубокой печали и раскаяния, которыми была окрашена вся, известная мне, его жизнь...

В молодых годах он был очень красив и пользовался огромным успехом у женщин. По-видимому, весь избыток молодых, может быть недюжинных, сил он отдавал разного рода предприятиям и приключениям в этой

области, и это продолжалось за тридцать лет. Собственная практика внушила ему глубокое недоверие к женской добродетели, и, задумав жениться, он составил своеобразный план для ограждения своего домашнего спокойствия...

В Ровенском уезде Волынской губерний, где он в то время служил исправником, жил поляк-шляхтич средней руки, арендатор чужих имений. Относительно этого человека было известно, что он одно время был юридическим владельцем и фактическим распорядителем огромного имения, принадлежавшего графам В. Старый граф смертельно заболел, когда его сын, служивший в гвардии в Царстве Польском, был за что-то предан военному суду. Опасаясь лишения прав и перехода имения в другую линию, старик призвал известного ему шляхтича и, взяв с него соответствующее обещание, сделал завещание в его пользу. После этого старик умер, сын был сослан в Кавказ рядовым, а шляхтич стал законным владельцем огромных имений... Когда через несколько лет молодой граф, отличавшийся безумною храбростью в сражениях с

горцами, был прощен и вернулся на родину, то шляхтич пригласил соседей, при них сдал, как простой управляющий, самый точный отчет по имениям и огромные суммы, накопленные за время управления. Молодой аристократ обнимал его, называл своим благодетелем и клялся в вечной дружбе. Но очень скоро забыл все клятвы и сделал какие-то нечестные и легкомысленные посягательства в семье своего благодетеля. Дед оскорбил барчука и ушел от него нищим, так как во все время управления имениями не позволял себе самовольно определить цифру своего жалованья. А магнат об этом после ссоры и не подумал...

Таково семейное предание об отце моей матери.

Семья у него была многочисленная (четыре дочери и два сына). Одна из дочерей была еще подросток, тринадцати лет, совсем девочка, ходившая в коротких платьях и игравшая в куклы. На ней именно остановился выбор отца. С безотчетным эгоизмом он, по-видимому, проводил таким образом план ограждения своего будущего очага: в семье, в которой

мог предполагать традиции общепризнанной честности, он выбирал себе в жены девочку-полуробенка, которую хотел воспитать, избегая периода девичьего кокетства... Дед был против этого раннего брака, но уступил настояниям своей жены. Формальные препятствия, вытекающие из несовершеннолетия невесты, были устранены свидетельством «пятнадцати обывателей»; из комнаты моей будущей матери вынесли игрушки, короткие платьица сменили подвенечным, и брак состоялся.

Подвести жизненные итоги — дело очень трудное. Счастье и радость так перемешаны с несчастьем и горем, что я теперь не знаю, был ли счастлив или несчастен брак моих родителей...

Начинался он, во всяком случае, очень тяжело для матери...

Ко времени своей свадьбы она была болезненная девочка, с худенькой, не вполне сложившейся фигуркой, с тяжелой светло-русой косой и прекрасными, лучистыми серо-голубыми глазами. Через два года после свадьбы у нее родилась девочка, которая через неделю

умерла, оставив глубокий рубец в ее еще детском сердце. Отец оказался страшно ревнив. Ревность его сказывалась дико и грубо: каждый мужской взгляд, брошенный на его молоденькую жену, казался ему нечистым, а ее детский смех в ответ на какую-нибудь шутку в обществе представлялся непростительным кокетством. Дело доходило до того, что, уезжая, он запирали жену на замок, и молодая женщина, почти ребенок, сидя взаперти, горько плакала от детского огорчения и тяжелой женской обиды...

На третьем или четвертом году после свадьбы отец уехал по службе в уезд и ночевал в утарной избе. Наутро его вынесли без памяти в одном белье и положили на снег. Он очнулся, но половина его тела оказалась парализованной. К матери его доставили почти без движения, и, несмотря на все меры, он остался на всю жизнь калекой...

Таким образом, жизнь моей матери в самом начале оказалась связанной с человеком старше ее больше чем вдвое, которого она еще не могла полюбить, потому что была совершенно ребенком, который ее мучил и

оскорблял с первых же дней, и наконец стал калекой...

И все-таки я не могу сказать — была ли она несчастна...

Уже на моей памяти, по чьему-то доносу возникло дело о расторжении этого брака, и отец был серьезно напуган этим делом. В нашем доме стали появляться какие-то дотоле невиданные фигуры в мундирах с медными пуговицами, которых отец принимал, угощал обедами, устраивал для них карточные вечера. Особенно из этой коллекции консисторских чиновников запомнился мне секретарь, человек низенького роста, в долгополом мундире, фалды которого чуть не волочились по полу, с нечистым лицом, производившим впечатление красной пропускной бумаги с чернильными кляксами. Глаза у него были маленькие, блестящие и быстрые. Прежде чем сесть за обеденный стол, он обыкновенно обходил гостиную, рассматривая и трогая руками находившиеся в ней предметы. И я замечал, что те предметы, на которых с особенным вниманием останавливались его остренькие глазки, вскоре исчезали из нашей

квартиры. Так исчезла, между прочим, семейная драгоценность — большой телескоп, в который отец показывал нам луну... Мы очень жалели эту трубу, но отец с печальной шутливостью говорил, что этот долгополый чиновник может сделать так, что он и мама не будут женаты и что их сделают монахами. А так как у неженатых, и притом монахов, не должно быть детей, то, значит, прибавлял отец, и вас не будет. Мы, конечно, понимали, что это шутка, но не могли не чувствовать, что теперь вся наша семья непонятным образом зависит от этого человека с металлическими пуговицами и лицом, похожим на кляксу.

Однажды в это время я вбежал в спальную матери и увидел отца и мать с заплаканными лицами. Отец нагнулся и целовал ее руку, а она ласково гладила его по голове и как будто утешала в чем-то, как ребенка. Я никогда ранее не видел между отцом и матерью ничего подобного, и мое маленькое сердчишко сжалось от предчувствия.

Оказалось, однако, что кризис миновал благополучно, и вскоре пугавшие нас консис-

торские фигуры исчезли.

Но я и теперь помню ту минуту, когда я застал отца и мать такими растроганными и исполненными друг к другу любви и жалости. Значит, к тому времени они уже сжились и любили друг друга тихо, но прочно.

Этот именно тон взаимного уважения и дружбы застаёт моя память во весь тот период, когда мир казался мне неизменным и неподвижным.

Отец был человек глубоко религиозный и, кажется, в своем несчастье видел праведное воздаяние за грехи молодости. Ему казалось, кроме того, что за его грехи должны заплатить также и дети, которые будут непременно слабыми и которых он не успеет «вывести в люди». Поэтому одной из его главных забот было лечение себя и нас. А так как он был человек с фантазиями и верил в чудодейственные универсальные средства, то нам пришлось испытать на себе благодетельное действие аппретур на руках, фонтанелей за ушами, рыбьего жира с хлебом и солью, кровоочистительного сиропа Маттеи, пилюль Мориссона и даже накальвателя некоего Бон-

шайта, который должен был тысячью мелких уколов усиливать кровообращение. Потом появился в нашей квартире гомеопат, доктор Червинский, круглый человек с толстой палкой в виде кадуцея со змеей. В этот период мой старший брат, большой лакомка, добрался как-то в отсутствие родителей до гомеопатической аптечки и съел сразу весь запас мышьяка в пилюлях. Отец сначала очень испугался, но когда убедился, что брат остался в вожделенном здравии, то... усомнился в гомеопатии...

После этого глубокомысленные сочинения Ганемана исчезли с отцовского стола, а на их месте появилась новая книжка в скромном черном переплете. На первой же странице была виньетка со стихами (на польском языке):

*Если хочешь стать крепким,
жить долгие годы,
Купайся, обливайся, пей холодную
воду...*

Для вящей убедительности на виньетке были изображены три голых человека изрядного телосложения, из коих один стоял под

душем, другой сидел в ванне, а третий с видимым наслаждением опрокидывал себе в глотку огромную кружку воды...

Мы, дети, беспечно рассматривали эту вишнетку, но истинное значение ее поняли только на следующее утро, когда отец велел поднять нас с постелей и привести в его комнату. В этой комнате стояла широкая бадья с холодной водой, и отец, предварительно проделав всю процедуру над собой, заставил нас по очереди входить в бадью и, черпая жестяной кружкой ледяную воду, стал поливать нас с головы до ног. Это было большое варварство, но вреда нам не принесло, и вскоре мы «закалились» до такой степени, что в одних рубашках и босые спасались по утрам с младшим братом в старую коляску, где, дрожа от холода (дело было осенью, в период утренних заморозков), ждали, пока отец уедет на службу. Мать всякий раз обещала отцу выполнить добросовестно по нашем возвращении акт обливания, но... бог ей, конечно, простит — иной раз в этом отношении обманывала отца... А так как при этом мы весь день проводили, невзирая ни на какую погоду, на возду-

хе, почти без всякого надзора, то вскоре даже мнительность отца уступила перед нашим неизменно цветущим видом и неуязвимостью...

Эта вера в «книгу и науку» была вообще заметной и трогательной чертой в характере отца, хотя иной раз вела к неожиданным результатам. Так, однажды он купил где-то брошюру, автор которой уверял, что при помощи буры, селитры и, кажется, серного цвета можно изумительно раскармливать лошадей при чрезвычайно скромных порциях обычного лошадиного корма. У нас была тогда пара рослых мерингов, над которыми отец и стал производить опыты. Бедные лошади худели и слабели, но отец до такой степени верил в действительность научного средства, что совершенно не замечал этого, а на тревожные замечания матери, как бы лошади от этой науки не издохли, отвечал:

— Толкуй больной с подлекарем! Толстеют, а ты говоришь глупости. Правда, Филипп, толстеют?

— А таки потолстели, — отвечал хитрый кучер...

«Лошади судьи» прославились по всему городу необычайной худобой и жадностью, с которой они грызли коновязи и заборы, но отец замечал только «поправку», пока одна из них не издохла без всякой видимой причины... Я помню выражение горестного изумления и раскаяния, с которыми отец стоял над трупом бедной страдальицы. Другую лошадь он тотчас же велел накормить овсом и сеном без научной приправы и затем, кажется, продал... Впрочем, впоследствии оказалось, что в этой неудаче виновна была не одна наука, но и кучер, который пропивал и то небольшое количество овса, какое полагалось, оставляя лошадей на одной только буре с селитрой... Как бы то ни было, опыт больше не возобновлялся...

По-видимому, у отца бродили еще долго какие-то прежние планы, и он стремился выбиться из крепких тисков серой чиновничьей рутины. То он приобретал телескоп и астрономические сочинения, то начинал изучать математику, то покупал итальянские книги и обзаводился словарями... Вечерние досуги, не занятые писанием бумаг и решений, он по-

свящал чтению и порой ходил по комнатам, глубоко обдумывая прочитанное. Иной раз он делился своими мыслями с матерью, а иногда даже, если матери не было поблизости, с трогательным, почти детским простодушием обращался к кому-нибудь из нас, детей...

Помню, однажды я был с ним один в его кабинете, когда он, отложив книгу, прошелся задумчиво по комнате и, остановившись против меня, сказал:

— Философы доказывают, что человек не может думать без слов... Как только человек начнет думать, так непременно... понимаешь? в голове есть слова... Гм... Что ты на это скажешь?

И, не дожидаясь ответа, он начал шагать из угла в угол, постукивая палкой, слегка вполоча левую ногу и, видимо, весь отдаваясь проверке на себе психологического вопроса. Потом опять остановился против меня и сказал:

— Если так, то, значит, собака не думает, потому что не знает слов.

— Рябчик понимает слова, — ответил я с убеждением.

— Это что! Мало.

Я был тогда совсем маленький мальчик, еще даже не учившийся в пансионе, но простота, с которой отец предложил вопрос, и его глубокая вдумчивость заразили меня. И пока он ходил, я тоже сидел и проверял свои мысли... Из этого ничего не вышло, но и впоследствии я старался не раз уловить те бесформенные движения и смутные образы слов, которые проходят, как тени, на заднем фоне сознания, не облакаясь окончательно в определенные формы.

— А вот англичане, — сказал отец в другой раз за обедом, когда мы все были в сборе, — предлагают большие деньги тому, кто выдумает новое слово.

— Великая штука! — самонадеянно сказал старший брат, — я сейчас выдумаю.

И он, не задумываясь, брякнул какое-то совершенно ни с чем не сообразное слово. Мы засмеялись.

— А! Дурак! — сказал отец, видимо раздосадованный таким легким отношением к задаче ученых англичан. Но мы все приняли сторону брата.

— Почему же дурак, когда он действительно выдумал?

— Выдумал, выдумал! А что же оно значит?

— Оно?.. — Брат несколько затруднился, но тотчас же ответил — Ничего не значит, но новое...

— То-то вот и есть, что ты дурак! Нужно, чтобы значило, и чтобы было с толком, и чтобы другого слова как раз с таким значением не было... А так — мало ли что ты выдумаешь!.. Ученые не глупее вас и говорят не на смех...

— Но все-таки, — прибавил он затем, — выдумать, кажется, можно...

— Некоторые философы думают, — сказал он в другой раз опять за столом, — что бога нет.

— А! Глупости, — сказала мать, — для чего ты повторяешь глупые слова...

— Толкуй больной с подлекарем! — ответил отец, — Это говорят не дураки, а ученые люди...

— Кто же тогда создал мир и человека?

— Один англичанин доказывает, что чело-

век произошел от обезьяны.

— А обезьяна откуда?

Все мы, и отец в том числе засмеялись.

— Это, конечно, заблуждение разума, — сказал отец и прибавил убежденно и несколько торжественно: — Бог, дети, есть, и он все видит... все. И тяжело наказывает за грехи...

Не помню, в этот или другой раз, он сказал с особенным выражением:

— В Писании сказано, что родители наказываются в детях до семьдесят седьмого колена... Это уже может показаться несправедливым, но... может быть, мы не понимаем... Все-таки бог милосерд.

Только теперь я понимаю, какое значение имело для него это изречение... Он боялся, что мы будем нести наказание за его грехи. И его совесть восставала против несправедливой кары, а вера требовала покорности и давала надежду...

В послужном списке отца значится, что он получил образование в «непривилегированном пансионе» в городе Кишиневе... Очевидно, это образование равнялось «домашнему». Но почти до конца своей жизни он сохранил

умственные запросы, и первые понятия, выходящие за пределы известного мне тогда мира, понятия о том, что есть бог и есть какая-то наука, исследующая природу души и начала мира, — мы, дети, получили от этого простодушного полуобразованного человека. Эти понятия были наивны и несложны, но, может быть, именно вследствие этой почти детской наивности они глубоко западали в душу и навсегда остались в ней как первые семена будущих мыслей...

IV. Двор и улица

Тот дом, в котором, казалось мне, мы жили всегда, был расположен в узком переулке, выбегавшем на небольшую площадь. К ней сходилась несколько улиц; две из них вели на кладбища.

Одна из этих последних называлась шоссе. По ней пробегали почтовые пары с подвязанными колокольчиками, и так как, собственно, наиболее оживленная часть города здесь кончалась, то иной раз почтари останавливали лошадей и отвязывали колокольчики. Тогда дальше почта трогалась уже со звоном, который постепенно стихал, все удаляясь и

замирая, пока повозка, тоже все уменьшаясь, не превращалась в маленькую точку. Эта улица была длинная и прямая. На ней дома чередовались с заборами, пустырями, вросшими в землю хибарками, и перспектива ее заканчивалась вдали купами зелени, свешивавшейся из-за заборов. С одной стороны это было «православное» кладбище, с другой — чей-то обывательский сад. Между этими пятнами зелени все, что удалялось по шоссе за город, мелькало в последний раз и скрывалось в неизвестную и бесконечную даль... Мы с братом часто смотрели от угла нашего переулка или с высоты забора, как исчезали в этой перспективе почтовые повозки, высокие еврейские балагулы, неуклюжие дилижансы, мужичьи телеги. И когда кого-нибудь хоронили, мы не могли уйти с угла до тех пор, пока похоронный кортеж не достигал этой предельной точки. Тогда бесформенное пятно людской толпы как будто еще раз разворачивалось яснее. Хоругви мелькали и наклонялись под воротами и ветвями деревьев, выравнивался перпендикулярно катафалк, и все это втягивалось в кладбищенскую ограду. Тогда мы знали, что «все

кончено»... Первые, наиболее яркие и глубокие впечатления дали связаны у меня с этой длинной перспективой шоссе, и, быть может, их глубине и некоторой мечтательности, которая и вообще сродна представлениям о дали, содействовала эта связь с похоронами и смертью...

Улица эта немного подымалась по мере удаления, и потому все, приближавшееся по ней к центру города, как бы скатывалось вниз... И я еще теперь помню чувство изумления, охватившее меня в самом раннем детстве, когда небольшое квадратное пятно, выползшее в ее перспективе из-за горизонта, стало расти, приближаться, и через некоторое время колонны солдат заняли всю улицу, заполнив ее топотом тысячей ног и оглушительными звуками оркестра. Солдаты были в круглых шапочках без козырьков и в кургузых, сильно поношенных кафтанчиках, офицеры в жестких киверах с султанами или металлическими шишками. Все они шли мерно, в ногу, и было что-то суровое в этом размеренном движении...

Все кругом говорили, что они возвращают-

ся с войны «из-под Севастополя»...

По шоссе проходили также арестанты, звеня кандалами, а один раз провезли какого-то мрачного человека для «торговой казни»... Впереди шел взвод солдат, и четыре барабанщика отбивали суровую, мерную дробь... На каждом шагу барабанщиков барабаны приподнимались на их левой ноге, но дробь лилась безостановочно, такая же мерная и зловещая... За ними ехала телега, на которой была воздвигнута высокая скамья, и к ее спинке были привязаны назад руки сидевшего на ней человека. Голова его, ничем не покрытая, была низко опущена и моталась при встрясках на мостовой, а на груди наклонно висела доска с надписью белыми буквами... И вся эта мрачная фигура плыла высоко над толпой, как бы господствуя над стремительным людским потоком... За телегой шел взвод солдат и бежали густые толпы народа... На площадь, конечно, нас не пустили, но лакей Гандыло, который убежал туда за толпой, рассказывал потом в кухне с большим увлечением, как на эшафоте палач уложил «смертоубийцу» на «кобылу», как расправлял кнут и при этом

будто бы приговаривал:

— Отец и мать тебя не учили, так я тебя научу.

Потом вскрикивал: «Берегись, ожгу», и затем по всей площади разносился свист плети и нечеловеческий крик наказываемого... Женщины из нашей прислуги тоже вскрикивали и крестились...

Это была, кажется, последняя «торговая казнь» в нашем городе...

Вообще — по длинному прямому шоссе двигалось и в город, и из города много интересного, нового, иногда страшного...

Другая кладбищенская улица круто сворачивала около нашего переулка влево. Она вела на кладбища — католическое и лютеранское, была широка, мало заселена, не вымощена и покрыта глубоким песком. Траурные колесницы здесь двигались тихо, увязая по ступицы в чистом желтом песке, а в другое время движения по ней было очень мало.

На остром углу этой улицы и нашего переулка стояла полицейская будка, где жил старый будочник (с алебардой, вскоре упраздненной); а за будкой, среди зелени чьего-то

сада, высилась огромная «фигура» — старый польский крест с крышкой, прикрывавшей распятую фигуру Христа. Какой-то набожный человек воздвиг ее на этом узловом перекрестке, и она своими распростертыми раменами как бы провожала на вечный покой и тех, что удалялись по шоссе, и тех, которых траурные кони, утопая в песке, тихо увозили на польское кладбище. А напротив «фигуры» стоял старый-престарый кабак, дряхлое темное здание, сильно покосившееся и подпертое с улицы бревнами. Там почти беспрестанно пилила скрипица и ухал бубен. Иногда громкий пронзительный женский плач провожавших гробы смешивался с этим диким уханьем и пьяными криками.

Времена были простые.

Двор наш был уютный и тихий. От больших улиц он отделялся двумя каменными домами, по-местному «каменицами». В одной из этих камениц жили наши домохозяева, квартира и обстановка которых казались мне верхом роскоши и богатства. Ворота выходили в переулок, и над ними низко свешивались густые ветки старого серебристого тополя. Ку-

чер хозяйской коляски, казавшийся очень важным, в серой ливрее, въезжая в ворота, всякий раз должен был низко наклонять голову, чтобы ветки не сорвали его высокую шляпу с позументной лентой и с бантом...

Наш флигель стоял в глубине двора, при-мыкая с одной стороны к каменице, с другой — к густому саду. За ним был еще флигелек, где жил тоже с незапамятных времен военный доктор Дударев.

Хозяин нашего дома был поляк, которого величали «пан коморник» (землемер). Это был очень старый человек, высокий, статный (несмотря на некоторую полноту), с седыми усами и седыми же волосами, подстриженными в кружок. В будни он с самого утра в синем кафтане ходил по двору, хлопоча по хозяйству, как усердный управляющий. По воскресеньям надевал роскошный цветной кунтуш синего или малинового цвета с вылетами (откидные рукава), какой-нибудь светлый жупан, широкие бархатные шаровары и рогатую конфедератку, перепоясывался роскошным поясом, привешивал кривую саблю и шел с молитвенником в костел. Жена (гораз-

до моложе его) и женщины из ее штата ездили в коляске, запряженной прекрасными лошадьми, но он всегда ходил пешком. Когда он заболел, то приказывал жарко истопить печь в кухне, постелить соломы и, раздевшись, лез туда. Затем он выходил из печи распаренный, пил липовый цвет и на следующее утро опять хлопотал по двору и в конюшне.

Все это я узнал уже по позднейшим рассказам, а самого Коляновского помню вполне ясно только уже в последние дни его жизни. Однажды он почувствовал себя плохо, прибег к обычному средству, но оно не помогло. Тогда он сказал жене:

— Теперь буду умирать...

Жена призвала докторов. На нашем дворе стали появляться то доктор-гомеопат Червинский с своей змеей, то необыкновенно толстый Войцеховский... Старый «коморник» глядел очень сомнительно на все эти хлопоты и уверенно твердил, что скоро умрет.

В это время я ясно припоминаю себя в комнате больного. Я сидел на полу, около кресла, играл какой-то кистью и не уходил по целым часам. Не могу теперь отдать себе отчет, ка-

кая идея овладела в то время моим умом, помню только, что на вопрос одного из посетителей, заметивших меня около стула: «А ты, малый, что тут делаешь?» — я ответил очень серьезно:

— Старого Коляновского караулю.

У больного зашевелился живот, и он, болезненно улыбаясь, сказал:

— Не укараулишь (nie dopilnujesz).

И действительно, я его не укараулил: через два-три дня после этого старый Коляновский лежал, важный и торжественный, на катафалке. Его одели, как в воскресенье, в палевый жупан и синий кунтуш, положили около кривую саблю, а рядом на стуле лежала рогатая конфедератка с пером. Его лицо, красное при жизни, было теперь так же бело, как усы... На следующий день наш двор наполнился множеством людей, принесли хоругви, и огромный катафалк не мог въехать с переулка. Тогда кто-то из дворни влез на ствол серебристого тополя и стал рубить большую нижнюю ветку. Когда она лежала на земле, я смотрел и на нее и на образовавшийся таким образом пролет над воротами с таким же чув-

ством, как и на странную фигуру Коляновского. Я, может быть, и знал, что это смерть, но она не была мне тогда еще ни страшна, ни печальна... Просто ветка странным образом склонилась листьями к земле, чего с ней прежде никогда не бывало. А Коляновский оделся, чтобы идти в костел, но вместо этого лежит целый день на столе.

После похорон некоторое время во дворе толковали, что ночью видели старого «коморника», как при жизни хлопотавшим по хозяйству. Это опять была с его стороны странность, потому что прежде он всегда хлопотал по хозяйству днем... Но в то время, кажется, если бы я встретил старика где-нибудь на дворе, в саду или у конюшни, то, вероятно, не очень бы удивился, а только, пожалуй, спросил бы объяснения его странного и ни с чем не сообразного поведения, после того как я его «не укараулил»...

В те годы старопольский костюм вышел уже из употребления или даже был запрещен. Но богатый и своенравный «коморник» не уступал новым обычаям, жил и сошел в могилу, верный себе и своему времени. И ко-

гда я теперь вспоминаю эту характерную, не похожую на всех других людей, едва промелькнувшую передо мной фигуру, то впечатление у меня такое, как будто это — само историческое прошлое Польши, родины моей матери, своеобразное, крепкое, по-своему красивое, уходит в какую-то таинственную дверь мира в то самое время, когда я открываю для себя другую дверь, провожая его ясным и зорким детским взглядом...

Жизнь нашего двора шла тихо, раз заведенным порядком. Мой старший брат был на два с половиной года старше меня, с младшим мы были погодки. От этого у нас с младшим братом установилась, естественно, большая близость. Вставали мы очень рано, когда оба дома еще крепко спали. Только в конюшне конюхи чистили лошадей и выводили их к колодцу. Иногда нам давали вести их в поводу, и это доверие очень подымало нас в собственном мнении.

За конюхами просыпались кухарки и шли за дровами в сарай.

В 8 1/2 часов отцу подавали бричку, и он отправлялся в должность. Это повторялось

ежедневно и казалось нам законом природы, как и то, что часов около трех мать уже хлопчет около стола. В три часа опять раздавался грохот колес, и отец входил в дом, а из кухни несли суповую миску...

В этот промежуток дня наш двор замирал. Конюхи от нечего делать ложились спать, а мы с братом слонялись по двору и саду, смотрели с заборов в переулок или на длинную перспективу шоссе, узнавали и делились новостями... А солнце, поднимаясь все выше, раскаляло камни мощеного двора и заливало всю нашу усадьбу совершенно обломовским томлением и скукой...

У меня осталось одно странное воспоминание, связанное с часами этого знойного и томительного безделья... К нам во двор забрела кошка с подбитой ногой. Мы стали кормить ее, и она прижилась. Иногда, в жаркий полдень, я разыскивал эту кошку, брал ее с собой на задний двор, где у нас лежали кузова старых саней, и, улегшись в одном из этих кузовов, принимался ласкать ее. Кошка благодарно мурлыкала, лизала мне лицо, глядела в глаза и, казалось, совершенно сознательно

отвечала взаимностью на мое расположение и жалость. И это чувство дружбы с животным заполняло минуты, порой даже часы...

Но по мере того как нога у нее заживала и сама она, раскормленная и сытая, становилась благополучнее, ее благодарность исчезала. Прежде она шла на всякий мой зов, появляясь невесть из каких углов и закоулков, теперь случалось, что она ускользала от меня, явно прикидываясь, что не слышит.

Так она поступила и в один жаркий день, когда я, рассорившись с братом, почувствовал особенную потребность в ее дружбе. Она проходила мимо садового забора и, когда я ее позвал, попыталась лукаво проскользнуть в щель. Но я все-таки успел захватить ее...

На этот раз она очень холодно отвечала на мои ласки. В глазах ее не было прежней взаимности, и, улучив удобную минутку, она попыталась ускользнуть. Меня охватил гнев. Ее поведение казалось мне верхом неблагодарности, и, кроме того, мне страстно хотелось вернуть наши прежние дружеские отношения. Вдруг в уме мелькнула дикая мысль, что она любила меня, пока ей было больно, а мне

ее жалко... Я схватил ее за хвост и перекинул себе через плечо.

Кошка взвизгнула и больно вцепилась когтями в мою спину. Я выпустил ее, и она умчалась, как стрела, а я остался с сознанием своей вины и жгучего стыда... После этого мне стоило много труда залучить ее опять, а когда удалось, то я употребил все меры, чтобы растолковать ей, что я сознаю свою вину и теперь взял ее только для того, чтобы помириться... Дальнейшие наши отношения были мирные, хотя и довольно холодные, но я до сих пор помню эту странную вспышку искусственной жалости под влиянием томительного безделья на раскаленном и до скуки знакомом дворе...

Что делать! Всякое чувство имеет цену, лишь пока свободно. Попытки вернуть его во что бы то ни стало и в людских отношениях кончаются по большей части царапинами...

V. «Тот свет». — Мистический страх

Мне трудно вспомнить, когда я в первый раз услышал о «том свете». Вероятно, это потому, что слышал я это очень рано и слова явились гораздо ранее, чем их значение.

Я знал с незапамятных времен, что у нас была маленькая сестра Соня, которая умерла и теперь находится на «том свете», у бога. Это было представление немного печальное (у матери иной раз на глазах бывали слезы), но вместе светлое: она — ангел, значит, ей хорошо. А так как я ее совсем не знал, то и она, и ее пребывание на «том свете» в роли ангела представлялось мне каким-то светящимся туманным пятнышком, лишенным всякого мистицизма и не производившим особенного впечатления...

Потом на «тот свет» отправился пан Коляновский, который, по рассказам, возвращался оттуда по ночам. Тут уже было что-то странное. Он мне сказал: «Не укараулишь», значит, как бы скрылся, а потом приходит тайком от домашних и от прислуги. Это было непонятно и отчасти коварно, а во всем непонятном, если оно вдобавок сознательно, есть уже элемент страха...

Еще года через два или три «тот свет» глянул на нас, как зарница из темной тучи, зловеще ощутительно и ясно...

У нас был знакомый мальчик и сверстник,

Славек Лисовский. Я не знаю, что это за имя, но его так звали, и нам имя нравилось, как и он сам. Он ходил в коротенькой курточке и носил белые воротнички, был тонок и высок не по летам. Когда он пришел в первый раз, то сначала и он, и его походка, и его кургузая курточка, и белые воротнички с манжетами показались нам необыкновенно смешными. Но уже через полчаса после первого знакомства в этом долговязом мальчике вспыхнула такая масса непосредственного веселья и резвости, что мы были совершенно очарованы. И каждый раз, когда он приходил к нам, у нас начинался живой, веселый кавардак, часто переходивший далеко за обычные границы наших шалостей.

Однажды он был у нас почти весь день, и нам было особенно весело. Мы лазали по заборам и крышам, кидались камнями, забирались в чужие сады и ломали деревья. Он изорвал свою курточку на дикой груше, и вообще мы напроказили столько, что еще дня два после этого всё боялись последствий.

Совість у всех была неспокойна...

И вот, на третий день, часа в три, вскоре

после того как на дворе прогремели колеса отцовской брички, нас позвали не к обеду, а в кабинет отца.

Мы были уверены, что дело идет о наказании, и вошли в угнетенном настроении. В кабинете мы увидели мать с встревоженным лицом и слезами на глазах. Лицо отца было печально.

— Дети, — сказал он, увидев нас, — я должен вам объявить печальную и страшную новость: Славек вчера вечером умер.

Я помню, что никто из нас не сказал на это ни одного слова, и, я думаю, старшим могло показаться, что известие не произвело на детей никакого впечатления. Мы тихо вышли из комнаты и сели за стол. Но никто из нас не радовался, что отцовская гроза миновала. Мы чувствовали какую-то другую грозу, неведомую и мрачную...

На следующий день нас взяли на похороны Славка. Жили они на песчаной кладбищенской улице, почти у самого кладбища, и я первый раз почувствовал, что такое смерть... Славек, такой же тонкий, еще как будто выше ростом, в такой же темно-зеленой курточке с

белыми воротничками лежал на столе, как и пан Коляновский, — совершенно белый и неподвижный. Кругом горели желтым пламенем траурные свечи, воздух был спертый, насыщенный чем-то особенным, в комнате слышались тихие разговоры и вздохи. А когда Славка, подняв вместе с гробом на плечи, понесли из комнаты на двор, то мать его громко кричала и билась на руках у людей, прося, чтобы и ее зарыли в землю вместе с сыном и что она сама виновата в его смерти.

Вечером у нас на кухне прислуга шепотом передавала, что Славка родители высекли за разорванную куртку и за шалости. Он целовал у них руки, обещал, что никогда больше не будет, просил хоть на этот раз простить его и лучше очень больно высечь когда-нибудь в другой раз, потому что теперь он непременно умрет. «Значит, душа его знала», — прибавляли при этом многозначительно. Но родители не поверили и все-таки высекли. В ту же ночь с ним сделался сильный жар, позвали доктора... а к следующему вечеру он умер, кажется, «от горла»...

Весь день у нас только и было разговоров

об этой смерти. У матери вид был испуганный: она боялась за нас (хотя тогда не так еще верили в «заразу») и плакала о чужом горе. Кажется, именно в этот день вечером пришел к нам пан Скальский, большой приятель отца и мой крестный. У него год назад умер сын в киевском корпусе. Горе его еще не совсем улеглось, а теперь ожило, и он рассказывал о том, как он узнал о смерти сына. По вызову начальника корпуса он приехал в Киев, но это было уж вечером, и идти в корпус было поздно. Он остановился недалеко, в какой-то гостинице, и долго сидел у открытого окна. Ночь была теплая, ясная, тихая... его не покидали мысли о больном сыне. Наконец он запер окно и потушил свечу...

— И вдруг, — так приблизительно рассказывал Скальский, печально-спокойным и убежденным голосом, — слышу: кто-то стучится в окно... вот так: раз, два и три... Я встал с постели, подошел к окну... Никого, да и окно во втором этаже... Лег опять и опять слышу: стук-стук, стук-стук... тихонько, будто кто просится в комнату... А луна светит ярко, так все и заливает... Встал я опять, подошел к ок-

ну, гляжу: в нижнее стекло бьется что-то... маленький комочек такой, бьется и стучает... Я опять отошел, и вдруг сердце у меня так и упало... Бросился к окну, открываю...

— И что же? — спросил отец.

— Жук... — ответил Скальский с печальной серьезностью.

— Жук?

— Да, жук... большой, темный... Отлетел от окна и полетел... по направлению, где корпус. А месяц! Все видно, как днем. Я смотрел вслед и некоторое время слышал... ж-ж-ж... будто стонет. И в это время на колокольне ударили часы. Считаю: одиннадцать.

— Что ж такое? — сказал опять отец спокойно. — Ну, прилетел жук, и больше ничего.

— Погоди, — ответил Скальский. — На следующее утро иду в корпус. Спрашиваю швейцара: как мне увидеть сына? «Ступайте, говорит, ваше благородие, в мертвецкую...» Потом... рассказали: умер ровно в одиннадцать ночи... И значит — это его я не пустил в комнату. Душа прилетала прощаться...

— А! Толкуй больной с подлекарем! — сказал отец. — Забобоны и бабьи сказки. Маль-

чик умер от болезни, а жук ни при чем. Мало ли летает жуков?

— Нет, не говори... Так он стучался... особенно. И потом летел и стонал... А я глядел, и сердце у меня рвалось за ним...

Отец был человек глубоко религиозный, но совершенно не суеверный, и его трезвые, иногда юмористические объяснения страшных рассказов в значительной степени рассеивали наши кошмары и страхи. Но на этот раз во время рассказа о сыне и жуке каждое слово Скальского, проникнутое глубоким убеждением, падало в мое сознание. И мне казалось, что кто-то бьется и стучит за стеклом нашего окна...

Спать мы легли в этот вечер несколько позже обыкновенного, и среди ночи я проснулся с слезах. Мне привиделся страшный сон, подробностей которого я не мог вспомнить совсем ясно, но в каком-то спутанном клубке смутных образов я все-таки видел Славка, слышал какие-то его просьбы, мольбы и слезы... Сердце мое сжималось от глубокой жалости, но вместе и от страха. В другой комнате на полу горела свеча, слышалось ды-

хание спавших братьев и сестры, а за окном вздыхал ветер... Я знал, что там, за окнами, наш двор, дорожки сада, старая беседка в конце аллеи... Но от одной мысли, что по этим знакомым местам, быть может, ходит теперь старый Коляновский и Славек, — страх и жалость охватывали меня до боли... Я заплакал.

Мать, которая часто клала меня с собой, услышала мой тихий плач, проснулась и стала ласкать меня. Я схватил ее руку, прижался к ней и стал целовать. Ощущение ее теплого, живого тела и ее любящая ласка меня успокоили, и я вскоре заснул. Но и засыпая, я чувствовал, что где-то тут близко, за закрытыми ставнями, в темном саду, в затканых темно-тою углах комнат, есть что-то особенное, печальное, жуткое, непонятное, насторожившееся, страшное и — живое таинственной жизнью «того света»... А жизнь «того света» почему-то враждебна нашей жизни...

Таким образом, мистический ужас уже был готов в наших детских душах, и, конечно, его только раздувала окружавшая нас среда. У моей сестренки, которая была моложе меня на два с половиной года, была старая нянька,

которая должна была присматривать и за нами. Это было маленькое существо с морщинистым лицом и большой кичкой на голове, отчего голова казалась огромной. Она знала много страшных рассказов, больше, впрочем, из разбойничьего быта. Особенное впечатление производил на нас рассказ о матери и дочери. Разбойник ночью застал в доме только мать с дочерью и стал требовать денег. Мать сказала, что деньги в погребе, и повела туда разбойника. Дочь шла впереди с каганцом (светильня), разбойник за ней, а мать сзади. И вот, когда разбойник вошел в погреб, мать захлопнула дверь... Дочь осталась с разбойником.

Дальнейшее представляло короткую поэму мучительства и смерти. Дочь из погреба молит мать открыть дверь... «Ой, мамо, мамо! Відчитть, бо вш мене заріже...» — «Ой, доню, доню, нещасна наша доля... Як відчиню, то заріже обоіх» — «Ой, мамо, мамо», — молит опять дочь... И шаг за шагом в этом диалоге у запертой двери разворачивается картина зверских мучений, которая кончается последним восклицанием: «Не відчиняйте, мамо, бо вже

меш й кишки висотав...» И тогда в темном погребке все стихает...

Старуха сама оживала при этих рассказах. Весь день она сонно щипала перья, которых нащипывала целые горы... Но тут, в вечерний час в полутемной комнате, она входила в роли, говорила басом от лица разбойника и плачущим речитативом от лица матери. Когда же дочь в последний раз прощалась с матерью, то голос старухи жалобно дрожал и замирал, точно в самом деле слышался из-за глухо запертой двери...

Этим она пыталась нас усыпить, но, разумеется, сон улетал, как испугнутая птица, и, закрываясь с головой от страшного впечатления, мы засыпали только глубокою ночью...

Настоящую поэзию мистического ужаса впитывали мы на кухне в длинные зимние вечера, когда родители уезжали в гости, а мы подолгу засиживались с дворней. На кухне было тепло, стоял какой-то особенный сытный запах, по стенам медленно ползали тараканы, звенели сверчки, жужжало веретено, и «пани Будзиньская», наша кухарка, рассказывала разные случаи из своего детства. Она бы-

ла тоже стара, но выглядела очень бодрой и респектабельной. Отец ее в старые годы чумаковал, то есть ходил с обозами в Крым за рыбой и солью, а так как мать ее умерла рано, то отец брал ее с собою... Таким образом, ее детство прошло в чумацких валках, в странствованиях по степям на скрипучих возах, с ночлегами в степи. При этом она видела «своши очима» много таинственного и чудесного.

Раз отец отстал от валки... Ночь была ясная, как день (большинство ее страшных рассказов происходило именно в ясные ночи). Месяц светил с высокого неба, и в степи видна была каждая травинка. Она заснула на возу, но вдруг проснулась. Отец шел рядом с возом и бормотал что-то, подгоняя волов. Девочка оглянулась по степи и увидела далеко, под небольшим лесочком, над балкой, белую фигуру. «Тату, — сказала она отцу, — от там кто-то белый идет под лесом». — «Молчи, доню, — ответил ей шепотом отец, — говори скорее отче-нашу». Она стала молиться, как умела, а белая фигура быстро неслась по кругу, сначала по самому краю степи, а потом все приближаясь и приближаясь к возу. И по мере того

как она приближалась и было видно, что это — женщина, и что глаза у нее закрыты, и что она все растет, растет выше лесу, до самого неба. «Молись, доню, крепче, — просил отец, — твоя молитва сильнее».

И оба они кричали в глухой степи все молитвы, какие только знали, все громче и громче... И тогда фигура с закрытыми глазами, будто ее кто отталкивал, стала удаляться опять по кругу, пока не сделалась маленьким белым пятном под лесом. А тут уже замигали и огни чумацкого табора...

В другой раз они опять отстали от табора и ночью должны были переезжать через болота по длинной гребле, в конце которой стояла мельница. Ночь, конечно, опять была ясная, как день, а на мельницах и в бучилах, как это всем известно, водится нечистая сила... Девочка опять не спала на возу и, въехав на греблю, увидела, что стороной за возом бежит что-то маленькое, «як мыша». «Тату, — сказала она задремавшему отцу, — вот за возом мыша бежит». Отец оглянулся и тотчас же стал креститься: «Говори, доню, отче-нашу»... Оба опять стали молиться, а мыша выросла в

крысу, потом стала как кошка, потом как ли-
сица, как волк и, наконец, как медвежонок.
Медвежонок вырос в медведя и все продол-
жал расти, так что когда они подошли к кон-
цу гребли и поравнялись с мельницей, то он
был уже выше мельничной крыши. Но тут
оказалось опять, на счастье путников, что чу-
мацкая валка расположилась ночевать на лу-
гу за мельницей, так что оттуда слышался
уже говор, песни и крики. Нечистый, увидев
огни и такую силу крещеного народу, вдруг
поднялся на дыбы, что-то «загуло», как ветер,
и медведь кинулся в омут...

Отец присоединился к табору и попросил,
чтобы его возом пустили в середину. Чумаки,
видя, что с человеком случилось такое проис-
шествие, признали его требование справед-
ливым, раздвинули возы и очистили ему ме-
сто. Отец, кроме того, был человек «знаю-
щий» и потому, прежде чем лечь спать, обвел
круг кнутовищем около своей телеги, закре-
стил его и заговорил заговорами. Ночью кто-
то, очевидно, искал среди спящего табора
именно его и его дочку. Наутро весь табор
оказался в полном беспорядке, как будто

невидимая сила перетрясла его и перешвырнула так, что возы оказались перемешаны, хозяйева очутились на чужих возах, а иных побросало даже совсем вон из табора в степь...

Это были два самых ярких рассказа пани Будзиньской, но было еще много других — о русалках, о ведьмах и о мертвецах, выходивших из могил. Все это больше относилось к прошлому. Пани Будзиньская признавала, что в последнее время народ стал хитрее и поэтому нечисти меньше. Но все же бывает...

На один из таких рассказов вошла в кухню моя мать и, внимательно дослушав рассказ до конца, сказала:

— Вот ты, Будзиньская, старая женщина, а рассказываешь такие глупости... Как тебе не стыдно? Перепились твои чумаки пьяные, вот и все...

Будзиньская очень обиделась.

— Я еще вовек не лгала, — ответила она с большим достоинством, — а паны, дело известное, ничему не верят.

Я был в большом недоумении. Страшные рассказы положительно подавляли наши детские души, и, возвращаясь из кухни вечером,

мы с великим страхом проходили мимо темного отверстия печки, находившегося в середине коридора и почему-то никогда не закрывавшегося заслонками. Нам казалось, что оттуда вдруг протянется чья-то рука, или мохнатая, черная, как у медведя, или, наоборот, белая, как у Коляновского или Славка... Иной раз, поравнявшись с этим отверстием, мы кидались бежать как сумасшедшие и прибегали в спальню запыхавшиеся и бледные... Уверенность матери, что все это пустяки, вносила успокоение. И когда я теперь вспоминаю мою молодую красавицу мать в этой полутемной кухне, освещенной чадным сальным каганчиком, в атмосфере, насыщенной подавляющими душу страхами, то она рисуется мне каким-то светлым ангелом, разгоняющим эти страхи уже одной своей улыбкой неверия и превосходства...

Но вместе с тем чувствовалось, что пани Будзиньская — не лгунья и что в ее рассказах нет намеренной лжи.

Поэтому мы все больше и больше попадали во власть «того света», который казался нам наполненным враждебной и чуткой си-

лой... Однажды старший брат страшно закричал ночью и рассказал, что к нему из соседней темной комнаты вышел черт и, подойдя к его кровати, очень изящно и насмешливо поклонился.

После этого с нами нередко повторялись галлюцинации. Я, кажется, был самый нервный из моих братьев и потому испытывал наиболее мучений. Они засыпали раньше, а я долго ворочался в постели, вздрагивая от каждого шума... Особенно бывало страшно, когда уезжали родители, а это случалось довольно часто. Отец, после того как миновали припадки его ревности, как будто старался вознаградить мать и потому вывозил ее на вечера, где она танцевала, а он играл в шахматы... В такие вечера горничные уходили на кухню или даже к соседям, а с нами оставалась старая нянька, которая тоже засыпала. Я боялся оставаться один, боялся пройти по темному коридору в кухню, боялся лечь в постель. Иной раз я так и засыпал от напряжения, сидя где-нибудь в углу на сундуке и глядя в темную комнату. В темноте роились образы, неясные, спутанные, и порой они вы-

ступали вперед. Чаще всего это был высокий щеголеватый господин, в котором, в сущности, не было ничего страшного, кроме того, что он крадется в темноте. По-видимому, он вызывался усталостью глаз, потому что всегда проносился по дуговой линии, как это бывает с теми сеточками, какие иногда видишь в глазу и которые тотчас убегают, как бы закатываясь, когда хочешь разглядеть. Тот же господин появлялся и в кошмарах, но наибольший ужас я испытывал при появлении в кошмаре какого-то офицера. Он обыкновенно выходил из темноты и на несколько мгновений останавливался неподвижно. Лицо у него было обыкновенное, кажется, даже довольно красивое, но черты не запоминались, а оставалось только впечатление бледности... После остановки он наклонялся и начинал подходить ко мне, и это было самое страшное... Он все ускорял шаги, затем нас обоих подхватывал какой-то вихрь, и мы среди особенного шума неслись с ним опять по закатывающейся круговой линии куда-то в бездонную пропасть...

Я просыпался весь в поту, с бьющимся

сердцем. В комнате слышалось дыхание, но привычные звуки как будто заслонялись чем-то вдвинувшимся с того света, чужим и странным. В соседней спальне стучит маятник, потрескивает нагоревшая свеча. Старая нянька вскрикивает и бормочет во сне. Она тоже чужая и страшная... Ветер шевелит ставню, точно кто-то живой дергает ее снаружи. Позвякивает стекло... Кто-то дышит и невидимо ходит и глядит невидящими глазами... Кто-то, слепо страдающий и грозящий жутким слепым страданием.

О боге мы слышали чуть не со дня рождения, но, кажется, «верили» в нечистую силу раньше, чем в бога. В эту мучительную полосу моей детской жизни воспоминание о боге было очень бесформенно. При этом слове где-то в глубине сознания рождалось представление о чем-то очень обширном и сплошь светлом, но безличном. Ближе всего будет сказать, что он представлялся мне как бы отдаленным и огромным пятном солнечного света. Но свет не действовал ночью, и ночь была вся во власти враждебного, иного мира, который вместе с темнотой вдвигался в пределы

обычной жизни.

Должен сказать при этом, что собственно черт играл в наших представлениях наименьшую роль. После своего появления старшему брату он нам уже почти не являлся, а если являлся, то не очень пугал. Может быть, отчасти это оттого, что в представлениях малорусского и польского народа он неизменно является кургузым немцем. Но еще более действовала тут старинная большая книга в кожаном переплете («Печерский патерик»), которую отец привез из Киева.

Это произведение, исполненное глубочайшего невежества и суеверия, но вместе и глубокой искренности, на всех своих страницах испещрено чертями и чертенятами, которые являлись пещерным подвижникам. Аляповатые лубки изображали их в виде маленьких смешных полуобезьян, с хвостами крючком и с птичьими ножками, и всюду они представлялись только проказниками, то прячущимися в рукомошни, где их монахи закрепощивают и запирают, то принимающими вид девиц, то являющимися в виде свиней, больших ящериц, змей или собак. Они устраива-

ют монахам всякие козни, но иногда и монахам удается изловить их: тогда они их наказывают, заставляют таскать бревна и, по странной снисходительности, опять отпускают на волю. Мне кажется, что эта почтенная книга, по которой впоследствии я выучился славянскому чтению, сильно уронила в наших глазах грозную репутацию черта, и мы, допуская его существование, потеряли к нему всякое уважение и страх.

Страшен был не он, с его хвостом, рогами и даже огнем изо рта. Страшно было ощущение какого-то другого мира, с его вмешательством, непонятным, таинственным и грозным... Всякий раз, когда кто-нибудь умирал по соседству, особенно если умирал, неожиданно, «наглою» смертью «без покаяния», — нам становилась страшна тьма ночи, а в этой тьме — дыхание ночного ветра за окном, стук ставни, шум деревьев в саду, бессознательные вскрикивания старой няньки и даже простой жук, с смутным гудением ударяющийся в стекла... Страшна была тайна жизни и смерти, и перед нею мы в то время были, кажется, настоящими язычниками.

VI. Молитва звездной ночью

Из молитв нас рано научили двум: «Отче наш» и «Богородице». Память у меня была хорошая, и я быстро усвоил механически два текста: польский и славяно-малорусский, но знал их просто по слуху, как собрание звуков. «Отче наш» первоначально звучало для меня так: «Отче наш, иже сына небесы»... Впоследствии я как-то стал проверять, как понимают те же слова некоторые мои знакомые. Один из них, рослый парень, на несколько лет старше меня, произносил так: «Отче наш, иже сына не дасы». «Не дасы» — по-малорусски значит: не дашь...

Однажды отец, выслушав нашу чисто попугайскую утреннюю молитву, собрал нас в своем кабинете и стал учить ее правильному произношению и смыслу. После этого мы уже не коверкали слов и понимали их значение. Но молитва была холодна и не затрагивала воображения.

Отец решил как-то, что мне и младшему брату пора исповедоваться, и взял нас с собой в церковь. Мы отстояли вечерню. В церкви было почти пусто, и по ней ходил тот осто-

рожный, робкий, благоговейный шорох, который бывает среди немногих молящихся. Из темной кучки исповедников выделялась какая-нибудь фигура, становилась на колени, священник накрывал голову исповедующегося и сам внимательно наклонялся... Начинался тихий, важный, проникновенный шепот.

Мне стало страшно, и я инстинктивно посмотрел на отца... Как хромой, он не мог долго стоять и молился, сидя на стуле. Что-то особенное отражалось в его лице. Оно было печально, сосредоточенно, умиленно. Печали было больше, чем умиления, и еще было заметно какое-то внутреннее усилие. Он как будто искал чего-то глазами в вышине под куполом, где ютился сизый дымок ладана, еще пронизанный последними лучами уходящего дня. Губы его шептали все одно слово:

— Отче... Отче... Отче...

Было похоже, как будто он не может одолеть это первое слово, чтобы продолжать молитву. Заметив, что я смотрю на него с невольным удивлением, он отвернулся с выражением легкой досады и, с трудом опустившись на колени, молился некоторое время,

почти лежа на полу. Когда он опять поднялся, лицо его уже было спокойно, губы ровно шептали слова, а влажные глаза светились и точно вглядывались во что-то в озаренном сумраке под куполом.

Впоследствии я часто стал замечать то же и дома во время его молитвы. Порой он подносил ко лбу руку, сложенную для креста, отнимал ее, опять прикладывал ко лбу с усилием, как будто что-то вдавливая в голову, или как будто что-то мешает ему докончить начатое. Затем, перекрестившись, он опять шептал много раз: «Отче... Отче... Отче...», пока молитва не становилась ровной. Иной раз это не удавалось... Тогда, усталый, он подымался и долго ходил по комнатам, взволнованный и печальный. Потом опять принимался молиться.

Однажды, не помню по какому поводу, отец произнес одну из своих сентенций:

— Молиться, дети, нужно так, чтобы обращаться прямо к богу... Как будто он пред вами. Как вы просите о чем-нибудь у меня или у матери.

А еще через некоторое время прибавил:

— В Евангелии говорится: о чем ни попросите у отца небесного с верой, все дастся вам. И если скажете, чтобы гора сдвинулась с места, — гора сдвинется...

Он говорил с печальным раздумием. Он много и горячо молился, а жизнь его была испорчена. Но обе эти сентенции внезапно слились в моем уме, как пламя спички с пламенем зажигаемого фитиля. Я понял молитвенное настроение отца: он, значит, хочет чувствовать перед собой бога и чувствовать, что говорит именно ему и что бог его слышит. И если *так* просить у бога, то бог не может отказать, хотя бы человек требовал сдвинуть гору...

Гор у нас не было, и сдвигать их не было надобности. Скоро, однако, мне представился случай испытать силу своей молитвы по поводу другого предприятия...

Однажды старший брат задумал лететь. Идея у него была очень простая: стоит взобраться, например, на высокий забор, прыгнуть с него и затем все подпрыгивать выше и выше. Он был уверен, что если только успеть подпрыгнуть в первый раз, еще не достигнув

земли, то дальше никакого уже труда не будет, и он так и понесется прыжками по воздуху...

С этой мыслью, вооружившись вдобавок двумя довольно безобразными лопастями из дранок и бумаги наподобие крыльев, он взобрался на забор, прыгнул, размахивая этими крыльями и, разумеется, растянулся на земле. Как многие изобретатели, он не отказался сразу от своей идеи: по его мнению, забор — это еще недостаточно высоко. Бросившись с него, он даже не успел еще согнуть ног для прыжка, как уже лежал в растяжку. Вот если бы, например, с крыши... Но у него несколько дней болела ушибленная нога, а потом не хватило решимости... Идея осталась неосуществленной.

Однако она глубоко запала в мое воображение, и вот однажды я доверился ей и... полетел. В присутствии братьев и сестры я бросился с крыши сарая, успел подпрыгнуть, не долетев до земли, и затем уже понесся по воздуху, сначала рядом прыжков, как по ступенькам невидимой лестницы, а потом ровно и плавно, почти как птица. Я поворачивался,

ложился в воздухе, повертывался и кружился. Сначала я носился над двором, потом полетел дальше, над какими-то полями и над мельницей. Эта мельница была мне не знакома, но, вероятно, осталась в моей памяти от раннего детского путешествия... Колеса ее кружились, шумели, брызгали ослепительно белой пеной и сверкающими каплями, а я бесстрашно летал над нею, среди свежих брызгов и солнечного света.

Проснувшись, я долго не хотел верить, что это была не настоящая жизнь и что настоящая жизнь — вот эта комната с кроватями и дыханием спящих...

Полеты во сне повторялись, причем каждый раз мне вспоминались прежние полеты, и я говорил себе с наслаждением: тогда это было только во сне... А ведь вот теперь летаю же я и наяву... Ощущения были живы, яркие, многосторонни, как сама действительность...

Наибольший успех полета обозначался достижением мельницы, с ее яркими брызгами и шумом колес... Но если даже я летал только над двором или под потолком какого-то огромного зала, наполненного людьми, и то-

гда проснуться — значило испытать настоящее острое ощущение горя... Опять только сон!.. Опять я тяжелый и несчастный...

И я думал, как достигнуть, чтобы это было уже не во сне.

Объяснение отца относительно молитвы загорелось во мне неожиданной надеждой. Если это верно, то ведь дело устраивается просто: стоит только с верой, с настоящей верой попросить у бога пару крыльев... Не таких жалких, какие брат состряпал из бумаги и дранок. А настоящих, с перьями, какие бывают у птиц и ангелов. И я полечу!

Своею мыслью я не поделился ни с кем, даже с младшим братом. Почему-то я решил, что это будет тайна между мной и богом. И я понимал, что если это может случиться, то, конечно, не среди суетливого дня и даже не в томительный и сонный полдень, когда все-таки падение с неба крыльев привлечет праздное внимание. Это, очевидно, могло случиться только вечером. Крылья появятся где-то в вышине, в серебристом сумраке ночного неба, и тихо упадут к моим ногам... После, конечно, если они останутся, я буду давать их

брату и сестре... Но останутся ли они навсегда, я этого не знал и даже мало думал об этом...

Вечера стояли теплые, и когда после чаю я вышел на двор, то отовсюду на меня глядели освещенные и раскрытые настежь окна. В тени стен, у порогов сидели люди, но мне все это не мешало. И открытые окна, в которых никого не было видно, и таинственный шорох разговоров в густой тени, и белые камни мощеного двора, и шепот листьев высокого тополя у каменицы — все это создавало особенное настроение. Я намеревался вступить в сношения с другим миром, но страха не было. Может быть, потому, что сношения были отчасти деловые.

Пройдя несколько раз по двору, я стал шептать молитвы: «Отче наш» и «Богородицу», чувствуя, однако, что это еще не то и что в них ничего не говорится, собственно, о крыльях. Я только старался, чтобы обращение «Отче наш» направлялось к кому-то живому и сознательному. Сначала это было трудно, и я просто говорил молитву за молитвой, как бы только подготавливаясь к чему-то (я уже

слышал, что в важных случаях нужно сказать десять «Отче наш» и десять «Богородиц»)... Наконец, чувствуя, что душа настроилась, я остановился в углу двора и посмотрел на небо.

В первый раз меня поразило величие сияющего небесного свода... Луна стояла над крышей каменного дома, но ее свет не затмевал звезд. Они горели, мерцали, переливались разными цветами торжественно и тихо, и вся синяя бездна, казалось, жила и дышала. Впоследствии глаза у меня стали слабее, и эта необычайная красота теперь живет в моей душе лишь ярким воспоминанием этой ночи. Но тогда я отчетливо видел все эти звезды, различал их переменные цвета и, главное, ощутил взволнованной детской душой *глубину* этой бездны и бесконечное число ее живых огней, уходящих в неведомую, таинственную синюю даль...

И когда я опять произнес «Отче наш», то молитвенное настроение затопило душу приливом какого-то особенного чувства: передо мною как будто раскрылась трепетная жизнь этой огненной бесконечности, и вся она с без-

донной синевой и бесчисленными огнями, с какой-то сознательной лаской смотрела с высоты на глупого мальчика, стоявшего с поднятыми глазами в затененном углу двора и пролившего себе крыльев... В живом выражении трепетно мерцающего свода мне чудилось безмолвное обещание, ободрение, ласка...

Отбросив заученные молитвы, я изложил свое желание — иметь два крыла, хороших, настоящих, как у птиц или ангелов. Совсем или только на время, чтобы хоть раз наяву подняться в эту чудесную, манящую высь... А потом я могу, пожалуй, положить крылья на то же место. О дальнейшем не думалось; все мысли устремились к одному: взлететь над городом, видеть внизу огоньки в домах, где люди сидят за чайными столами и ведут обычные разговоры, не имея понятия о том, что я ношусь над ними в озаренной таинственной синеве и гляжу оттуда на их жалкие крыши.

Радостный, стал я глядеть в небо, ожидая, что оттуда, сначала как две легкие пушинки, появятся крылья. Небо по-прежнему горело, дышало и ласково глядело на меня. Но синева

была пуста.

Тогда я подумал, что глядеть не надо: таинственное явление совершится проще — крылья будут лежать на том месте, где я молился. Поэтому я решил ходить по двору и опять прочитать десять «Отче наш» и десять «Богородиц». Так как главное было сделано, то молитвы я теперь опять читал механически, отсчитывая одну за другой и загибая пальцы. При этом я сбился в счете и прибавил на всякий случай еще по две молитвы... Но крыльев на условленном месте не было...

Я опять ходил по двору и молился, назначая новые места в самых затененных уголках: под тополем, у садовой калитки, около колодца... Я проходил во все эти углы без малейшего страха, хотя там было темно и пусто.

Между тем двор совсем опустел, люди, разговаривавшие в тени домов, ушли, а через некоторое время поужинавшие конюхи прошли спать в свои конюшни. Гости, сидевшие у нас в тот вечер, тоже стали расходиться, причем последняя группа еще некоторое время стояла на крыльце, разговаривая и смеясь. Потом и они прошли по двору и исчезли в пе-

реулке. В наших освещенных окнах появилась фигура горничной, закрывавшей одно окно за другим. Потом вышел лакей Гандыло и стал запирать ставни. Он просовывал снаружи железные болты, кричал: «Ну!» — и сердился, что горничная изнутри не скоро задвигает их маленькими железными чеками... Потом он потянулся и зевнул продолжительно, вкусно, широко разинув пасть.

Мое настроение падало. Я чувствовал, что мать меня сейчас хватится и пошлет разыскивать, так как братья и сестры, наверное, уже спят. Нужно бы еще повторить молитву, но... усталость быстро разливалась по всему телу, ноги начали ныть от ходьбы, а главное, я чувствовал, что уже сомневаюсь. Значит, ничего не выйдет.

На крыльце появилась фигура горничной и действительно позвала меня спать.

— Сейчас, — ответил я и опять лихорадочно обошел двор. Вот там... Или нет — вот где, мелькало у меня в мозгу, и я лихорадочно метался от одного угла к другому.

Разочарованный, с разбитыми членами, я наконец прошел в свою комнату и угрюмо

разделся. Но только дремота обвеяла разгоряченную голову — я вдруг сел на кровати, точно меня толкнули под бок. Я ушел... именно тогда, когда двор опустел и раскрылся для всякой тайны. И уже спустились крылья. Я даже знаю, куда именно. Как это ни странно, я как будто видел их в довольно-таки грязном углу между сараем и забором. Я вскочил и в одной рубашонке пробрался в коридор. Прислуга еще не спала. Горничные убирали после гостей. Гандыло на кухне ужинал, громко чавкая и шлепая толстыми губами. Дверь была открыта, и я вышел на крыльцо.

Луна зашла за крышу каменного дома, и весь двор изменился. Он потемнел, похолодел, стал бесцветнее и как бы задремал. Выражение неба тоже было другое: звезды по-прежнему мерцали и переливались, но теперь уже не обращали внимания на меня, стоявшего в одной рубашонке на заднем крыльце, а как будто говорили друг с другом о чем-то, совсем до меня не относящемся. Впечатление было такое, как будто огромное собрание, на короткое время занявшееся моим делом, теперь перешло к обсуждению других

дел, гораздо более важных, таинственных и непонятных... И теперь уже нет надежды вернуть его внимание. Звездная ночь стала холодной, важна, неприступна, сурова. И прохладный ветер недружелюбно обвеял мои голые ноги.

Усталый, с холодом в душе, я вернулся в комнату и стал на колени в своей кровати, чтобы сказать обычные молитвы. Говорил я их неохотно, машинально и наскоро... В середине одной из молитв в усталом мозгу отчетливо, ясно, точно кто шепнул в ухо, встала совершенно посторонняя фраза: «Бог...» Кончилась она обычным детским ругательством, каким обыкновенно мы обменивались с братом, когда бывали чем-нибудь недовольны. Я вздрогнул от страха. Очевидно, я теперь пропащий мальчишка. Обругал бога...

Среди этой душевной сумятицы я крепко заснул.

Не помню, какие выводы я сделал на следующий день из этой неудачи. Очень вероятно, что не сделал никаких, а просто, отдохнув за ночь, отдался новым впечатлениям нового дня. Но с этих пор и я, как отец, часто начи-

нал молитву, мучительно повторяя: «Отче... Отче... Отче...» — пока воображение не попало в горячую струю. Часто это не удавалось: ощущение живого личного бога ускользало, а иной раз усилия бывали так мучительны, что на лбу у меня появлялся пот, а на глазах — слезы. Я напрягал воображение, но перед ним продолжала стоять безличная, бесконечная пустота, не будившая никаких откликов в сердце. И опять в неясную и мутную молитву отчетливо, выпукло, звонко врывалась кощунственная фраза... Мне приходило в голову, что это — проделка дьявола. Впрочем, эта мысль меня не пугала. Пожалуй, наоборот, — так как в таком случае вина снималась с меня и переносилась на одного из проказников-чертенят, знакомых по Патерику. Внутреннее сознание, что это во мне самом, было мучительнее. Чтобы от него избавиться, я то старался начать молитву внезапно и кончить ее поскорее, то переставал молиться совсем.

И каждый раз эта томительная борьба в пустом пространстве повторялась в периоды религиозной экзальтации...

VII. Уляницкий и «купленные мальчики»

Каждое утро в «суторынах»[2], то есть в угловой комнате подвального этажа хозяйской «каменицы», в определенный час происходило неизменно одно и то же явление. Сначала вздрагивал железный засов ставни, и кто-то выдавливал изнутри болт, которым ставни запирались на ночь. Железная полоса, как живая, отодвигалась, потом падала со звоном, и тогда чья-то рука через форточку окончательно раздвигала ставни. После этого и самое окно, приходившееся вровень с землей, раскрывалось, и в нем появлялась голова человека в ночном колпаке.

Это был жилец, старый холостяк, пан Уляницкий. Он высовывал свой острый профиль, как бы передразнивавший портрет Наполеона III, с испанской бородкой и горбатым носом, и кидал тревожный взгляд на окна нашего флигеля. По большей части наши ставни еще были закрыты. Убедившись в этом, пан Уляницкий опять нырял в свою комнату, и вскоре на подоконнике появлялась уже вся его небольшая сухая фигурка в ночном колпаке, в пестром халате, из-под которого виднелось нижнее белье и туфли на босую ногу. Ки-

нув еще быстрый взгляд кругом и прикрывая что-то полой халата, он шмыгал за угол, направляясь на задний двор, откуда вскоре возвращался тем же порядком.

Мы знали, что его тревожные взгляды относятся главным образом к нашему дому: он не хотел, чтобы его видела в утреннем неглиже одна из моих теток, которую он иной раз провожал в костел. Над теткой посмеивались, поздравляя ее с женихом. Над Уляницким тоже смеялись, называя его по-польски «мартовским кавалером», и передавали, будто он поднес тетке десяток гнилок-груш в бумажном тюричке и две грошовых конфеты. Фигура Уляницкого в этот утренний час бывала действительно очень непрезентабельна: халат был замызганный и рваный, туфли стоптаны, белье грязно, а усы растрепаны.

Нырнув опять в свою комнату, пан Уляницкий принимался приводить себя в порядок. Это была процедура продолжительная и сложная, особенно процесс бритья, положительно напоминавший священнодействие. Мы пользовались правом, освященным обычаем, стоять в это время снаружи, у открыто-

го окна, причем иной раз из-за нас заглядывало еще личико сестры. Пан Уляницкий ничего не имел против этого и только, приступая к бритью, предупреждал нас, чтобы мы вели себя смирно, так как малейшее нарушение порядка в эту важную минуту угрожает опасностью его жизни.

Мы свято исполняли этот договор, и в критический момент, когда пан Уляницкий, взяв себя за кончик носа и выпятив языком щеку, осторожно обходил бритвой усы или подбривал бородку около горла, — мы старались даже затаить дыхание, пока он не вытирал в последний раз бритву и не убирал прибор. После этого он умывался, неистово тер шею и щеки полотенцем, пудрился, фиксатуарил и вытягивал кончики усов и затем скрывался за ширму. Через четверть часа он появлялся оттуда неузнаваемый, в сиреневых коротких брючках, в лакированных ботинках, в светлом жилете и синем сюртуке с закругленными фалдочками. Лицо у него тоже было как будто одето: измятость и морщины исчезали. Его появление в таком обновленном виде всегда производило на нас сильнейшее впечат-

ление, и ему это было приятно. Иной раз, застегивая на последнюю пуговицу свой аккуратный сюртучок, он взглядывал на нас с заметным самодовольством и говорил:

— А? Ну? Что? Как?

Наши отношения с паном Уляницким в это время были наилучшие. Мы знали, что он — «старый холостяк» и «мартовский кавалер», что это смешно, особенно последнее, потому что напоминает котов, жалобно завывающих в марте на крышах. Пан Уляницкий будто бы ухаживал за каждой барышней, с которой знакомился, и отовсюду получал отказы. Сам он тоже казался смешным со своей козлиной бородкой и тонкими ножками в коротких узеньких брючках. Но все это было безобидно, а процесс ежедневного обновления вызывал не только понятное любопытство, но и некоторое почтительное удивление. Каждый раз это казалось нам маленьким чудом, и впоследствии, когда я впервые прочитал о превращениях бога Озириса, в моем воображении внезапно ожило воспоминание об утренних перерождениях Уляницкого.

Однако со временем наши отношения с

«мартовским кавалером» радикально испортились...

В один прекрасный день он нашел не совсем удобным для своей жениховской репутации, что у него нет прислуги, вследствие чего он должен сам подметать комнату и ежедневно путешествовать с таинственным предметом под полой халата.

Ввиду этого он нанял себе в услужение мальчика Петрика, сына хозяйской кухарки. Кухарка, «пани Рымашевская», по прозвищу баба Люба, была женщина очень толстая и крикливая. Про нее говорили, вообще, что это не баба, а Ирод. А сын у нее был смиренный мальчик с бледным лицом, изрытым оспой, страдавший притом же изнурительной лихорадкой. Скупой, как кащей, Уляницкий дешево уговорился с нею, и мальчик поступил в «суторыны» на службу.

Закончилось это большим скандалом: в один прекрасный день баба Люба, уперев руки в бока, ругала Уляницкого на весь двор и кричала, что она свою «дытыну» не даст в обиду, что учить, конечно, можно, но не так... Вот посмотрите, добрые люди: исполосовал у

мальчика всю спину. При этом баба Люба так яростно задрала у Петрика рубашку, что он завизжал от боли, как будто у нее в руках был не ее сын, а сам Уляницкий.

Последний сидел в своей комнате, не показываясь на крики сердитой бабы, а на следующее утро опять появился на подоконнике с таинственным предметом под полкой. Нам он объяснил во время одевания, что Петрик — скверный, скверный, скверный мальчишка. И мать у него подлая баба... И что она дура, а он, Уляницкий, «достанет себе другого мальчика, еще лучше». Он сердился, повторял слова, и его козлиная бородка вздрагивала очень выразительно.

Вскоре он уехал на время в деревню, где у него был жив старик отец, а когда вернулся, то за ним приехал целый воз разных деревенских продуктов, и на возу сидел мальчик лет десяти-одиннадцати, в коротенькой курточке, с смуглым лицом и круглыми глазами, со страхом глядевшими на незнакомую обстановку... С этого дня мальчик поселился в комнате Уляницкого, убирал, приносил воду и ходил в ресторацию с судками за обедом. Звали

его Мамертом, или, уменьшительно, Мамериком, и вскоре на дворе стало известно, что это сирота, и притом крепостной, которого не то подарил Уляницкому отец, не то он сам купил себе у какого-то помещика.

Я решительно не могу припомнить, чтобы самая мысль о возможности «купить мальчика» вызвала во мне какой-нибудь сознательный протест или негодование. Явления жизни я воспринимал тогда довольно безразлично. Я видел, что люди бывают старые и молодые, здоровые и больные, богатые и нищие, и все это, как я уже говорил, казалось мне «извечным». Это были просто первичные факты, готовые явления природы. Таким же фактом явилось и то, что есть на свете мальчики, которых можно купить. Но, во всяком случае, это обстоятельство делало нового пришельца предметом интересным, так как мы видели разных мальчиков, а купленных мальчиков еще не видели ни разу. И что-то неясное при этом все-таки шевелилось в душе...

Знакомство с купленным мальчиком завязать было трудно. Даже в то время, когда пан Уляницкий уходил в свою должность, его

мальчик сидел взаперти, выходя лишь за самыми необходимыми делами: вынести сор, принести воды, сходить с судками за обедом. Когда мы при случае подходили к нему и заговаривали, он глядел волчком, пугливо потуплял свои черные круглые глаза и старался поскорее уйти, как будто разговор с нами представлял для него опасность.

Мало-помалу, однако, сближение начиналось. Мальчик перестал опускать глаза, останавливался, как будто соблазняясь заговорить, или улыбался, проходя мимо нас. Наконец однажды, встретившись с нами за углом дома, он поставил на землю грязное ведро, и мы вступили в разговор. Началось, разумеется, с вопросов об имени, «сколько тебе лет», «откуда приехал» и т. д. Мальчик спросил в свою очередь, как нас зовут, и... попросил кусок хлеба.

Скоро мы стали приятелями. Уляницкий возвращался всегда в определенное время, как заведенная машина, и мы могли поэтому даже заходить в его комнату, не опасаясь, что он нас застанет. Мы узнали при этом, что наш ежедневно обновляющийся сосед, в сущно-

сти, очень злой скаред и мучитель. Он не кормит Мамерика, а только отдает ему вылизывать пустые судки и грызть корки хлеба и уже два раза успел его больно выдрать без всякой вины. Чтобы мальчик не сидел даром и не баловался с разными висельниками («урвисами» — мы догадались, что под этим лестным названием Уляницкий разумел нас), он задает ему урок: щипать перья для подушек, и нащипанные перья продает еврейкам. Мы приносили Мамерику хлеб, который он съедал с большой жадностью.

И пугливые взгляды печальных черных глаз, и грустное выражение его смуглого лица, и рассказы, и жадность, с какой он накидывался на приносимую нами пищу, — все это внушало нам какое-то захватывающее, острое сочувствие к купленному мальчику и злобу против его владыки, которая в одно утро и прорвалась наружу.

Бедняга Мамерик чем-то провинился, и уже накануне его томило предчувствие, что пан его непременно побьет. Наутро Уляницкий вышел из-за ширмы не с обычным самодовольным блеском, а с каким-то загадочным

выражением в лице. Он был без сюртука, а руки держал назади. Остановившись у ширмы, он позвал Мамерика, приказал ему подать что-то. Но как только мальчик робко приблизился, Уляницкий с быстротою кошки схватил его, нагнул, зажал голову в свои колени, спустил штанишки, и в воздухе засвистел пучок розг. Мамерик отчаянно завизжал и забился.

В нашей семье нравы вообще были мягкие, и мы никогда еще не видели такой жестокой расправы. Я думаю, что по силе впечатления теперь для меня могло бы быть равно тогдашнему чувству разве внезапное на моих глазах убийство человека. Мы за окном тоже завизжали, затопали ногами и стали ругать Уляницкого, требуя, чтобы он перестал бить Мамерика. Но Уляницкий только больше входил в азарт, лицо у него стало скверное, глаза были выпучены, усы свирепо торчали, и розга то и дело свистела в воздухе.

Очень вероятно, что мы могли бы доплакаться до истерики, но тут случилось неожиданное для нас обстоятельство: у Уляницкого на окне были цветочные горшки, за которыми

ми он ухаживал очень старательно. Ближе всех стояла любимая его резеда. По внезапному вдохновению наша маленькая сестренка схватила резеду и кинула ее вместе с горшком на пол. Горшок разбился, земля с цветком выпала. Пан Уляницкий на мгновение остолбенел, потом оставил Мамерика, и не успели мы опомниться, как его бешеное лицо появилось на подоконнике. Мы подхватили сестренку под руки и пустились бежать к своему крыльцу, где и уселись, чувствуя себя безопасными в своих пределах. Пан Уляницкий действительно остановился невдалеке от своего окна и, спрятав розгу за спину, стал нас подзывать сладким голосом, обещая дать нам на мировую по конфетке... Но хитрость была слишком прозрачна, и мы оставались на месте, глядя весьма равнодушно на его лукавые подходы...

В этот самый день или вообще в ближайшее время после происшествия мы с матерью и с теткой шли по улице в праздничный день, и к нам подошел пан Уляницкий. Он был одет по-всегдашнему щеголевато, ботинки его сверкали ослепительным блеском, концы

усов торчали, как две проволоки, и в петлице сюртучка был цветок. У меня при его появлении немного дрогнуло сердце, так как я был уверен, что он пожалуется матери на наш дебош. К нашему величайшему удивлению, он не только не пожаловался, но еще, взяв кого-то из нас за подбородок, стал фальшиво-сладким голосом расхваливать перед матерью «милых деток», с которыми он живет в большой дружбе.

Этот неудачный маневр, во-первых, внушил нам большое презрение, а во-вторых, вселил уверенность, что по каким-то причинам Уляницкий скрывает от матери происшедшее между нами столкновение. А скрывает — значит признает себя виновным. С этой стороны мы почувствовали себя вполне обеспеченными, и у нас началась с Уляницким формальная война.

Дети проявляют иной раз удивительную наблюдательность и удивительно ею пользуются. У пана Уляницкого было много странностей: он был феноменально скуп, не выносил всякой перестановки предметов в комнате и на столе и боялся режущих орудий.

Однажды, когда он весь погрузился в процесс бриться и, взяв себя за кончик носа, выпятил языком подбриваемую щеку, — старший брат отодвинул через форточку задвижку окна, осторожно спустился в комнату и открыл выходную дверь. Обеспечив себе таким образом отступление, он стал исполнять среди комнаты какой-то дикий танец: прыгал, кривлялся, вскидывал ноги выше головы и кричал диким голосом: «Гоп, шлеп, танана...»

Стоя за окном, мы с ужасом ожидали, что будет. К нашему величайшему изумлению, злополучный кавалер оставался на месте. На его лице не дрогнул ни один мускул, он так же тщательно держал себя за кончик носа, подбривая усы, и так же выпячивал языком щеки. Тогда, видя, что процедура бриться находится только в начале, а прервать ее Ульяницкий не намерен, мы с младшим братом тоже спустились в комнату и присоединились к неистовой пляске. Это было какое-то детское бешенство: летели на пол стулья, платье с вешалок, щетки и щеточки. Испуганный Мамерт смотрел на это светопреставление бессмысленно выпученными круглыми гла-

зами... Один пан Уляницкий сохранял полнейшую невозмутимость, задернутый по шею салфеткой, с бритвой в руке и с глазами, скошенными на маленькое зеркальце... И, только со всегдашнею тщательностью dokonчив бритье и осторожно положив бритву в футляр, он внезапно сорвался с места и ринулся к розге. Старший брат шмыгнул в открытую дверь, а мы двое кинулись, как испуганные кошки, к окну. Я был уже на подоконнике, когда розга просвистела над самым моим ухом и не больно скользнула вдоль спины...

С этих пор пан Уляницкий, садясь бриться, тщательно закрывал окно. Но рамы были старые, а задвижки прилажены плохо. Увидев, что Уляницкий уже приступил к бритью, мы смело подходили к окну, дергали форточку и тонкими дранками, просунутыми в щель, сбрасывали крючки. Чем это объяснить, я не знаю, — вероятно, боязнью режущих орудий: раз принявшись за бритву, Уляницкий уже не мог прервать трудного дела до конца. При наших разбойничьих попытках проникнуть в его святилище он только косил один глаз, и на его застывшем лице проступало выраже-

ние тревожной тоски. Когда нам удавалось открыть задвижку, окно с шумом распахивалось, и в комнате старого кавалера начиналась пляска дикарей.

В одно утро пан Уляницкий опять появился на подоконнике с таинственным предметом под полой халата, а затем, подойдя к нашему крыльцу и как-то особенно всматриваясь в наши лица, он стал уверять, что, в сущности, он очень, очень любит и нас, и своего милого Мамерика, которому даже хочет сшить новую синюю куртку с медными пуговицами, и просит, чтобы мы обрадовали его этим известием, если где-нибудь случайно встретим.

Оказалось, что купленный мальчик исчез.

В тот же день вечером младший брат таинственно вызвал меня из комнаты и повел в сарай. В сарае было темно, но брат смело пошел вперед и, остановившись на середине, свистнул. Сначала все было тихо, потом что-то зашевелилось в углу, среди дров, и к нам вышел Мамерик. Оказалось, что он устроил себе между кладью дров и стенкой что-то вроде норы и живет здесь уже двое суток. Он го-

ворил, что жить «ничего, можно», только хочется есть, и по ночам сначала было страшно. Теперь привык. На наше сообщение о любви Уляницкого и курточке он ответил решительно:

— Не тду. Лучче утоплюся у кринищ.

С этих пор у нас явилась своя тайна. По вечерам мы приносили Мамерику есть и вместе выходили гулять в укромных уголках двора... У нас установились условные сигналы и целая система конспирации. Это продолжалось еще несколько дней, пока мать не заметила наших многозначительных перешептываний. Она расспросила нас обо всем и рассказала отцу. В мальчишке приняли участие старшие, и пан Уляницкий вызывался для каких-то объяснений даже «наверх», к хозяйке, пани Коляновской. Нравы на нашем дворе были довольно патриархальные, и всем казалось естественным, что хозяйка-домовладелица вызывает жильца для объяснений, а может быть, и для внушения. Мы тщательно хранили тайну убежища, так как крепко забожились, что не выдадим ее «никому на свете». Поэтому, когда «наверху» были выработана-

ны с Уляницким условия капитуляции, то переговоры велись через нас. Мамерик наконец порешил сдаться, а власть Уляницкого была общественным мнением ограничена. Всему двору было известно, что пани Коляновская погрозила Уляницкому «выгнать его из суто-рын».

Через некоторое время, однако, он и сам куда-то внезапно уехал. Купленный мальчик исчез навсегда где-то в широком неведомом мире, и дальнейшая судьба его нам осталась неизвестна.

Раз только нам показалось, что мы встретили если не его, то его двойника.

Как-то летом появилась в узком переулочке новая личность. Это был мальчик в возрасте Мамерика, с таким же смуглым лицом и круглыми глазами. Но при внимательном рассмотрении оказалось, что ни походка его, ни все поведение нимало не напоминают нашего скромного и робкого приятеля. Одет он был в новую короткую синюю курточку с двумя рядами круглых металлических шариков, в узкие синие брюки со штрипками внизу и в большие хорошо начищенные сапоги. На го-

лове у него была круглая шапочка без козырька, надетая совершенно набекрень, по-казацки.

Заметив, что мы с величайшим любопытством смотрим на него, уткнувшись лицами между балясин палисадника, незнакомец внезапно стал на ходу проделывать какие-то удивительные штуки. Ноги он ставил так, как будто они у него вовсе не сгибались в коленях, руки скруглил, так что они казались двумя калачами, голову вздернул кверху и глядел на нас с величайшим презрением через плечо, очевидно гордясь недавно надетым новым костюмом и, может быть, подражая манерам кого-нибудь из старшей ливрейной дворни. Он весь сверкал и наслаждался и, кроме того, был уверен, что мы совершенно подавлены его великолепием и сгораем от зависти. Поэтому, исполнив какое-то поручение в конюшне, он опять прошел мимо нас, вывертывая ноги и играя поясницей, потом вернулся, как будто что забыл, и прошел еще раз. Все это показалось нам обидным, и один из нас сказал:

— Дурак!

Мальчик плюнул и ответил:

— Свинья!

Мой брат поднял тон диалога на ноту выше:

— Сволочь!

Но мальчик, видимо, знал все формы изысканного обращения и тотчас же возразил:

— Я сволочь, царю помочь, а ты сам каторжан.

Мы почувствовали, что незнакомец останется победителем. Но в это время к мальчику подошел быстрыми шагами взрослый человек в ливрейном фраке с широкими длинными фалдами. Походка его тоже была несколько развихлянная и странная, и я догадался, что незнакомый мальчик подражал именно его движениям: ноги его тоже плохо сгибались, а руки скруглялись в локтях. Он окликнул мальчика, и едва тот повернулся, как подошедший ожег его резкой, сильной и внезапной пощечиной. Мальчик завыл от боли и схватился рукой за щеку, а тот ударил по другой щеке и сказал:

— Пошел! Тебя зачем послали?.. — и толкнул его сильно в шею.

Всякое неприятное чувство к незнакомому мальчишке в нас мгновенно испарилось, сменившись острой жалостью. Мы рассказали об этом происшествии матери и отцу, думая, что и на этот раз опять последует вмешательство, как и в деле Мамерта. Но отец объяснил нам, что мальчик-казачок принадлежит незнакомым людям, приехавшим погостить к нашим соседям, и что тут ничего сделать невозможно...

Мы поджидали после этого нового появления мальчика, готовые встретить его как приятеля. Но он не выходил, и вскоре мы увидели его в последний раз на высоких козлах коляски, в которую усаживалась семья каких-то важных господ... Тут были и дети, очень чистенькие и нарядные, но нас больше всего интересовал наш знакомец. Он был в той же курточке и в той же шапочке набекрень, но уже не было в нем заметно прежнего великолепия. Он как будто избегал смотреть на нас, но, когда огромный рыдван тронулся, он повернул к нам свои черные глаза, опять удивительно напомнившие нам Мамерика, и, как бы украдкой, дружелюбно кивнул головой.

Мы долго провожали взглядами уезжавшую карету, пока она не мелькнула последний раз на гребне шоссе. Ехавшие в карете нарядные дети казались мне какими-то неприятными и холодными, а за незнакомым казачком, с которым мы только и успели обменяться ругательствами, неслось в неведомую даль ощущение жгучего сочувствия и близости.

Еще одно воспоминание из крепостного строя.

Одно время служил у отца кучер Иохим, человек небольшого роста, с смуглым лицом и очень светлыми усами и бородкой. У него были глубокие и добрые синие глаза, и он прекрасно играл на дудке. Он был какой-то удачливый, и все во дворе его любили, а мы, дети, так и липли к нему, особенно в сумерки, когда он садился в конюшне на свою незатейливую постель и брал свою дудку.

У Коляновской была любимая горничная, дворовая девушка Марья. Я тогда был плохой ценитель женской красоты, помню только, что у Марьи были густые черные брови, точно нарисованные, и черные же жгучие глаза.

Иохим полюбил эту девушку, и она полюбила его, но когда моя мать по просьбе Иохима пошла к Коляновской просить отдать ему Марью, то властная барыня очень рассердилась, чуть ли не заплакала сама, так как и она, и ее две дочери «очень любили Марью», взяли ее из деревни, осыпали всякими благодеяниями и теперь считали, что она неблагодарная. История эта затянулась что-то около двух-трех месяцев. Рассказывали у нас на кухне, что Иохим хотел сам «идти в крепаки», лишь бы ему позволили жениться на любимой девушке, а про Марью говорили, что она с каждым днем «маршэ и сохне» и, пожалуй, наложит на себя руки.

Однажды я забрался на высокую густую грушу. Под грушей, в затененной части сада, стояла скамья, и на эту скамью пришла Марья. Я с удивлением услышал, что она плачет и не то бормочет что-то, не то поет. Потом подошел Иохим и как-то робко и вместе ласково хотел обнять девушку за талию. Она резко оттолкнула его и заплакала сильнее. Он стал утешать ее, уверяя, что его «пани» (моя мать) упросит-таки Коляновскую и все будет хоро-

шо. Но Марья продолжала плакать и то сама порывисто обнимала Иохима, то принималась упрекать и гнать его, уверяя, что она умрет, повесится, зарежется, утопится в кринице и вообще — покончит жизнь всевозможными способами. Я с простодушным детским любопытством слушал, притаившись в густых ветвях, проявления этих незнакомых мне еще бурных чувств.

Кончилось все это совершенно благополучно. Коляновская, в сущности, была женщина властная, но очень добрая и, согласившись наконец устроить свою любимицу, дала ей приданое и устроила на свой счет свадьбу. Осенью пришли во двор молодые с «музыками», а на посыпанной песком площадке двора Иохим со «свахами и дружинами» отплясывал такого казачка, какого я уже никогда не видывал впоследствии. После этого молодые поселились в собственной хатке над Теревом, и мы часто заходили к ним, отправляясь купаться. Хатка стояла на склоне, вся в зелени, усыпанной яркими цветами высокой мальвы, и воспоминание об этом уголке и об этой счастливой паре осталось в моей душе

светлым пятнышком, обвеянным своеобразной поэзией.

И только впоследствии раскрылся передо мной внутренний смысл и жестокая неправда, служившие фоном и началом для этой крепостной идиллии, которая могла кончиться совсем иначе.

VIII. «Щось буде»

Я пишу не историю своего времени. Я просто всматриваюсь в туманное прошлое и заношу вереницы образов и картин, которые сами выступают на свет, задевают, освещают и тянут за собой близкие и родственные воспоминания. Я стараюсь лишь об одном: чтобы ясно и отчетливо облечь в слово этот непосредственный материал памяти, строго ограничивая лукавую работу воображения...

В октябре 1858 года, то есть когда мне было пять лет, в Житомир приезжал молодой царь Александр II.

Город делал к этому приезду торжественные приготовления, и на площади, около костела отцов бернардинов, была выстроена огромная триумфальная арка. Мы смотрели ее накануне, причем это дощатое сооружение

поразило меня своей громадностью и странностью, как будто ненужностью среди площади. Затем мне смутно вспоминаются толпы народа, страшный гул человеческих голосов и что-то невидимое, промчавшееся где-то в глубинах этого человеческого моря, после чего народ, точно вдруг обеспамятевший, ринулся к центру города. Все говорили, что это проехал *царь*.

Гораздо отчетливее сохранилось впечатление вечерней иллюминации. Я помню длинные вереницы огней, протянувшиеся к площади, где над всем высилась огромная арка, пылавшая, как костер. Толпы людей передвигались внизу, как черные потоки, а сверху было еще более черное небо. По временам где-то поднимались крики «ура», которые подхватывались, крепили, проносились по улицам вдаль, перекатываясь огромным сплошным гулом. Я крепко ухватился за чью-то юбку, меня толкали, и прислуга с трудом выводила нас из толпы. Мать встретила нас перепуганно и сердилась на прислугу. Потом отец в мундире и при шпаге, а мать в нарядном платье куда-то уехали...

Нам приказано было ложиться, но спать мы не могли. Жили мы в тихом, тупом переулке, но, несмотря на это, из города к нам проникал какой-то заглушённый гул, и возбуждение просачивалось в нашу спальню. Когда старая нянька убрала у нас свечку и поставила ее за стеной в соседней комнате, то нам показалось, что в щели ставней видно зарево. Мы перебрались на одну кровать, у самого окна, и лепились у стекол, заглядывая в эти щели, прислушиваясь к шуму и делясь своими впечатлениями, над которыми, как огненная арка над городом, властно стояло одно значительное слово: царь! Старший брат был, конечно, наиболее из нас сведущий. Он знал, во-первых, относившуюся к случаю песню:

*Ездил белый русский царь,
Православный государь,
От земли своей далеко
Славы добывать...*

Песня нам нравилась, но объяснила мало. Брат прибавил еще, что царь ходит весь в золоте, ест золотыми ложками с золотых тарелок, и, главное, «все может». Может прийти к нам в комнату, взять что захочет, и никто ему

ничего не скажет. И этого мало: он может любого человека сделать генералом и любому человеку отрубить саблей голову или приказать, чтобы отрубили, и сейчас отрубят... Потому что царь «имеет право»...

Царь уехал, но отголоски его посещения долго еще составляли значительное содержание нашей жизни.

У нас был далекий родственник, дядя Петр, человек уже пожилой, высокий, довольно полный, с необыкновенно живыми глазами, гладко выбритым лицом и остренькими усами. Когда он поводил кончиками усов, мы хохотали до слез, а когда он говорил, то хохотали часто и взрослые; вообще это был человек с установившейся репутацией остряка. После царского проезда он рассказал несколько анекдотов. Мне особенно запомнился один: перед самым царским проездом полиция заметила в боковой улице корову. Когда будочки кинулись на нее, она смертельно испугалась, когда же раздались крики «ура!», то корова пришла в совершенное исступление и бросилась в толпу, раскидывая людей рогами. Таким образом, она будто бы пробила себе

путь до пустого пространства, оставленного для проезда царя, и попала туда как раз в то мгновение, когда промчалась царская карета. Корова ринулась прямо за каретой и торжественно прибыла к губернаторскому дому, а за нею два запыхавшиеся, насмерть запуганные под-часка.

На меня рассказ произвел странное впечатление... Царь, и вдруг — корова... Вечером мы разговаривали об этом происшествии в детской и гадали о судьбе бедных подчасков и владельца коровы. Предположение, что им всем отрубили головы, казалось нам довольно правдоподобным. Хорошо ли это, не жестоко ли, справедливо ли — эти вопросы не приходили в голову. Было что-то огромное, промчавшееся, как буря, и в середине этого царь, который «все может»... Что значит перед этим судьба двух подчасков? Хотя, конечно, жалко-Должно быть, в это время уже шли толки об освобождении крестьян. Дядя Петр и еще один знакомый высказывали однажды сомнение, может ли «сам царь» сделать все, что захочет, или не может.

— Николай — на что уж царь был... все пе-

ред ним дрожало... А чем кончил?

Отец отвечал обыкновенной своей поговоркой:

— Толкуй больной с подлекарем... Захочет и сделает...

Прошел год, другой. Толки шли все шире. В тихую жизнь как бы вонзилась какая-то заноза, порождавшая смутную тревогу и окрашивавшая особенным оттенком все события. А тут случилось знамение: гром ударил в «старую фигуру».

Я уже говорил о ней. Это был большой крест с распятием, стоявший в саду нашего соседа пана Добровольского, на перекрестке нашего переулка и двух других улиц, среди кустов акации, бузины и калины, буйно разросшихся у его подножия. Говорили, будто владельцу этой усадьбы не давали спать покойники, чуть не ежедневно провозимые на польское и лютеранское кладбища; в защиту от них он и воздвиг «фигуру». Было это давно; с тех пор и самого владельца провезли по той же песчаной дороге; «фигура» обветрела, почернела, потрескалась, покрылась вся разноцветными лишаями и вообще приобрела вид

почтенной дремлющей старости... Кому случилось хоть раз хоронить близкого или знакомого человека, тот навсегда запоминал темное старое распятие, торжественно высившееся у самого поворота на кладбище, и вся окружающая местность получила от него свое название: о нас так и говорили, что мы живем в доме Коляновских, «около старой фигуры».

Одной ночью разразилась сильная гроза. Еще с вечера надвинулись со всех сторон тучи, которые зловеще толклись на месте, кружились и сверкали молниями. Когда стемнело, молнии, не переставая, следовали одна за другой, освещая, как днем, и дома, и побледневшую зелень сада, и «старую фигуру». Обманутые этим светом воробьи проснулись и своим недоумелым чириканьем усиливали нависшую в воздухе тревогу, а стены нашего дома то и дело вздрагивали от раскатов, причем оконные стекла после ударов тихо и жалобно звенели...

Нас уложили, но мы не спали, робко прислушиваясь к шумным крикам грозы и испуганному чириканью воробьев и глядя в щели

ставен, вспыхивавшие синими отсветами огня. Уже глубокой ночью гроза как будто начала смиряться, раскаты уносились вдаль, и только ровный ливень один шумел по крышам... Как вдруг где-то совсем близко грянул одинокий удар, от которого заколыхалась земля... В доме началась тревога, мать поднялась с постели, сняли из-за иконы и зажгли большую восковую свечу «громницу». И долго в доме не ложились, с жутким чувством ожидая какого-то особенного божьего гнева... Наутро мы встали поздно, и первое известие, которое нам сообщили, состояло в том, что этот последний ночной гром разбил «старую фигуру»...

Весь наш двор и кухня были, конечно, полны рассказами об этом замечательном событии. Свидетелем и очевидцем его был один только будочник, живший у самой «фигуры». Он видел, как с неба слетела огненная змея и села прямо на «фигуру», которая вспыхнула вся до последней дощечки. Потом раздался страшный треск, змея перепорхнула на старый пенёк, а «фигура» медленно склонилась в зелень кустов...

Когда мы с братьями побежали в конец переулка, там уже была целая толпа народа. «Фигура» была сломана. Расщепленное основание все еще довольно высоко торчало в воздухе, а из густой примятой зелени кустов и деревьев виднелись опаленные плечи с распятием. Картина была полна какого-то особенного значения. По временам придавленная тяжестью зелень подавалась, трещала как-нибудь ветка, и верхушка «фигуры», как живая, вздрагивала и опускалась книзу. Тогда не только мы, дети, но, кажется, и вся толпа смолкала в суеверном страхе...

В тот год у нас служил кучер Петро, человек уже старый, ходивший в бараньем кожаном пальто лето и зиму. Лицо у него было морщинистое, а тонкие губы под небольшими усами сохраняли выражение какой-то необъяснимой горечи. Он был необыкновенно молчалив, никогда не принимал участия в толках и пересудах дворни и не выпускал изо рта глиняной «люльки», в которой помешивал иногда горящий табак прямо заскорузлым мизинцем. Мне кажется, что именно он первый сказал, глядя на сломанную «фигуру»:

— Гм... Щось воно буде...

С этих пор эта фраза на некоторое время становится фоном моих тогдашних впечатлений, отчасти, может быть, потому, что за гибелью «фигуры» последовало и другое однородное происшествие.

В одной деревне стала являться мара... Верстах в сорока от нашего города, за густым, почти непрерывным лесом, от которого, впрочем, теперь, быть может, остались жалкие следы, лежит местечко Чуднов. В лесу были рассеяны сторожки и хаты лесников, а кое-где над лесной речушкой были и целые поселки.

Не помню, у кого именно из нашей прислуги, чуть ли не у Петра, были в этих местах родные, приезжавшие порой в наш город. Должно быть, они-то и привезли известие о том, что в одном из лесных поселков около Чуднова стало с некоторого времени появляться привидение... Появлялось оно, разумеется, ночью, за речкой, против слободки — высокое, белое. В огромной голове светились два огненных глаза, изо рта пыхало пламя. Выступив внезапно на круче, мара стояла

против слободки, наводя на всех ужас, и кричала замогильным голосом:

— Ой, щось буде, о-о-о-ой...

После этого глаза потухали, и мара исчезала.

Впоследствии отец, в то время, кажется, бывший судебным следователем и разъезжавший по уезду, вернувшись из одной поездки, рассказал конец этой истории. По его словам, через слободку проходил билетный или отставной солдат, который решил избавиться народ от мары. Для этого, за сравнительно дешевое вознаграждение водкой он переправился в сумерках за речку и притаился под кручей. Когда в обычный час высокая фигура с огненными глазами стала на обычном месте, то все, конечно, считали отчаянного солдата погибшим. Но вот при первых же звуках зловещего воя вдруг произошла какая-то возня, из головы мары посыпался сноп искр, и сама она исчезла, а солдат как ни в чем не бывало через некоторое время закричал лодку... Впрочем, он ничего не рассказал испуганным жителям, а только уверил, что «більш нічого не буде»...

Отец дал нам свое объяснение таинственного события. По его словам, глупых людей пугал какой-то местный «гультай» — поповский племянник, который становился на ходули, драпировался простынями, а на голову надевал горшок с углями, в котором были проделаны отверстия в виде глаз и рта. Солдат будто бы схватил его снизу за ходули, отчего горшок упал, и из него посыпались угли. Шалун заплатил солдату за молчание.

Нам очень нравилось это юмористическое объяснение, побеждавшее ужасное представление о воющем привидении, и мы впоследствии часто просили отца вновь рассказать нам это происшествие. Рассказ кончался веселым смехом... Но это трезвое объяснение на кухне не произвело ни малейшего впечатления. Кухарка Будзиньская, а за ней и другие объяснили дело еще проще: солдат и сам знался с нечистой силой; он по-приятельски столкнулся с марой, и нечистый ушел в другое место.

И потому мораль всего эпизода оставалась в прежней силе:

— Такй щось буде...

Потом стали толковать о каких-то «золотых грамотах», которые появлялись неведь откуда на дорогах, в полях, на заборах, будто «от самого царя», и которым верили мужики, а паны не верили, мужики осмеливались, а паны боялись... Затем грянула поразительная история о «рогатом попе»...

История эта состояла в следующем: мужик пахал поле и выпахал железный казанок (котел) с червонцами. Он тихонько принес деньги домой и зарыл в саду, не говоря никому ни слова. Но потом не утерпел и доверил тайну своей бабе, взяв с нее клятву, что она никому не расскажет. Баба, конечно, забожилась всеми внутренностями, но вынести тяжесть неразделенной тайны была не в силах. Поэтому она отправилась к попу и, когда тот разрешил ее от клятвы, выболтала все на духу.

Поп оказался жадный и хитрый. Он убил и ободрал молодого бычка, надел на себя шкуру с рогами, причем попадья кое-где зашила его нитками, пошел в полночь к хате мужика и постучал рогом в оконце. Мужик выглянул и обомлел. На другую ночь случилось то же, только на этот раз черт высказал категориче-

ское требование: «Відай мі гроші...»

Мужик очень испугался и перед третьей ночью выкопал котелок и принес в хату. Когда черт опять явился со своим требованием, мужик по его приказу открыл оконце и повесил котелок за железное ухо на рога своего страшного гостя...

Поп, радостно прибежав к своей попадье и наклонив рога, сказал: «Снимай гроші». Но когда попадья захотела снять котелок, то оказалось, что он точно прирос к рогам и не поддавался. «Ну, так разрежь шов и сними с кожей». Но и тут, как только попадья стала ножницами резать шов, поп закричал не своим голосом, что она режет ему жилы. Оказалось, что червонцы прикипели к котлу, котел прирос к рогам, а бычья кожа — к попу...

Разумеется, как все необычайное, дело «дошло до царя», он посоветовался со стариками, и решили, что попа надо водить по всей земле, по городам и селам, и ставить на площадях. И чтобы все люди подходили и пробовали снять — потому что клад, должно быть, разбойничий или заклятый. Разбойники, верно, убили человека и зарыли деньги в землю,

или кто-нибудь «знающий» закопал с заговором. И если, может, найдутся наследники того, чьи это деньги по правде, то котелок такому человеку отдастся и снимется с рог, а с попа сойдет бычья шкура.

Отец сам рассказал нам, смеясь, эту историю и прибавил, что верят этому только дураки, так как это просто старая сказка; но простой, темный народ верил, и кое-где уже полиция разгоняла толпы, собиравшиеся по слухам, что к ним ведут «рогатого попа». На кухне у нас следили за поповским маршрутом: передавали совершенно точно, что поп побывал уже в Петербурге, в Москве, в Киеве, даже в Бердичеве и что теперь его ведут к нам...

Мы с младшим братом колебались между верой и сомнением, однако у нас теперь явилось новое занятие. Мы взбирались на высокие столбы забора на углу переулка и глядели вперед, в перспективу шоссе. Так мы просиживали целые часы неподвижно, иногда запасшись ломтями хлеба, и глядели в пыльную даль, следя за каждым появлявшимся пятнышком. Какая-то неотвязная инерция ожидания держала нас в этом неудобном по-

ложении на солнце — до головной боли. Иной раз и хотелось уйти, но из-за горизонта в узком просвете шоссе, у кладбища, то и дело появлялись какие-то пятнышки, скатывались, росли, оказывались самыми прозаическими предметами, но на смену выкатывались другие, и опять казалось: а вдруг это и есть то, чего все ждут.

Раз кто-то крикнул во дворе: «Ведут!..» Поднялась кутерьма, прислуга выбегала из кухни, бежали горничные, конюха, бежали соседи из переулка, а на перекрестке гремели барабаны и слышался гул. Мы с братом тоже побежали... Но оказалось, что это везли для казни на высокой телеге арестанта...

Эта глупая сказка смешалась с падением «фигуры», с марой и вообще попала в настроение ожидания: «Щось буде!» Что именно будет — неизвестно... Золотые грамоты, бунты мужиков, убийства, рогатый поп... вообще что-то необычайное, тревожное, небывалое — бесформенное... Одни верили в одно, другие — в другое, но все чувствовали, что идет на застоявшуюся жизнь что-то новое, и всякая мелочь встречалась тревожно, боязливо,

чутко... От детского впечатления неподвижности всего существующего мира не осталось к этому времени и следа. Наоборот, я чувствовал, что не только мой маленький мирок, но и вся даль за пределами двора, даже где-то в «Москве и Петербурге» — и ждет чего-то, и тревожится этим ожиданием...

Газета тогда в глухой провинции была редкость, гласность заменялась слухами, толками, догадками, вообще — «превратными толкованиями». Где-то в верхах готовилась реформа, грядущее кидало свою тень, проникавшую глубоко в толщу общества и народа; в этой тени вставали и двигались призраки, фоном жизни становилась неуверенность. Крупные черты будущего были неведомы, мелочи вырастали в крупные события.

Тогда же через наш город повели телеграфную линию. Сначала привезли ровные свежие столбы и уложили штабелями на известных расстояниях по улицам. Потом нарыли ямы, и одна из них пришлась как раз на углу нашего переулка и торговой Виленской улицы... Потом столбы уставили в ямы и затем на тележках привезли большие мотки проволо-

ки. Чиновник в свеженьком телеграфном мундире распоряжался работами, а рабочие влезали по лесенкам на столбы и, держась ногами и одной рукой на вбитых в столбы крючьях, натягивали проволоки. Натянув их в одном месте, они перекатывали тележку и сами переходили дальше к следующему промежутку, и к вечеру в воздухе параллельными линиями протянулись уже три или четыре проволоки, и столбы уносили их вдаль по длинной перспективе шоссе. Работники очень торопились, не останавливая работы и ночью. На следующее утро они были уже далеко за заставой, а через несколько дней говорили, что проволока доведена до Бродов и соединена с заграничной... В городе же остался труп: с столба сорвался рабочий, попал подбородком на крюк, и ему разрезало голову...

Я не помню, чтобы когда-нибудь впоследствии мне доводилось слышать такой сильный звон телеграфа, как в эти первые дни. В особенности вспоминается один ясный вечер. В нашем переулке было как-то особенно тихо, рокот экипажей по мощеным улицам города тоже стихал, и оттого яснее выступал непри-

вычный звон... Становилось как-то жутко слушать этот несмолкающий, ровный, непонятный крик мертвого железа, протянувшегося в воздухе откуда-то из неведомой столицы, где «живет царь»... Солнце совсем зашло, только промеж дальних крыш, в стороне польского кладбища, еще тлела на небе огненно-багровая полоска. А проволока, холодея, кричала все громче, наполняя воздух своими стонущими воплями.

Потом, вероятно, проволоку подтянули, и гул стал не так громок: в обыкновенные неветреные дни телеграф только тихо позванивал, как будто крики сменились смутным говором.

В эти первые дни можно было часто видеть любопытных, приставлявших уши к столбам и сосредоточенно слушающих. Тогдашняя молва опередила задолго открытие телефонов: говорили, что по проволоке разговаривают, а так как ее вели до границы, то и явилось естественное предположение, что это наш царь будет разговаривать о делах с иностранными царями.

Мы с братом тоже подолгу простаивали

под столбами. Когда я в первый раз прислонил ухо к дереву — меня поразило разнообразие этих текучих звуков. Это был уже не один ровный и неглубокий металлический звон; казалось, целая звуковая река переливалась по дереву, сложная, невнятная, завлекающая. И положительно иной раз воображение ловило что-то вроде отдаленного говора.

В один прекрасный день этот говор наконец был переведен на обыкновенную речь. Кто-то принес на нашу кухню известие, что отставной чиновник Попков уже разобрал «разговор по телеграфу». Чиновник Попков представлялся необыкновенно сведущим человеком: он был выгнан со службы неизвестно за что, но в знак своего прежнего звания носил старый мундир с форменными пуговицами, а в ознаменование теперешних бедствий — ноги его были иной раз в лаптях. Он был очень низок ростом, с уродливо большой головой и необыкновенным лбом. Пробавлялся он писанием просьб и жалоб. В качестве «заведомого ябедника» ему это было воспрещено, но тем большим доверием его «бумаги» пользовались среди простого народа: думали,

что запретили ему писать именно потому, что каждая его бумага обладала такой силой, с которой не могло справиться самое большое начальство. Жизнь он, однако, влачил бедственную, и в трудные минуты, когда другие источники иссякали, он брал шутовством и фокусами. Один из этих фокусов состоял в том, что он разбивал лбом волошские орехи.

И вот говорили, что именно этот человек, которого и со службы-то прогнали потому, что он слишком много знает, сумел подслушать секретные разговоры нашего царя с иностранными, преимущественно с французским Наполеоном. Иностранные цари требовали от нашего, чтобы он... отпустил всех людей на волю. При этом Наполеон говорил громко и гордо, а наш отвечал ему ласково и тихо[3].

Кажется, это была первая вполне уже ясная форма, в которой я услышал о предстоящем освобождении крестьян. Тревожное, неуловимое предсказание чудновской мари — «щось буде» — облекалось в определенную идею: царь хочет отнять у помещиков крестьян и отпустить на волю...

Хорошо это или плохо?

Если бы я писал беллетристический рассказ, то мне было бы очень соблазнительно связать этот вопрос с судьбой описанных выше двух «купленных мальчиков»... Выходило бы так, что я, еще ребенок, из сочувствия к моему приятелю, находящемуся в рабстве у пана Уляницкого, всей душою призываю реформу и молюсь за доброго царя, который хочет избавить всех купленных мальчиков от злых Уляницких... Это бы очень хорошо рекомендовало мое юное сердце и давало бы естественный повод для эффектных картин: в глухом городе неиспорченное детское чувство несется навстречу доброму царю и народной свободе...

Но, увы! — вглядываясь в живые картины, выступающие для меня теперь из тумана прошлого, я решительно вижу себя вынужденным отказаться от этого эффектного мотива. Не знаю, право, как это случилось... Может быть, просто потому, что дети слишком сильно живут непосредственными впечатлениями, чтобы устанавливать между ними те или другие широкие связи, — но только я как-то

совсем не помню связи между намерениями царя относительно всех крестьян и всех помещиков — и ближайшей судьбой, например Мамерика и другого безыменного нашего знакольца. И потому я не мог тогда чувствовать, что надвигающееся освобождение хорошо...

Да и впечатления были сбивчивы и смутны. На кухне у нас, сколько могу припомнить, ничего хорошего не ждали — может быть, потому, что состав ее был до известной степени аристократический. Кухарка была «пани» Будзиньская, комнатная горничная «пани» Хумбва, женщина с тонкими, изящными чертами лица, всегда говорившая по-польски, лакей Гандыло, конечно, очень бы обиделся, если бы его назвали мужиком. Из всей нашей тогдашней прислуги старая нянька и Будзиньская сохраняли деревенскую одежду и головы повязывали кичками, но и у них вид уже был не деревенский. Только кучер Петро, в своем вечном кожухе и тяжелых чеботах с отвернутыми книзу голенищами, имел облик настоящего мужика. Но он был человек очень молчаливый, все только курил и сплевывал, не высказывая никаких общих суждений. Лицо

его оставалось суровым, загадочным и мрачным...

Человек вообще меряет свое положение сравнением. Всему этому кругу жилось недурно под мягким режимом матери, и по вечерам в нашей кухне, жарко натопленной и густо насыщенной запахом жирного борща и теплого хлеба, собиралась компания людей, в общем довольных судьбой... Трещал сверчок, тускло горел сальный каганчик «на притчку», жужжало веретено, лились любопытные рассказы, пока кто-нибудь, сытый и разомлевший, не подымался с лавки и не говорил:

— А таки поздно... пора и спать...

Среди вечерних рассказов попадались и эпизоды панской жестокости, но обобщений не делалось. Есть на свете паны добрые и паны немилостивые. Бог таких наказывает, и иногда очень жестоко. Но и мужик обязан знать свое место, так как все это установлено богом. На долю этих людей бог выделил сравнительно легкую работу, полную сытость и немало досуга в теплой кухне... То неизвестное, что надвигалось на жизнь, представлялось им поэтому отчасти тревожным. «Щось

буде», — но хорошо это или плохо — неизвестно. Вообще же — беспокойно...

Это, впрочем, было настроение и не одной нашей кухни.

В одно раннее утро на нашем дворе оказалась большая толпа мужиков в свитках и бараньих шапках. Они только что привалили из деревни, за плечами у многих были берестяные кошелки или через плечо — холщовые торбы. Толпа тихо гудела, сгрудившись около широкой лестницы большого дома, и даже на некотором расстоянии чувствовался тяжеловатый мужицкий запах — пота, дегтя и овчины. Вскоре сверху, из хозяйского дома, спустились два старика без шапок и сказали что-то тревожно двинувшейся к ним толпе. Среди мужиков раздался общий негромкий как будто довольный говор, а затем вся толпа опустилась на колени: на верху лестницы показалась, поддерживаемая паннами-камеристками, госпожа Коляновская. Это была полная, величавая дама, с очень живыми, черными глазами, орлиным носом и весьма заметными черными усиками. На верху лестницы, высоко над коленопреклоненной тол-

пой, окруженная своим штатом, она казалась королевой среди своих подданных. Она сказала им несколько милостивых слов, на которые толпа ответила каким-то особенно преданно-радостным гулом.

В полдень на дворе составили несколько столов и угощали мужиков перед обратной дорогой.

Из разговора старших я узнал, что это приходили крепостные Коляновской из отдаленной деревни Сколубова просить, чтобы их оставили по-старому — «мы ваши, а вы наши». Коляновская была барыня добрая. У мужиков земли было довольно, а по зимам почти все работники расходились на разные работы. Жилось им, очевидно, тоже лучше соседей, и «щось буде» рождало в них тревогу — как бы это грядущее неизвестное их «не поравняло».

В это же лето Коляновские взяли меня к себе в имение. Поездка эта осталась у меня в памяти, точно картинка из волшебного сна: большой барский дом, и невдалеке ряд крестьянских хаток, выглядывавших из-за косого соломенными крышами и белыми маза-

ными стенами. По вечерам барский дом светился большими окнами, а хатки мерцали как-то ласково и смиренно разбросанными в темноте огоньками. И это казалось таким мирным, дружелюбным и согласным... В хатах жили мужики, те самые, которые однажды сломали наше крыльцо и построили новое, — умные и сильные. В доме — господа, добрые и ласковые. За столом у Коляновской собирались дальние родственники и служащие, народ смирный, услужливый и мягкий. На всем лежал какой-то особенный отпечаток прочно сладившегося быта, без противоречий и диссонансов. Помню, однажды за вечерним столом появился какой-то заезжий господин в щегольском сюртуке, крахмальной сорочке и золотых очках — фигура, резавшая глаз своей отчужденностью от этого деревенского общего тона. Между прочим, он стал доказывать, что мужики — быдло[4] лентяи, пьяницы и ничего не умеют. Коляновская спокойно возражала: вот этот дом, в котором мы сидим, и все в этом доме до последнего стула сделано ее мужиками. Дом в городе строили они же, и всем распоряжался умный старый мужик...

Спрашивается: какой заграничный архитектор построит прочнее и лучше? И бедные родственники, и официалисты[5] убежденно поддакивали, а мнению чужого господина как будто некуда было втиснуться в это законченное и бесповоротное убеждение.

Я тоже чувствовал, что права Коляновская. Незнакомый деревенский мир, мир сильных, умелых и смиренных, казался мне добрым и прекрасным в своем смирении. По вечерам мимо барского сада возвращались с работы парубки и дивчата, в венках из васильков, с граблями и косами на плечах и с веселыми песнями... Когда сняли первый сноп в поле, то принесли его торжественно в барский двор. Сноп качался над головами парубков в бараньих шапках и девушек в венках из васильков. И казалось, что он сознательно принимает молчаливое участие в этой радости труда. Это называлось «зажинки». С еще большей торжественностью пронесли на «дожинки» последний сноп, и тогда во дворе стояли столы с угощением, и парубки с дивчатами плясали до поздней ночи перед крыльцом, на котором сидела вся барская семья, радостная,

благожелательная, добрая. Потом толпа с песнями удалилась от освещенного барского дома к смиренным огонькам за косогором, и, по мере того как певцы расходились по хатам, песня замирала и таяла, пока не угасала совсем где-то в невидном дальнем конце деревни. И все казалось так мирно, прекрасно, цельно и ненаруσιμο... И все вспоминается мне как уголок крепостной идиллии, освещенный мягкими лучами заката.

А между тем где-то далеко в столицах судьбы крепостного строя уже взвешивались и в городе носилось тревожное ожидание. «Щось буде», — кричала чудновская мара. «Старая фигура», стоявшая с незапамятных времен, вдруг взяла да упала... Рогатый поп ходит по городам — должно быть, перед концом мира... «Щось буде», — испуганно воет телеграфная проволока. На кухне вместо сказок о привидениях по вечерам повторяются рассказы о «золотых грамотах», о том, что мужики не хотят больше быть панскими, что Кармелюк вернулся из Сибири, вырежет всех панов по селам и пойдет с мужиками на город. Неведомая страна за пределами города представля-

лась после этих рассказов темной, угрожающей, освещенной красным заревом пожаров. В детскую душу, как зловещая зарница из-за тучи, порой заглядывала непонятная тревога, которая, впрочем, быстро исчезала с впечатлениями ближайшего яркого дня...

IX. «Фомка из Сандомира» и помещик Дешерт

Около этого времени я прочитал первую толстую книгу и познакомился с одним ярким представителем крепостного строя.

Читать все мы выучивались как-то незаметно. Нам купили вырезанную польскую азбуку, и мы, играя, заучивали буквы. Постепенно перешли к чтению неизбежного «Степки-растрепки», а затем мне случайно попалась большая повесть польского писателя, кажется Коржениовского, «Фомка из Сандомира» («Tomek Sandomierzak»). Я начал разбирать ее почти еще по складам и постепенно так заинтересовался, что к концу книги читал уже довольно бегло. Результатом этого, может быть слишком раннего чтения, как мне кажется, явилось некоторое ослабление зрения и значительное расширение представ-

лений об обществе и деревне.

Книга мне попала на первый раз очень хорошая: в ней рассказывалось о маленьком крестьянском мальчике, сироте, который сначала пас стадо. Случайно он встретился с племянницей приходского ксендза (proboszcza), своей сверстницей, которая начала учить его грамоте и пробудила умственные стремления. Добрый ксендз упросил пана отпустить подростка, и тот пошел в свет искать знания. В повести не было ни таинственных приключений, ни сложной интриги. Просто, реально и тепло автор рассказывал, как Фомка из Сандомира пробивал себе трудную дорогу в жизни, как он нанялся в услужение к учителю в монастырской школе, как потом получил позволение учиться с другими учениками, продолжая чистить сапоги и убирать комнату учителя, как сначала над ним смеялись гордые паничи и как он шаг за шагом обгонял их и первым кончил школу. Ему предстоит блестящая карьера, но ученый мужик возвращается в деревню, чтобы стать деревенским учителем. Здесь он опять встречает подругу своего детства. Конец повести, вероятно несколь-

ко сентиментальный, вспоминается мне озаренным радостью честного, хорошего счастья.

Я и теперь храню благодарное воспоминание и об этой книге, и о польской литературе того времени. В ней уже билась тогда струя раннего, пожалуй слишком наивного, народничества, которое, еще не затрагивая прямо острых вопросов тогдашнего строя, настойчиво проводило идею равенства людей...

За этой повестью я просиживал целые дни, а иной раз и вечера, разбирая при сальной свече (стеариновые тогда считались роскошью) страницу за страницей. Помню также, что старшие не раз с ласковым пренебрежением уверяли меня, что я ничего не понимаю, а я удивлялся: что же тут понимать? Я просто *видел* все, что описывал автор: и маленького пастуха в поле, и домик ксендза среди кустов сирени, и длинные коридоры в школьном здании, где Фомка из Сандомира торопливо несет вычищенные сапоги учителя, чтобы затем бежать в класс, и взрослую уже девушку, застенчиво встречающую тоже взрослого и «ученого» Фому, бывшего своего

ученика.

Знакомство с деревней, которое я вынес из этого чтения, было, конечно, наивное и книжное. Даже воспоминание о деревне Коляновских не делало его более реальным. Но, кто знает — было ли бы оно вернее, если бы я в то время только жил среди сутолоки крепостных отношений... Оно было бы только конкретнее, но едва ли разумнее и шире. Я думаю даже, что и сама деревня не узнает себя, пока не посмотрится в свои более или менее идеалистические (не всегда «идеальные») отражения.

Как бы то ни было, наряду с деревней, темной и враждебной, откуда ждали какой-то неведомой грозы, в моем воображении существовала уже и другая. А фигура вымышленного Фомки стала мне прямо дорогой и близкой.

Однажды, когда отец был на службе, а мать с тетками и знакомыми весело болтали за какой-то работой, на дворе послышалось тархтение колес. Одна из теток выглянула в окно и сказала упавшим голосом:

— Дешерт!..

Мать поднялась со своего места и, торопливо убирая зачем-то работу со стола, говорила растерянно:

— Иисус, Мария, святой Иосиф... Вот беда... И мужа нет дома.

Дешерт был помещик и нам приходился как-то отдаленно сродни. В нашей семье о нем ходили целые легенды, окружавшие это имя грозой и мраком. Говорили о страшных истязаниях, которым он подвергал крестьян. Детей у него было много, и они разделялись на любимых и нелюбимых. Последние жили в людской, и, если попадались ему на глаза, он швырял их, как собачонок. Жена его, существо бесповоротно забитое, могла только плакать тайком. Одна дочь, красивая девушка с печальными глазами, сбежала из дому. Сын застрелился...

Все это, по-видимому, нимало не действовало на Дешерта. Это была цельная крепостническая натура, не признававшая ничего, кроме себя и своей воли... Города он не любил: здесь он чувствовал какие-то границы, которые вызывали в нем постоянное глухое кипение, готовое ежеминутно прорваться...

И это-то было особенно неприятно и даже страшно хозяевам.

На этот раз, сойдя с брочки, он категорически объявил матери с первых слов, что умирает. Он был страшно мнителен и при малейшем недомогании ставил всех на ноги. Без всякой церемонии он занял отцовский кабинет, и оттуда понеслись на весь дом его стоны, окрики, распоряжения, ругательства. Вернувшись со службы, отец застал свою комнату заваленною тазами, компрессами, примочками, пузырьками с лекарством. На его постели лежал «умирающий» и то глухо стонал, то ругался так громко, точно командир перед полком во время учения... Отец пожал плечами и подчинился...

Несколько дней, которые у нас провел этот оригинальный больной, вспоминаются мне каким-то кошмаром. Никто в доме ни на минуту не мог забыть о том, что в отцовском кабинете лежит Дешерт, огромный, страшный и «умирающий». При его грубых окриках мать вздрагивала и бежала сломя голову. Порой, когда крики и стоны смолкали, становилось еще страшнее: из-за запертой двери до-

носился богатырский храп. Все ходили на цыпочках, мать высылала нас во двор...

Кончилась эта болезнь довольно неожиданно. Однажды отец, вернувшись со службы, привез с собой остряка дядю Петра. Глаза у Петра, когда он здоровался с матерью, смеялись, усики шевелились.

Свободным голосом, какого уже несколько дней не слышно было в нашей квартире, он спросил:

— Ну, где же ваш больной?

Мать испуганно посмотрела на Петра и сказала умоляющим голосом:

— Ради бога... Что вы хотите делать?.. Нет, нет, пожалуйста, не ходите туда.

Но отец, которому все это и надоело и мешало, открыл свою дверь, и оба вошли в кабинет. Петр без всяких предосторожностей подошел к постели и громко сказал по-польски:

— Слышал, что умираешь! Пришел с тобой проститься...

Больной застонал и стал жаловаться, что у него колет в боку, что он «не имеет желудка» и вообще чувствует себя совсем плохо.

— Ну, что делать, — сказал Петр, — я и сам

вижу: умираешь... Все когда-нибудь умрем. Ты сегодня, а я завтра... Позовите священника, пусть приготовится, как следует доброму христианину.

Дешерт застонал. Петр отступил шага на два и стал мерить больного глазами от головы до ног...

— Что ты так на меня смотришь? — спросил Дешерт жалобно и ворчливо.

— Ничего, ничего... — успокоил его Петр и, не обращая на него внимания, деловито сказал отцу — Гроб, я тебе скажу, понадобится... ой-ой-ой!..

От этих слов Дешерта подкинуло на постели.

— Лошадей! — крикнул он так громко, что его кучер тотчас же кинулся из кухни исполнять приказание.

Дешерт стал одеваться, крича, что он умрет в дороге, но не останется ни минуты в доме, где смеются над умирающим родственником. Вскоре лошади Дешерта были поданы к крыльцу, и он, обвязанный и закутанный, ни с кем не прощаясь, уселся в бричку и уехал. Весь дом точно посветлел. На кухне го-

ворили вечером, каково-то у такого пана «людям», приводили примеры панского бесчеловечья...

Дешерт долго не появлялся в нашем доме, и только от времени до времени доносились слухи о новых его жестокостях в семье и на деревне.

Прошло, вероятно, около года. «Щось буде» нарастало, развертывалось, определялось. Отец уже работал в каких-то «новых комитетах», но о сущности этих работ все-таки говорилось мало и осторожно.

Однажды я сидел в гостиной с какой-то книжкой, а отец в мягком кресле читал «Сын отечества». Дело, вероятно, было после обеда, потому что отец был в халате и в туфлях. Он прочел в какой-то новой книжке, что после обеда спать вредно, и насиловал себя, стараясь отвыкнуть; но порой преступный сон все-таки захватывал его внезапно в кресле. Так было и теперь: в нашей гостиной было тихо, и только по временам слышался то шелест газеты, то тихое всхрапывание отца.

Вдруг в соседней комнате послышались тяжелые, торопливые шаги, кто-то не просто от-

крыл, а рванул дверь, и на пороге появилась худая высокая фигура Дешерта.

Явился он, как привидение. Лицо было бледное, усы растрепаны, волосы ежом, глаза мрачно горели. Шагнув в комнату, он остановился, потом стал ходить из угла в угол, как будто стараясь подавить kloкотавшее в его груди бешенство.

Я прижался в своем уголке, стараясь, чтобы он меня не заметил, но вместе что-то мешало мне выскользнуть из комнаты. Это был страх за отца: Дешерт был огромный и злой, а хромой отец казался слабым и незащищенным...

Сделав несколько быстрых оборотов, Дешерт вдруг остановился посередине комнаты и сказал:

— Слушай! Это, значит, все-таки правда?

— Что? — спросил отец. Глаза его наблюдали и смеялись.

Дешерт нетерпеливо рванулся и ответил:

— А, пусть вас возьмут все черти! Ну, понимаешь, то, о чем теперь трубят во все трубы. Даже хамы уже громко разговаривают об этом...

Отец, все так же с любопытством вглядываясь в него своими повеселевшими глазами, молча кивнул головой.

Дешерт не то застонал, не то зарычал, опять метнулся по комнате и потом, круто остановившись, сказал:

— А... вот как!.. Ну, так вот я вам говорю... Пока они еще мои... Пока вы там сочиняете свои подлые проекты... Я... я...

Он остановился, как будто злоба мешала ему говорить. В комнате стало жутко и тихо. Потом он повернулся к дверям, но в это время от кресла отца раздался сухой стук палки о крашенный пол. Дешерт оглянулся; я тоже невольно посмотрел на отца. Лицо его было как будто спокойно, но я знал этот блеск его больших выразительных глаз. Он сделал было усилие, чтобы подняться, потом опустил в кресло и, глядя прямо в лицо Дешерту, сказал по-польски, видимо сдерживая порыв вспыльчивости:

— Слушай ты... как тебя?.. Если ты... теперь... тронешь хоть одного человека в твоей деревне, то богом клянусь: тебя под конвоем привезут в город.

Глаза у Дешерта стали круглы, как у раненой хищной птицы. В них виднелось глубокое изумление.

— Кто?.. Кто посмеет? — прохрипел он, почти задыхаясь.

— А вот увидишь, — сказал отец, уже спокойно вынимая табакерку. Дешерт еще немного посмотрел на него остолбенелым взглядом, потом повернулся и пошел через комнату. Платье на его худощавом теле как будто обвисло. Он даже не стукнул выходной дверью и как-то необычно тихо исчез...

А отец остался в своем кресле. Под расстегнутым халатом засыпанная табаком рубашка слегка колебалась. Отец смеялся своим обычным нутряным смехом несколько тучного человека, а я смотрел на него восхищенными глазами, и чувство особенной радостной гордости трепетало в моем юном сердце...

В комнату вбежала мать и спросила с тревогой:

— Что он? Ушел? Ради бога: что у вас вышло?

Когда отец в коротких словах передал, что именно вышло, она всплеснула руками:

— Езус, Мария!.. Что теперь будет!.. Бедные люди!..

— Не посмеет, — сказал отец уверенно. — Не те времена...

В связи с описанной сценой мне вспоминается вечер, когда я сидел на нашем крыльце, глядел на небо и «думал без слов» обо всем происходящем... Мыслей словами, обобщенных, ясных выводов не было... «Щось буде» разворачивалось в душе вереницей образов. Разбитая «фигура»... мужики Коляновской, мужики Дешерта... его бессильное бешенство... спокойная уверенность отца. Все это в конце концов по странной логике образов слилось в одно сильное ощущение, до того определенное и ясное, что и до сих пор еще оно стоит в моей памяти.

Незадолго перед этим Коляновской привезли в ящике огромное фортепиано. Человек шесть рабочих снимали его с телеги, и когда снимали, то внутри ящика что-то глухо погромыхивало и звенело. Одну минуту, когда его поставили на край и взваливали на плечи, случилась какая-то заминка. Тяжесть, нависшая над людьми, дрогнула и, казалось, готова

была обрушиться на их головы... Мгновение... Сильные руки сделали еще поворот, и мертвый груз покорно и пассивно стал подниматься на лестницу...

И вот, в этот тихий вечер мне вдруг почувалось, что где-то высоко, в ночном сумраке, над нашим двором, над городом и дальше, над деревьями и над всем доступным воображению миром — нависла невидимо какая-то огромная ноша и глухо гремит, и вздрагивает, и поворачивается, грозя обрушиться... Кто-то сильный держит ее и управляет ею и хочет поставить на место. Удастся ли? Сдержит ли? Подымет ли, поставит?.. Или неведомое «что-то будет» с громом обрушится на весь этот известный мне мир?..

Так или иначе — то время справилось со своей задачей. Ноша поставлена на место, и жизнь твердою волею людей двинута в новом направлении... Прошло почти полвека... И теперь, когда я пишу эти воспоминания, над нашей страной вновь висят тяжкие задачи нового времени, и опять что-то гремит и вздрагивает, поднятое, но еще не поставленное на место. И в душе встают невольно тревожные

вопросы: хватит ли силы?.. Поднимут ли?.. Повернут ли?.. Поставят ли?.. Где добрая воля? Где ясное сознание? Где дружные усилия и сильные руки?..

.....

Обыкновенно беллетристы, пишущие о том времени, заканчивают апофеозом освобождения. Толпы радостно умиленного народа, кафельный дым, благодарная молитва, надежды... Я лично ничего подобного не видел, может быть, потому, что жил в городе... Мне, положим, вспоминается какое-то официальное торжество — не то по поводу освобождения, не то объявление о завоевании Кавказа. Для выслушания «манифеста» в город были «согнаны» представители от крестьян, и уже накануне улицы переполнились сермяжными свитами. Было много мужиков с медалями, а также много баб и детей.

Это последнее обстоятельство объяснялось тем, что в народе прошел зловеший слух: паны взяли верх у царя, и никакой опять свободы не будет. Мужиков стоняют в город и будут расстреливать из пушек... В панских кругах, наоборот, говорили, что неосторожно в такое

время собирать в город такую массу народа. Толковали об этом накануне торжества и у нас. Отец, по обыкновению, махал рукой: «Толкуй больной с подлекарем!»

В день торжества в центре города на площади квадратом были расставлены войска. В одной стороне блестел ряд медных пушек, а напротив — выстроились «свободные» мужики. Они производили впечатление угрюмой покорности судьбе, а бабы, которых полиция оттирала за шпалеры солдат, по временам то тяжело вздыхали, то принимались голосить. Когда после чтения какой-то бумаги грянули холостые выстрелы из пушек, в толпе послышались истерические крики и произошло большое замешательство... Бабы подумали, что это начинают расстреливать мужиков...

Старое время завещало новому часть своего печального наследства...

Часть вторая

Начало учения. — Восстание

Х. Пансион

Мне было, кажется, лет шесть, когда меня отдали в маленький польский пансион пани Окрашевской.

Это была добрая женщина, которая вынуждена была заняться педагогией, собственно, потому, что ее бросил муж, оставив с двумя дочерьми на произвол судьбы. Она делала что могла: у нее я выучился французскому чтению и «вокабулам», а затем она заставила меня вытверживать на польском языке «исторические песни Немцевича». Мне они нравились, и мой ум обогатился стихотворными сведениями из польского гербовника. Но когда добрая женщина, желая сразу убить двух зайцев, заставила меня изучать географию по французскому учебнику, то мой детский мозг решительно запротестовал. Напрасно она стала уменьшать порции этих полезных знаний — до полустраницы, одной четверти, пяти строк, одной строки... Я сидел над книгой,

на глазах моих стояли слезы, и опыт кончился тем, что я не мог уже заучить даже двух рядом стоящих слов...

Вскоре после этого я заболел перемежающейся лихорадкой, а после болезни меня отдали в большой пансион пана Рыхлинского, где уже учился мой старший брат.

Это был один из значительных переломов в моей жизни...

В пансионе Окрашевской учились одни дети, и я чувствовал себя там ребенком. Меня привозили туда по утрам, и по окончании урока я сидел и ждал, пока за мной заедет кучер или зайдет горничная. У Рыхлинского учились не только маленькие мальчики, но и великовозрастные молодые люди, умевшие уже иной раз закрутить порядочные усики. Часть из них училась в самом пансионе, другие ходили в гимназию. Таким образом, я с гордостью сознавал, что впервые становлюсь членом некоторой корпорации.

После двух-трех раз, когда я хорошо узнал дорогу, мать позволила мне идти в пансион одному...

Я отлично помню это первое самостоятель-

ное путешествие. В левой руке у меня была связка книг и тетрадей, в правой — небольшой хлыст для защиты от собак. В это время мы переехали уже из центра города на окраину, и дом наш окнами Глядел на пустырь, по которому бегали стаями полуодичавшие собаки... Я шел, чувствуя себя так, как, вероятно, чувствуют себя в девственных лесах охотники. Сжимая хлыст, я зорко смотрел по сторонам, ожидая опасности. Еврейский мальчик, бежавший в ремесленное училище; сапожный ученик с выпачканным лицом и босой, но с большим сапогом в руке; длинный верзила, шедший с кнутом около воза с глиной; наконец, бродячая собака, пробежавшая мимо меня с опущенной головой, — все они, казалось мне, знают, что я — маленький мальчик, в первый раз отпущенный матерью без провожатых, у которого вдобавок в кармане лежит огромная сумма в три гроша (полторы копейки). И я был готов отразить нападение и еврейского мальчика, и мальчика с сапогом. Только верзила — я признавал это — может меня легко ограбить, а собака могла быть бешеная... Но и тот и другая не обратили на

меня внимания.

Наконец я подошел к воротам пансиона и остановился... Остановился лишь затем, чтобы продлить ощущение особого наслаждения и гордости, переполнявшей все мое существо. Подобно Фаусту, я мог сказать этой минуте: «Остановись, ты прекрасна!» Я оглядывался на свою короткую еще жизнь и чувствовал, что вот я уже как вырос и какое, можно сказать, занимаю в этом свете положение: прошел один через две улицы и площадь, и весь мир признает мое право на эту самостоятельность...

Должно быть, было что-то особенное в этой минуте, потому что она запечатлелась навеки в моей памяти и с внутренним ощущением, и с внешними подробностями. Кто-то во мне как бы смотрел со стороны на стоявшего у ворот мальчика, и если перевести словами результаты этого осмотра, то вышло бы приблизительно так:

— Вот — я! Я тот, который когда-то смотрел на ночной пожар, сидя на руках у кормилицы, тот, который колотил палкой в лунный вечер воображаемого вора, тот, который об-

жег палец и плакал от одного воспоминания об этом, тот, который замер в лесу от первого впечатления лесного шума, тот, которого еще недавно водили за руку к Окрашевской... И вот теперь я тот, что бесстрашно прошел мимо стольких опасностей, подошел к самым воротам пансиона, где я уже имею высокое звание «учня»; и я смотрю кругом и кверху. Кругом — улица и дома, вверху — старая перекладина ворот, и на ней два голубя. Один сидит смирно, другой ходит взад и вперед по перекладине и воркует как-то особенно приятно и чисто. И все кругом чисто и приятно: дома, улица, ворота и особенно высокое синее небо, по которому тихо, как будто легкими толчками, передвигается белое облако.

И все это — мое, все это как-то особенно проникает в меня и становится моим достоянием.

От восторга я чуть не вскрикнул и, сильно взмахнув книгами, зашагал через двор огромными для моего возраста шагами... И мне казалось, что со мною в пансион Рыхлинского вступил кто-то необыкновенно значительный и важный... Это, впрочем, не мешало мне

относиться с величайшим благоговением ко всем пансионерам, поступившим ранее меня, не говоря, конечно, об учителях...

Нельзя сказать, чтобы в этом пансионе господствовало последнее слово педагогической науки. Сам Рыхлинский был человек уже пожилой, на костылях. У него была коротко остриженная квадратная голова, с мясистыми чертами широкого лица; плечи от постоянного упора на костыли были необыкновенно широки и приподняты, отчего весь он казался квадратным и грузным. Когда же иной раз, сидя в кресле, он протягивал вперед свои жилистые руки и, вытаращив глаза, вскрикивал сильным голосом:

— Кос-ти переломаю!.. все кости... — то наши детские души уходили в пятки... Но это бывало не часто. Старый добряк экономил этот эффект и прибегал к нему лишь в крайних случаях.

Языкам обучали очень оригинальным способом: с первого же дня поступления я узнал, что я должен говорить один день по-французски, другой — по-немецки. Я не знал ни того ни другого языка, и как только заговорил по-

польски — на моей шее очутилась веревочка с привешенной к ней изрядной толщины дубовой линейкой. Линейка имела форму узкой лопатки, на которой было написано по-французски «la regie»[6], а на другой стороне по-польски «dla bicia» (для битья). К завтраку, когда все воспитанники уселись за пять или шесть столов, причем за средним сидел сам Рыхлинский, а за другими — его жена, дочь и воспитатели, Рыхлинский спросил по-французски:

— У кого линейка?

— Иди! Иди! — стали толкать меня товарищи.

Я робко подошел к среднему столу и подал линейку.

Рыхлинский был дальний родственник моей матери, бывал у нас, играл с отцом в шахматы и всегда очень ласково обходился со мною. Но тут он молчаливо взял линейку, велел мне протянуть руку ладонью кверху, и... через секунду на моей ладони остался красный след от удара... В детстве я был нервен и слезлив, но от физической боли плакал редко; не заплакал и этот раз и даже не без гордости

подумал: вот уже меня, как настоящих пансионеров, ударили и «в лапу»...

— Хорошо, — сказал Рыхлинский. — Линейку возьми опять и отдай кому-нибудь другому. А вы, гультаи, научите малого, что надо делать с линейкой. А то он носится с нею, как дурень с писаной торбой.

Действительно, я носил линейку на виду, тогда как надо было спрятать ее и накинуть на шею тому, кто проговаривался польским или русским словом... Это походило немного на поощрение шпионства, но при общем тоне пансиона превратилось в своего рода шуточный спорт. Ученики весело перекидывались линейкой, и тот, кто приходил с нею к столу, мужественно принимал крепкий удар.

Зато во всех остальных отношениях всякое шпионство и взаимные жалобы совершенно не терпелись. В тех случаях, когда какой-нибудь новичок приходил с жалобой или доносом, Рыхлинский немедленно вызывал виновного и производил строгое расследование. Если донос оказывался верным — следовало наказание: шла в ход та же линейка или виновный ставился на колени. Но при наказа-

нии непременно должен был присутствовать и доносчик. Иной раз Рыхлинский спрашивал его:

— Ну что? Тебе теперь приятно?

Все чувствовали, что жалоба на товарища осуждается более, чем самый проступок. Вся масса учеников смотрела сочувственно на наказываемого и с презрением на доносчика. Некоторое время после этого его дразнили звуками, похожими на бляение козы, и звали «КОЗОЮ»...

Вообще в пансионе был свой особенный тон, и все в нем мне очень нравилось, кроме учителя математики пана Пашковского.

Это был человек лет за тридцать, большого роста, худощавый, но сильный и довольно красивый. Я, впрочем, тогда плохо ценил его всеми признаваемую красоту. Мне казались крайне неприятными его большие, круглые, как у птицы, глаза и острый нос с сильной горбинкой, напоминавший клюв ястреба. Усы у него были длинные, нафабранные, с концами, вытянутыми в ниточку, а ногти на руках он отпускал и холил... Они у него были очень длинные и заостренные на концах... Вообще

весь он был какой-то выхоленный, щеголеватый и чистый, носил цветные жилетки, кольца на руках и цепочки с брелочками и распространял вокруг себя запах помады, крепкого табаку и крахмала. Во время уроков он или подчищал ногти какой-то костяшкой, или старательно поправлял усы концами длинных, костлявых и закуренных до желтизны пальцев... Говорили, что он ищет себе богатую невесту и уже потерпел несколько неудач, а пока что мне суждено было воспринять от этого «красавца» первые основы математических познаний...

Дело это сразу пошло не настоящей дорогой. Мне казалось, что этот рослый человек питает неодолимое презрение к очень маленьким мальчикам, а я и еще один товарищ, Сурин, были самые малые ростом во всем пансионе. И оба не могли почему-то воспринять от Пашковского ни одного «правила» и особенно ни одной «поверки»...

Педагогические приемы у пана Пашковского были особенные: он брал малыша за талью, ставил его рядом с собою и ласково клал на голову левую руку. Малыш сразу чувство-

вал, что к поверхности коротко остриженной головы прикоснулись пять заостренных, как иголки, ногтей, через которые, очевидно, математическая мудрость должна проникнуть в голову.

— Ну, милый мальчик, понял?

В больших, навывкате, глазах (и кто только мог находить их красивыми!) начинала бегать какая-то зеленоватая искорка. Все мое внимание отливало к пяти уколам на верхушке головы, и я отвечал тихо:

— Понял.

— Объясняй.

Я начинал что-то путать. Острия ногтей все с большим нажимом входили в мою кожу, и последние проблески понимания исчезали... Была только зеленая искорка в противных глазах и пять горячих точек на голове. Ничего больше не было...

— Сурин, объясни ему! — Та же история начиналась с Суриным.

К доске он тоже вызывал нас вместе. Мы выходили, покорные судьбе, что-то писали, подымаясь на цыпочки, и что-то объясняли друг другу. Круглое лицо Сурина с добрыми

глазами глядело прямо на меня с неосновательной надеждой, что я что-то пойму, а я с такой же надеждой глядел на него. Товарищи угрюмо молчали. Пашковский наслаждался, но искорки в его глазах становились все злее. Внезапно он взвивался во весь свой рост, и тогда над нами разражалась какая-нибудь неожиданность. Чаще всего он схватывал с чьей-нибудь постели большую подушку и метким ударом сбивал нас обоих с ног. Потом он обходил весь дортуар, и гора подушек вырастала у доски над нашими злополучными телами.

— Ты дышишь? — спрашивал меня добряк Сурин.

— Дышу. А ты?

— Ничего, можно...

Окрики Пашковского долетали до нас все глуше, и мы не прочь были бы пролежать так до конца урока. Скоро, однако, подушки одна за другой летели опять по кроватям, наше благополучное погребение кончалось, и мы воскресали для новых бедствий.

Однажды мучитель подошел ко мне и, схватив за шиворот, поднял сильной рукой

на воздух.

— Где?., где тут гвоздь? — говорил он сдавленным голосом, и его выпуклые глаза бегали по стенам.

— Повешу негодяя!

Гвоздя не оказалось. Тогда он крикнул:

— Открыть окно!

Окно распахнулось. Пашковский стал напротив и принялся раскачивать меня, точно маятник, скандируя в такт этим движениям:

*Вот брошу
Гуль-та-я
В Те-те-рев...*

Это была одна из ярких минут моей жизни. Реки, которою грозил мне Пашковский, в окно не было видно, но за обрезом горы чувствовался спуск, а дальше — крутой подъем противоположного берега... Окно с этим пейзажем мелькало, качаясь, перед моим печальным взглядом, а в это время Пашковский с каким-то особенным мучительным сладострастием развивал дальнейшие перспективы: мать ожидает сына... Сынок не идет. Посылает кучера Филиппа. Филипп приходит за

паничем. Панич лежит в реке, ногами к берегу. Голова в воде, и в обеих ноздрях... по раку!.. Я слушал, качаясь в воздухе, и мне было жаль какого-то бедного мальчика... Особенный ужас вызывала реалистическая подробность о раках...

Эти сильные и довольно разнообразные ощущения стали между мной и арифметикой неодолимой преградой. Даже когда Пашковскому через некоторое время отказали (или он нашел невесту), я все-таки остался при убеждении, что поверку деления можно понять лишь по особой милости господ, в которой мне отказано с рождения...

По остальным предметам я шел прекрасно, все мне давалось без особенных усилий, и основной фон моих воспоминаний этого периода — радость развертывающейся жизни, шумное хорошее товарищество, нетрудная, хотя и строгая, дисциплина, беготня на свежем воздухе и мячи, летающие в вышине.

Самое лучшее, что было в приемах этого воспитательного режима, — это чувство какой-то особенной близости, почти товарищества с воспитателями. На уроках всегда быва-

ло так тихо, что одни голоса учителей, занимавшихся в разных комнатах, раздавались по всему пансиону. Зато те же молодые учителя принимали участие в игре в мяч на обширном пустыре или зимою в городки и снежки. И тогда не полагалось для них никаких уступок или поблажек. Их так же крепко били мячами, и расплющить мокрую снежку об лицо мосье Гюгенета, воспитателя и учителя французского языка, считалось совершенно дозволенным удовольствием...

Гюгенет был молодой француз, живой, полнокровный, подвижный, очень веселый и необыкновенно вспыльчивый. Мы слушались его беспрекословно там, где ему приходилось приказывать, и очень любили его дежурства, которые проходили необыкновенно весело и живо. Ему наше общество тоже доставляло удовольствие, а купаться он ходил с нами даже не в очередь...

Для купанья нам приходилось пройти большие пустыри Девичьей площади (Plac ranienski), которая приводила к старому девичьему монастырю (кляштор). В этом монастыре был приют для девочек. И каждый раз в те

часы, когда мы веселой ватагой проходили к Тетереву и обратно, приютянки в длинных белых накрахмаленных капорах, совершенно скрывавших их лица, чинно и тихо кружились вереницами по площадке... Впереди и позади шли монахини-надзирательницы, а одна старуха, кажется игуменья, сидела на скамье, вязала чулок или перебирала четки, то и дело поглядывая на гуляющих, точно старая насадка на стаю своих цыплят.

Пройдя через эту площадку, мы весело сбегали по откосу, густо поросшему молодым грабником, и затем берег Тетерева оглашался нашими криками и плеском, а река кишела барахтающимися детскими телами.

При этом мосье Гюгенет, раздетый, садился на откосе песчаного берега и зорко следил за всеми, поощряя малышей, учившихся плавать, и сдерживая излишние проказы старших. Затем он командовал всем выходить и лишь тогда кидался сам в воду. При этом он делал с берега изумительные сальто-мортале, фыркал, плескался и уплывал далеко вдоль реки.

Однажды, сидя еще на берегу, он стал драз-

нить моего старшего брата и младшего Рыхлинского, выходявших последними из воды. Скамеек на берегу не было, и, чтобы надеть сапоги, приходилось скакать на одной ноге, обмыв другую в реке. Мосье Гюгенет в этот день расшалился и, едва они выходили из воды, он кидал в них песком. Мальчикам приходилось опять лезть в воду и обмываться. Он повторил это много раз, хохоча и дурачась, пока они не догадались разойтись далеко в стороны, захватив сапоги и белье.

Когда это кончилось, мосье Гюгенет сам беспечно бросился в воду и принялся нырять и плавать, как утка. Затем, порядочно задышавшийся и усталый, он вышел на берег и только было стал залезать в рубаху, как оба мальчика обсыпали его, в свою очередь, песком.

Гюгенет захохотал и полез опять в воду, но едва подошел к одежде, как повторилось то же.

Он сделал *la bonne mine*[7], но лицо его покраснело. Он остановился и сказал коротко:

— *Assez!*..[8]

После этого он стал вновь натягивать ру-

башку, но один из шалунов не удержался и опять сыпнул песком.

Француз внезапно расвирепел. Крахмаль-ная рубашка полетела на песок; лицо Гюгенета стало багровым, глаза — совершенно дикими. Оба шалуна поняли, что зашли слишком далеко, и испуганно бросились по горной тропинке наверх; Гюгенет, голый, пустился вдогонку, и вскоре все трое исчезли из пределов нашего зрения.

То, что произошло затем, наверное, долго обсуждалось в угрюмых стенах монастыря как случай бесовского наваждения. Прежде всего над обрезом горы мелькнули фигуры двух испуганных школьников и, пробившись через ряды гуляющих приютянок, помчались вдоль по широкой дороге между монастырскими огородами. Едва стихло замешательство, произведенное этим бегством, как на гору взлетел запыхавшийся и совершенно голый Гюгенет. Впереди были еще видны фигуры убежавших, и бешеный француз, в свою очередь, ринулся через площадку... Испуганные монахини, крестясь и читая молитвы, быстро согнали в кучу свою паству и погнали

ее, как стаю цыплят, в стены монастыря, а Гюгенет мчался далее.

Мальчики скрылись в большом монастырском огороде, между густыми порослями гороха и фасоли. Гюгенет подбежал к городьбе и только тут убедился, что дальнейшее преследование бесполезно. Вместе с тем, как Адам после грехопадения, он сознал, что наг, и устыдился. Как раз на середине широкой полосы между огородами, по которой шла дорога к городу, стояла живописная кучка деревьев, густо обросшая у пней молодой порослью. Бедный француз забился туда и, выставив голову, стал ожидать, что его питомцы догадаются принести ему платье.

Но мы не догадались. Внезапное исчезновение голого воспитателя нас озадачило. Мы не думали, что он убежит так далеко, и, поджидая его, стали кидать камнями по реке и бегать по берегу...

На монастырской площадке тоже все успокоилось, и жизнь стала входить в обычную колею. На широкое крыльцо кляштора выглянули старые монахини и, видя, что все следы наваждения исчезли, решили закончить про-

гулку. Через несколько минут опять степенно закружились вереницы приютянок в белых капорах, сопровождаемые степенными сестрами-бригитками. Старуха с четками водворилась на своей скамье.

Между тем солнце склонялось. Бедный француз, соскучившись напрасным ожиданием в своих зарослях и видя, что никто не идет ему на выручку, решился вдруг на отчаянное предприятие и, выскочив из своего убежища, опять ринулся напролом к реке... Мы подымались как раз на гору на разведки, когда среди истерических женских воплей и общего смятения француз промелькнул мимо нас, как буря, и, не разбирая тропинок, помчался через рощу вниз.

Когда мы вернулись в пансион, оба провинившиеся были уже тут и с тревогой спрашивали, где Гюгенет и в каком мы его оставили настроении. Француз вернулся к вечернему чаю; глаза у него были веселые, но лицо серьезно. Вечером мы, по обыкновению, сидели в ряд за длинными столами и, закрыв уши, громко заучивали уроки. Шум при этом стоял невообразимый, а мосье Гюгенет, строгий и

деловитый, ходил между столами и наблюдал, чтобы не было шалостей.

Только уже совсем вечером, когда все улеглись и в лампе притушили огонь, с «дежурной кровати», где спал Гюгенет, внезапно раздался хохот. Он сидел на кровати и хохотал, держась за живот и чуть не катаясь по постели...

Под конец моего пребывания в пансионе добродушный француз как-то исчез с нашего горизонта. Говорили, что он уезжал куда-то держать экзамен. Я был в третьем классе гимназии, когда однажды, в начале учебного года, в узком коридоре я наткнулся вдруг на фигуру, изумительно похожую на Гюгенета, только уже в синем учительском мундире. Я шел с другим мальчиком, поступившим в гимназию тоже от Рыхлинского, и оба мы радостно кинулись к старому знакомому.

— Мосье Гюгенет!.. Мосье Гюгенет!..

Фигура остановилась и смерила нас официальным взглядом. Оба мы сконфузились и оробели.

— Nein?.. Что такой-ё? Что надо? — спросил он, и, опять окатив нас холодным взглядом,

дом, новый учитель проследовал дальше по коридору, не оборачиваясь и размахивая классным журналом.

— Не он? — спросил мой товарищ. Оказалось, однако, что фамилия нового учителя была все-таки Гюгенет, но это была уже гимназия, казенное учреждение, в котором веселый Гюгенет тоже стал казенным.

В другой раз мы встретились на улице. Мое сердце сильно забилося. Я подумал, что Гюгенет строг и чопорен только в гимназии, а здесь, на улице, он заговорит опять по-прежнему со смехом и прибаутками, как веселый старший товарищ. Поравнявшись с ним, я снял свою форменную фуражку и взглянул на него с ожиданием и надеждой. Я был уверен, что он узнал меня. Но его взгляд скользнул по моему лицу, он сощурился и отвернулся, холодно кивнув на поклон. Сердце мое сжалось так сильно, как будто я потерял дорогого и близкого человека...

Один год пребывания в пансионе Рыхлинского очень изменил и развил меня. Мне уже странно было вспоминать себя во время первого самостоятельного путешествия. Теперь я

отлично изучил весь пустырь, все бурьяны, ближайшие улицы и переулки, дорогу к реке...

В один вечер мать захлопоталась и забыла прислать за мною. Остаться ночевать в пансионе мне не хотелось. Было страшно уходить одному, но вместе что-то манило. Я решился и, связав книги, пошел из дортуара, где ученики уже ложились.

— За тобой пришли? — спросил меня воспитатель.

— Пришли, — ответил я и торопливо, точно от искушения, выбежал на крыльцо, а оттуда на двор.

Дело было осенью, выпал снег и почти весь днем растаял; остались только пятна, кое-где неясно белевшие в темноте. По небу ползли тучи, и на дворе не было видно ни зги.

Я вышел за ворота и с бьющимся сердцем пустился в темный пустырь, точно в море. Отходя, я оглядывался на освещенные окна пансиона, которые все удалялись и становились меньше. Мне казалось, что, пока они видны ясно, я еще в безопасности... Но вот я дошел

до середины, где пролежала глубокая борозда — не то канава, указывавшая старую городскую границу, не то овраг.

Я чувствовал, что здесь я буду одинаково далек от пансиона и от дома, огоньки которого уже мелькали где-то впереди в сырой темноте.

И вдруг сзади меня, немного вправо, раздался резкий пронзительный свист, от которого я инстинктивно присел к земле. Впереди и влево раздался ответный свист, и я сразу сообразил, что это два человека идут навстречу друг другу приблизительно к тому месту, где должен был проходить и я. В темноте уже как будто мелькала неясная фигура и слышались тяжелые шаги. Я быстро наклонился к земле и заполз в овражек...

Между тем раздался третий свисток, и вскоре три человека сошлись на пустыре, в нескольких саженях от того места, где я притаился. Сердце у меня стучало, и я боялся, как бы незнакомцы не открыли по этому стуку моего присутствия... Они были так близко, что, глядя из своего овражка, я видел их неясные силуэты на мгlistом небе. Они разгова-

ривали о чем-то подозрительно тихо... Затем они двинулись в глубь пустыря, а я, почти не переводя дыхания, побежал к своему дому... И опять моя детская душонка была переполнена радостным сознанием, что это уже «почти наверное» были настоящие воры и что я, значит, пережил, и притом довольно храбро, настоящую опасность.

Пожалуй, это была правда: почти не проходило ночи, чтобы в наших пустынных местах не случилось грабежей или краж. Наши ставни всегда накрепко запирались с вечера. По ночам, особенно когда отец уезжал по службе, у нас бывали тревоги. Все подымались на ноги, женщины вооружались кочергами и рогами и становились у окон. И когда водворялась тишина, то ясно слышно было, как кто-то снаружи осторожно пробует, не забыли ли вставить задвижки в засовах и нельзя ли где-нибудь открыть ставню. Женщины принимались стучать в рамы и кричать. В голосах их слышался смертельный испуг.

XI. Первый спектакль

Первая театральная пьеса, которую я увидел в своей жизни, была польская, и при-

том насквозь проникнутая национально-историческим романтизмом.

Читатель уже заметил из предыдущих очерков, что нашу семью нельзя было назвать чисто русской. Жили мы на Волыни, то есть в той части правобережной Малороссии, которая дольше, чем другие, оставалась во владении Польши. К ней всего ближе была железная рука князя Бремы Вишневецкого... Вишневец, Полонное, Корец, Острог, Дубно, вообще волынские городки и даже иные местечки усеяны и теперь развалинами польских магнатских замков или монастырей... Стены их обрушились, на проломах густо поросли плющи, продолжающие разъедать старые камни... В селах помещики, в городах — среднее сословие были поляки или, во всяком случае, люди, говорившие по-польски. В деревнях звучал своеобразный малорусский говор, подвергшийся влиянию и русского, и польского. Чиновники (меньшинство) и военные говорили по-русски...

Наряду с этим были также и три веры (не считая евреев): католическая, православная и между ними — униатская, наиболее бедная и

утесненная. Поляки в свое время считали ее верой низшей; резали униатов набегавшие из Украины казаки и гайдамаки, потом их стали теснить и преследовать русские. Таким образом, религия, явившаяся результатом малодушного компромисса, пустив корни в сердцах нескольких поколений, стала гонимой и потребовала от своих последователей преданности и самоотвержения. Я вспоминаю одного из этих униатских священников, высокого старика с огромною седой бородой, с дрожащею головой и большим священническим жезлом в руках. Он очень низко кланялся отцу, прикасаясь рукой к полу, и жаловался на что-то, причем длинная седая борода тряслась, а по старческому лицу бежали крупные слезы. Он говорил что-то мне непонятное о боге, которого не хочет продать, и о вере предков. Мой отец с видимым уважением подымал старика, когда он пытался земно поклониться, и обещал сделать все, что возможно. По уходе старика отец долго задумчиво ходил по комнатам, а затем, остановившись, произнес сентенцию:

— Есть одна правая вера... Но никто не мо-

жет знать, которая именно. Надо держаться веры отцов, хотя бы пришлось терпеть за это...

А что по этому поводу говорили «царь и закон» — он на этот раз не прибавил, да, вероятно, и не считал этого относящимся к данному вопросу.

Мать моя была католичка. В первые годы моего детства в нашей семье польский язык господствовал, но наряду с ним я слышал еще два: русский и малорусский. Первую молитву я знал по-польски и по-славянски, с сильными искажениями на малорусский лад.

Чистый русский язык я слышал от сестер отца, но они приезжали к нам редко.

Мне было, вероятно, лет семь, когда однажды родители взяли ложу в театре и мать велела одеть меня получше. Я не знал, в чем дело, и видел только, что старший брат очень сердит за то, что берут не его, а меня.

— Да он заснет там!.. Что он понимает? Дурак! — говорил он матери.

— Пожалуй, это правда, — подтвердил кто-то из старших, но я обещал, что не засну, и был очень счастлив, когда наконец все усе-

лись в коляску и она тронулась.

И я действительно не заснул. В городе был каменный театр, и на этот раз его снимала польская труппа. Давали историческую пьесу неизвестного мне автора, озаглавленную «Урсула, или Сигизмунд III»...

Когда мы вошли в ложу, уже началось первое действие, и я сразу жадно впился глазами в сцену...

Содержание пьесы я понял плохо. Речь шла о каких-то придворных интригах во время Сигизмунда Третьего, в центре которых стояла куртизанка Урсула. Помню, что она была не особенно красива, под ее глазами я ясно различал нарисованные синие круги, лицо было неприятно присыпано пудрой, шея у нее была сухая и жилистая. Но все это не представлялось мне нисколько несообразным! Урсула была скверная женщина, от которой страдала хорошенькая молодая девушка и прекрасный молодой человек. То обстоятельство, что она была противна лицом, только усиливало мое нерасположение к низкой интриганке...

Вся обстановка, полная блеска, бряцания

шпор, лязганья сабель, дуэлей, криков «виват», бурных столкновений, опасностей, произвела на меня сильное впечатление. Хороша ли или плоха была эта пьеса — я теперь судить не могу. Знаю только, что вся она была проникнута особым колоритом, и на меня сразу пахнуло историей, чем-то романтическим, когда-то живым, блестящим, но отошедшим уже туда, куда на моих глазах ушел и последний «старополяк», пан коморник Коляновский. Один старый шляхтич на сцене — высокий, с белыми как снег усами — напомнил Коляновского до такой степени, что казался мне почти близким и знакомым. И роль у него была подходящая: он говорил об ушедших в вечность временах старинной доблести...

В его голосе звучала глубокая печаль, и я проникся к нему живейшей симпатией...

Особенно ярко запомнились мне два-три отдельных эпизода. Высокий мрачный злодей, орудие Урсулы, чуть не убивает прекрасного молодого человека, но старик, похожий на Коляновского (или другой, точно не помню), ударом кулака вышибает из рук его саб-

лю... Сабля, сверкая и звеня, падает на пол. Я тяжело перевожу дыхание, а мать наклоняется ко мне и говорит:

— Не бойся... Это не в самом деле... Это они только представляют.

В другом действии два брата Зборовские, предводители казаков, воевавшие во славу короля и Польши в татарских степях, оскорбленные каким-то недостойным действием бесхарактерного Сигизмунда, произносят перед его троном пылкие речи, а в заключение каждый из них снимает кривую саблю, прощается с нею и гордо кидает ее к ногам короля... И опять гремит железо, среди придворной толпы движение ужаса и негодования, а в центре — гордые фигуры суровых казацких вождей. И мое детское сердце горит непонятным еще, но заразительным чувством рыцарской доблести и бесстрашия...

Кончается пьеса смертью короля. У его роскошной постели собираются послы от войска, чтобы добиться назначения коронного гетмана... Загорелые, суровые, они пробиваются к королю и во имя отчизны требуют решения. Грудь умирающего вздымается, и, судорожно

задыхаясь, он произносит:

— Дать им... Конецпольского...

Придворные говорят: «Король умер», а зал оглашается бурными криками: «Виват Конецпольский!..»

Не знаю, имел ли автор в виду каламбур, которым звучало последнее восклицание, но только оно накинуло на всю пьесу дымку какой-то особой печали, сквозь которую я вижу ее и теперь... Прошлое родины моей матери, когда-то блестящее, шумное, обаятельное, уходит навсегда, гремя и сверкая последними отблесками славы.

Эта драма ударила в мою голову, как крепкое вино, опьянением романтизма. Я рассказал о ней братьям и сестре и заразил их своим увлечением. Мы сделали себе деревянные сабли, а из простынь состряпали фантастические мантии. Старший брат в виде короля восседал на высоком стуле, задрапированный пестрым одеялом, или лежал на одре смерти; сестренку, которая во всем этом решительно ничего не понимала, мы сажали у его ног, в виде злодейки Урсулы, а сами, потрясая деревянными саблями, кидали их с презрением

на пол или кричали дикими голосами:

— Виват Конецпольский!..

Если бы в это время кто-нибудь вскрыл мою детскую душу, чтобы определить по ней признаки национальности, то, вероятно, он решил бы, что я — зародыш польского шляхтича восемнадцатого века, гражданин романтической старой Польши, с ее беззаветным своеволием, храбростью, приключениями, блеском, звоном чаш и сабель.

И, пожалуй, он был бы прав...

Вскоре после этого пьесы, требовавшие польских костюмов, были воспрещены, а еще через некоторое время польский театр вообще надолго смолк в нашем крае. Но романтическое чувство прошлого уже загнездилося в моей душе, нарядившись в костюмы старой Польши.

XII. Время польского восстания

Вспыхнуло оно, как известно, в начале 1863 года. Но глухое волнение и демонстрации происходили уже ранее.

Приблизительно в 1860 году отец однажды вернулся со службы серьезный и озабоченный. Переговорив о чем-то с матерью, он за-

тем собрал нас и сказал:

— Слушайте, дети. Вы — русские и с этого дня должны говорить по-русски.

После этого впервые в нашей «ополяченной» семье зазвучала обиходная русская речь. Мы приняли эту реформу довольно беззаботно, пожалуй, даже с удовольствием — это вводило к нам нечто новое, — но причины, вызвавшие ее, оставались нам чужды. Доносились уже слухи о каких-то событиях в Варшаве, потом в Вильне (где уже в 1861 году происходили довольно серьезные демонстрации). Но все это было где-то далеко, в неведомом, почти отвлеченном мире, и нас не интересовало. В нашем мирке царило еще безмятежное спокойствие...

Господствующим языком в пансионе Рыхлинского был польский, но ни малейшей национальной розни между нами, собственно, в пансионе не было. Рыхлинскому удалось долго поддерживать тон взаимной терпимости. Было у нас несколько чистых великороссов, в том числе два брата Сухановы, из которых старший шел всегда первым... Однажды с ним или с другим русским воспитанником

вышел следующий эпизод: какой-то юный поляк, узнав, что русский товарищ вчера причащался, стал смеяться над православным обрядом. Для этого он сделал из бумаги подобие чаши и кривлялся над нею, а под конец плюнул в нее. Русский некоторое время сдерживался, но затем размахнулся и ударил обидчика по щеке так звонко, что звук разнесся по всей зале и его услышал Рыхлинский. Узнав, в чем дело, он призвал обоих и при всех учениках спросил у поляка:

— Что бы ты сделал, если бы он стал так же смеяться над «гостией» (католическое причастие)?

Поляк замялся, но затем сказал, потупясь:

— Я бы его ударил.

— Ну, вот и он тебя ударил. Поди вдобавок стань на колени.

Мальчик встал, весь красный, на колени в углу и стоял очень долго. Мы догадывались, чего ждет от нас старик Рыхлинский. Посоветовавшись, мы выбрали депутацию, во главе которой стал Суханов, и пошли просить прощения наказанному. Рыхлинский принял депутацию с серьезным видом и вышел на сво-

их костылях в зал. Усевшись на своем обычном месте, он приказал наказанному встать и предложил обоим противникам протянуть друг другу руки.

— Ну, теперь кончено, — сказал он, — и забыто. А если, — прибавил он, вдруг свирепо вытаращив глаза и протягивая вперед свои жилистые руки с короткими растопыренными пальцами, — если я еще услышу, что кто-нибудь позволит себе смеяться над чужой верой... к-к-к-сти пер-реломаю... все кости...

И мы опять жили дружно, не придавая никакого значения разнице национальностей...

Между тем далекие события разгорались, и к нам, точно порывами ветра, стало заносить их знойное дыхание. Чаше и чаще приходилось слышать о происшествиях в Варшаве и Вильне, о каких-то «жертвах», но старшие все еще старались «не говорить об этом при детях»...

Однажды отец с матерью долго ночью сидели у Рыхлинских. Наконец сквозь дремоту я услышал грохот нашей брички во дворе, а через некоторое время совсем проснулся от необычайного ощущения: отец и мать, оба

одетые, стояли в спальне и о чем-то горячо спорили, забыв, очевидно, и о позднем часе, и о спящих детях. Разговор шел приблизительно такой:

— Все-таки... — говорила мать, — ты должен согласиться: ведь было прежде, даже еще при Николае... Еще живы люди, которые помнят...

— Ну так что же, — возражал отец, — было, да нет. При Александре было. Николай отнял... Не нужно было бунтовать...

— Но... Согласись сам... разве это справедливо?

— Толкуй больной с подлекарем! Что справедливо, что несправедливо... Тебя не спросили. Вы присягли, и баста!

— Нет, постой...

— Нет, ты постой.

— Да дай мне сказать...

Я никогда не слышал между ними таких горячих споров, да еще в такой час, и, удивленный, я сел в своей постели. Заметив неожиданного слушателя, они оба обратились ко мне.

— Ну вот. Пусть ребенок скажет, — говори-

ла мать.

— Хорошо, пусть скажет. Вот послушай, мальй: вот ты, положим, обещал маме всегда ее слушаться... Должен исполнить обещание?..

— Должен, — ответил я довольно уверенно.

— Постой! — перебила мать, — теперь послушай меня. Вот около тебя новое платье (около меня действительно лежало новое платье, которое я с вечера бережно разложил на стуле). Если придет кто-нибудь чужой со двора и захватит... Ты захочешь отнять?..

— Отниму, — ответил я еще увереннее.

— Толкуй больной с подлекарем! — сказал отец с раздражением, чувствуя, что судья склоняется к противной стороне, — так он тебе и отдал! Если он сильнее...

— Ну вот, вот... — горячо подхватила мать. — Сильнее, так и отнимать. Вот ты слышишь! Слышишь?

— А, пустяки! — рассердился отец, видя, что его шансы становятся еще слабее. — Ну а если ты сам отдал?.. И обещал никогда не требовать назад? А потом кричишь: отдавай?..

— Отдал, отдал! — перебила мать с горечью. — Ну скажи: разве ты сам отдашь?.. А вот если приставят нож к горлу...

В это время заплакала во сне сестренка. Они спохватились и прекратили спор, недовольные друг другом. Отец, опираясь на палку, красный и возбужденный, пошел на свою половину, а мать взяла сестру на колени и стала успокаивать. По лицу ее текли слезы...

Я долго не спал, удивленный этой небывалой сценой... Я сознавал, что ссора не имела личного характера. Они спорили, и мать плакала не от личной обиды, а о том, что было прежде и чего теперь нет: о своей отчизне, где были короли в коронах, гетманы, красивая одежда, какая-то непонятная, но обаятельная «воля», о которой говорили Зборовские, школы, в которых учился Фома из Сандомира... Теперь ничего этого нет. Отняли родичи отца... Они сильнее. Мать плачет, потому что это несправедливо... их обидели...

Наутро первая моя мысль была о чем-то важном. О новой одежде?.. Она лежала на своем месте, как вчера. Но многое другое было не на своем месте. В душе, как заноза, лежали за-

родыши новых вопросов и настроений.

«Щось буде» принимало новые формы... Атмосфера продолжала накаляться. Знакомые дамы и барышни появлялись теперь в черных траурных одеждах. Полиция стала за это преследовать: демонстранток в черных платьях, и особенно с эмблемами (сердце, якорь и крест), хватали в участки, составляли протоколы. С другой стороны — светлые платья обливались кислотой, их в костелах резали ножиками... Ксендзы говорили страстные проповеди.

В сентябре 1861 года город был поражен неожиданным событием. Утром на главной городской площади, у костела бернардинов, в пространстве, огражденном небольшим палисадником, публика, собравшаяся на базар, с удивлением увидела огромный черный крест с траурно-белой каймой по углам, с гирляндой живых цветов и надписью: «В память поляков, замученных в Варшаве». Крест был высотой около пяти аршин и стоял у самой полицейской будки.

Известие с быстротою молнии облетело весь город. К месту появления креста стал сте-

каться народ. Начальство не нашло ничего лучше, как вырыть крест и отвезти его в полицию.

По городу грянула весть, что крест посадили в кутузку. У полиции весь день собирались толпы народа. В костеле женщины составили совет, не допустили туда полицеймейстера, и после полудня женская толпа, все в глубоком трауре, двинулась к губернатору. Небольшой одноэтажный губернаторский дом на Киевской улице оказался в осаде. Отец, проезжая мимо, видел эту толпу и седого старого полицеймейстера, стоявшего на ступенях крыльца и уговаривавшего дам разойтись.

Были вызваны войска. К вечеру толпа все еще не расходилась, и в сумерках ее разогнали... В городе это произвело впечатление взрыва. Рассказывали, как грубо преследуемые женщины кидались во дворы и подъезды, спасались в магазинах. А «арест креста при полиции» вызывал смущение даже в православном населении, привыкшем к общим с католиками святыням...

С этих пор патриотическое возбуждение и

демонстрации разлились широким потоком. В городе с барабанным боем было объявлено военное положение. В один день наш переулок был занят отрядом солдат. Ходили из дома в дом и отбирали оружие. Не обошли и нашу квартиру: у отца над кроватью, на ковре, висел старый турецкий пистолет и кривая сабля. Их тоже отобрали... Это был первый обыск, при котором я присутствовал. Процедура показалась мне тяжелой и страшной.

Все это усиливало общее возбуждение и, конечно, отражалось даже на детских душах... А так как я тогда не был ни русским, ни поляком, или, вернее, был и тем и другим, то отражения этих волнений неслись над моей душой, как тени бесформенных облаков, гонимых бурным ветром.

Однажды мать взяла меня с собою в костел. Мы бывали в церкви с отцом и иногда в костеле с матерью. На этот раз я стоял с нею в боковом приделе, около «сакристии». Было очень тихо, все будто чего-то ждали... Священник, молодой, бледный, с горящими глазами, громко и возбужденно произносил латинские возгласы... Потом жуткая глубокая

тишина охватила готические своды костела бернардинов, и среди молчания раздались звуки патриотического гимна: «Boże, coś Polskę przez tak długie wieki...»[9]

Тихо, разрозненно, в разных местах набитого народом храма зародилось сначала несколько отдельных голосов, сливавшихся постепенно, как ручьи... Ближе, крепче, громче, стройнее, и, наконец, под сводами костела загремел и покатился волнами согласный тысячеголосый хор, а где-то в вышине над ним гудел глубокий рев органа... Мать стояла на коленях и плакала, закрыв лицо платком.

На меня этот вопль, соединивший всю толпу в одном порыве, широком, как море, произвел прямо потрясающее впечатление. Мне казалось, что меня подхватило что-то и несет в вышине, баюкая и навевая странные видения...

— Казаки, — сказал кто-то поблизости. Слово ясным шепотом понеслось дальше, толкнулось во что-то и утонуло в море звуков. Но оно дало определенное содержание неясным грезам, овладевшим моим разгоревшимся воображением.

...Казаки! Они врываются в костел. У алтаря на возвышении стоит священник, у его ног женщины, и среди них моя мать. Казаки выстраиваются в ряд и целятся. Но в это время маленький мальчик вскакивает на ступеньки и, расстегивая на груди свой казакин, говорит громким голосом:

— Стреляйте в меня... Я — православный, но я не хочу, чтобы оскорбляли веру моей матери...

Казаки стреляют... Дым, огонь, грохот... Я падаю... Я убит, но... как-то так счастливо, что потом все жмут мне руки, поляки и польки говорят: «Это сын судьи, и его мать полька. Благородный молодой человек...»

— Этот мальчик прав... — говорят также и русские господа. — Нельзя стрелять в костелах и оскорблять чужую веру...

.....

Очевидно, раннее чтение, польский спектакль, события, пронесившиеся одно за другим в раскаленной атмосфере патриотического возбуждения, — все это сделало из меня маленького романтика. И очень вероятно, что если бы все разыгралось так, как в театре, то

есть казаки выстроились бы предварительно в ряд против священника, величаво стоящего с чашей в руках и с группой женщин у ног, и стали бы дожидаться, что я сделаю, — то я мог бы выполнить свою программу. Но жизнь груба и нестройна, и еще более вероятно, что в прозаически беспорядочной свалке я бы трусил, как самый трусливый из городских мальчишек...

Узнав о «демонстрации», отец был очень недоволен. Через несколько дней он сказал матери:

— Полицеймейстер мне говорил, что тебя тоже уже записали...

— Что же мне делать? — сказала мать. — Я не пела сама и не знала, что будет это пение...

— А если бы знала? — спросил отец.

— То... не взяла бы ребенка, — ответила она. — Не могу же я не ходить в костел.

Впоследствии она все время и держалась таким образом: она не примкнула к суетне экзальтированных патриотов и «девоток»[11], но в костел ходила, как прежде, не считаясь с тем, попадет ли она на замечание или нет. Отец нервничал и тревожился и за нее, и за

свое положение, но как истинно религиозный человек признавал право чужой веры...

Через город проходили войска. Однажды разнесся слух, что к нам идут башкиры... Дикие, ни слова не понимают ни по-польски, ни по-русски, только лопочут по-своему и бьют... Это вызывало почти суеверный ужас. Через несколько дней действительно по улицам прошел отряд странных всадников на маленьких лошадках, в остроконечных шапках с бараньей мохнатой оторочкой. Скуластые лица, маленькие глазки, какая-то особенная дикая посадка. Увидев кучку любопытных, в том числе женщин, один внезапно спятил лошадь и взмахнул нагайкой. Послышался истерический визг, но башкир проехал, скаля на смуглом лице белые зубы, а мимо ехали другие, взбивая пыль конскими копытами, и тоже смеялись. Мне было странно, что они смеются, как и обыкновенные люди, и я с ужасом представлял себе атаку этих смуглых дикарей.

Они прошли и исчезли за западной заставой, по направлению к Польше, где, как говорили, «уже лилась кровь», а в город вступали

другие отряды...

В нашей конюшне тоже стояли три или четыре казацкие лошади. Сами казаки устраивались тут же, около лошадей, а на кухне и в сарае расположились пехотинцы... Этих постояльцев встречали не очень приветливо; домохозяйева и квартиранты долго спорили с «квартирьерами», не желали отводить помещения, ходили куда-то жаловаться. Но мы, дети, вскоре с ними освоились. Казаки иной раз сажали нас на лошадей и брали с собой на речку к водопою. Солдаты снисходительно позволяли чистить суконкой и мелом пуговицы своих мундиров, а жидкие щи, которые они приносили в котелках из ротной кухни, казались нам необыкновенно вкусными.

Особенно ярко вспоминается мне одна солдатская фигура. Это был уже старик, с морщинистым лицом, щетинистыми седыми усами и сережкой в левом ухе. Вид у него был неприветливый и суровый. Устроившись в сарае, где он развесил на гвоздях «амуницию», а ружье заботливо уставил в угол, он оперся плечом в косяк двери и долго, молча, с серьезным вниманием смотрел, как мы с

мальчишками соседей проделывали на дворе «учение» с деревянными ружьями. Через некоторое время он не выдержал роли стороннего зрителя, подошел к нашему фронту, взял «ружье» и стал показывать настоящие приемы, поражая нас отчетливостью и упругостью своих движений. Казалось, при каждом таком движении внутри солдата лязгали и стучали какие-то пружины.

— Вот научу вас, ляшков, а вы пойдете бунтовать да меня же и убьете, — сказал он в заключение полушутя, полусердито.

Через некоторое время у нас установились с ним отличные отношения. Много часов мы провели вместе в летние сумерки, на солдатской койке Афанасия, пропахшей потом, кожаной амуницией и кислыми солдатскими щами, — пока его рота не ушла куда-то в уезд преследовать повстанческие отряды. Для нас расставание с ним было большой неприятностью, да и старому солдату, видимо, было не по себе. Долгая «николаевская» служба уже взяла всю его жизнь, порвала все семейные связи, и старое солдатское сердце пробавлялось хоть временными привязанностями на

стоянках...

Из казаков особенно выделяется в памяти кудрявый брюнет, урядник. Лицо его было изрыто оспой, но это не мешало ему слыть настоящим красавцем. Для нас было истинным наслаждением смотреть, как он почти волшебством, без приготовлений, взлетал на лошадь. По временам он напивался и тогда, сверкая глазами, кричал на весь двор:

— Эх вы, ляшки! Куда вам бунтоваться! Вот поглядите: когда-нибудь Дон тряхнет матушкой Москвой... Так уж тря-я-хнет... Не по-вашему.

Он сжимал кулак и тряс им над головой, как будто в нем зажата уже матушка Москва. Наш приятель, старый солдат Афанасий, укоризненно мотал головой и говорил:

— Отчаянный народ казаки. Вор народ: где плохо лежит, у него живот заболит. И служба у них другая... Легкая служба... За что нашего брата сквозь строй гоняли — им ничего. Отхлещет урядник нагайкой, и все тут. И то не за воровство. А значит: не попадайся!

Казаки на эти сурьезные речи Афанасия только смеялись.

Однажды черноволосый красавец что-то набуянил, и его пришли арестовать. Он, совершенно пьяный, вырвался из рук товарищей, вскочил на свою нерасседланную лошадь и умчался со двора. Его качало в седле так, что казалось, он вот-вот свалится на мостовую и расшибется вдребезги. Но, выбежав за ворота, мы увидели его уже далеко в перспективе улицы. Он летел, как птица, к Киевской заставе, а сзади, отставая, скакала погоня. Наутро, как ни в чем не бывало, он заботливо чистил своего скакуна, пересмеиваясь с недогнавшими его товарищами.

Банды появились уже и в нашем крае. Над жизнью города нависала зловещая тень. То и дело было слышно, что тот или другой из знакомых молодых людей исчезал. Ушел «до лясу». Остававшихся паненки иронически спрашивали: «Вы еще здесь?» Ушло до лясу несколько юношей и из пансиона Рыхлинского...

Однажды за обедом мать сказала отцу:
— Стасик приехал. Зовут сегодня вечером.
Отец посмотрел на нее с удивлением и потом спросил:

— Все трое?

— Да, все трое, — ответила мать с тихой печалью.

— С ума вы все посходили! — сказал отец, сердито откладывая ложку. — Все посходили с ума — и старые туда же!..

Оказалось, что это три сына Рыхлинских, студенты Киевского университета, приезжали прощаться и просить благословения перед отправлением в банду. Один был на последнем курсе медицинского факультета, другой, кажется, на третьем. Самый младший, Стасик, лет восемнадцати, только в прошлом году окончил гимназию. Это был общий любимец, румяный, веселый мальчик с блестящими черными глазами.

После вечера, проведенного среди родных и близких знакомых, все три стали на колени, старики благословили их, и ночью они уехали...

— Я бы этого Стасика высек и запер на ключ, — сердито говорил отец на другой день.

— Даже дети идут биться за отчизну, — сказала мать задумчиво, и на глазах у нее были слезы. — Что-то будет?

— Что будет? Переловят всех, как цыплят, — ответил отец с горечью. — Все вы походили с ума...

Первое время настроение польского общества было приподнятое и бодрое. Говорили о победах, о каком-то Ружицком, который становится во главе волынских отрядов, о том, что Наполеон пришлет помощь. В пансионе ученики-поляки делились этими новостями, которые приносила Марыня, единственная дочь Рыхлинских. Ее большие, как у Стасика, глаза сверкали радостным одушевлением. Я тоже верил во все эти успехи поляков, но чувство, которое они во мне вызывали, было очень сложно.

Однажды ночью мне приснился яркий и тяжелый сон. Дело как будто началось с игры «в поляков и русских», которая в то время заменила для нас все другие. Разделялись обыкновенно не по национальностям, а по жребью, так что русские попадали на польскую сторону и поляки на русскую. Не помню теперь, на чьей стороне я был на этот раз во сне, помню только, что игра вскоре перешла в действительную войну. Было широкое поле,

по которому вилась речка, поросшая камышами. Где-то горело, где-то проносились в пыли и дыму всадники в остроконечных шапках, где-то трещали выстрелы, и ветер уносил белые дымки, как на солдатском стрельбище. Я от кого-то убегал и скрывался под обрывом речного берега...

И вдруг оказалось, что скрываюсь, собственно, не я, а взвод русских солдат. Испуганные и жалкие, они притаились под обрывом за камышами по колени в воде. Впереди всех, ближе ко мне, стоял старик Афанасий в своей круглой шапочке без козырька, с серьгой в левом ухе. Он смотрел на меня серьезным, немного суровым и укоризненным взглядом, и сердце у меня сжалось тоской и страхом. Там, в широком поле, носились в дыму торжествующие поляки... Вдруг над обрывом появился верхом Стасик Рыхлинский... Он сверкал веселыми черными глазами и улыбался своей детски задорной улыбкой. Я замер от ожидания, и мне казалось, что на свете нет ничего страшнее этого милого юноши, который сейчас откроет притаившегося в камышах Афанасия и солдат... Между тем эти

люди были мне теперь близки и дороги, и мне было их жаль, как родных. «Это оттого, — подумал я, проснувшись весь в поту и с сильно стучавшим сердцем, — что они русские и я русский». Но я ошибался. Это было только оттого, что они люди... И вскоре мои сожаления переместились.

Недели через две или три прошли слухи о стычках под Киевом. Это были жалкие попытки, быстро рассеянные казаками и крестьянами. В семье Рыхлинских водворилась тяжелая тревога. Однажды мы сидели за уроком в комнате Марыни, которая занималась с малышами французским языком, когда ее позвали в кабинет отца. Вернулась она оттуда вся красная, с заплаканными глазами, и попыталась продолжать урок. Но вдруг вскочила, кинулась на свою постель и разрыдалась... Я бросился за водой, но она отстранила рукой стакан и говорила сквозь рыдания:

— Уйдите, уйдите все... Ничего не надо.

Вскоре в пансионе стало известно, что все три брата участвовали в стычке и взяты в плен. Старший ранен казацкой пикой в шею...

Старик Рыхлинский по-прежнему выходил к завтраку и обеду, по-прежнему спрашивал: «Qui a la regie?»[12], по-прежнему чинил суд и расправу. Его жена так же степенно вела обширное хозяйство, Марыня занималась с нами, не давая больше воли своим чувствам, и вся семья гордо несла свое горе, ожидая новых ударов судьбы.

Восстание нигде не удавалось, Наполеон не приходил, мужики даже в Польше неохотно приставали к «рухавке»[13], а в других местах жестоко расправлялись с восставшими панам.

Однажды мне пришлось увидеть поезд с захваченными пленными. На длинных возах с «драбинами», в каких возят снопы, сидели кучей повстанцы, некоторые с повязанными головами и руками на перевязях.

Лица у раненых были бледны. У одного на повязке виднелись пятна крови. Впереди сидели мужики, погонявшие лошадей, а по бокам верхами скакали такие же мужики-конвоиры. Сочувствие городского большинства было на стороне пленников. Молодые горничные плевали в гарцевавших на своих кля-

чах победителей, а те насмешливо потряхивали чупринами и заламывали бараньи шапки.

Тюрьма, помещавшаяся на тесной узенькой Чудновской улице, скоро была переполнена этими пленниками, и для содержания просто «подозрительных» и «неблагонадежных» нанимали помещения у частных лиц.

Начиналось «торжество победителей» и расплата.

Однажды к нашей квартире подъехала извозчичья парная коляска, из которой вышел молодой офицер и спросил отца. Он был в новеньком свежем синем мундире, на котором эффектно выделялись белые аксельбанты. Шпоры его звенели на каждом шагу приятным тихим звоном.

— Какой красивый, — сказала моя сестренка. И нам с братом он тоже очень понравился. Но мать, увидев его, отчего-то вдруг испугалась и торопливо пошла в кабинет... Когда отец вышел в гостиную, красивый офицер стоял у картины, на которой довольно грубо масляными красками была изображена фигура бородатого поляка, в красном кунтуше, с саблей на боку и гетманской булавой в руке.

Офицер поклонился, звякнул шпорами и, указывая на картину, спросил:

— Мазепа?

— Нет, это Жолкевский, — ответил отец.

— А-а, — протянул офицер с таким видом, как будто он одинаково не одобряет и Мазепу, и Жолкевского, а затем удалился с отцом в кабинет. Через четверть часа оба вышли оттуда и уселись в коляску. Мать и тетки осторожно, но с тревогой следили из окон за уезжавшими. Кажется, они боялись, что отца арестовали... А нам казалось странным, что такая красивая, чистенькая и приятная фигура может возбуждать тревогу...

Вечером отец рассказывал, что когда они проезжали мимо тюрьмы, повстанцы, выглядывавшие в окна, тоже подумали, что «судью арестовали», и стали громко ругать жандарма...

Отец по должности принимал участие в комиссиях, в которых этот красивый офицер, с приятным, ласковым звоном шпор, был одним из самых свирепых членов. Другие чиновники, с местными связями, были мягче.

Однажды, вернувшись из заседания, отец

рассказал матери, что один из «подозрительных» пришел еще до начала заседания и, бросив на стол только что полученное письмо, сказал с отчаянием:

— Я не защищаюсь более... Делайте что хотите... Мой сын ушел в отряд и — убит...

Жандарма и прокурора еще не было... Отец, взглянув на остальных членов комиссии, отдал старику письмо и сказал официальным тоном:

— Заседание еще не открыто, а частные разговоры здесь неуместны.

Через несколько минут вошел жандарм, но старик уже овладел собою и спрятал письмо. Его личное дело окончилось благополучно, и семья была спасена от конфискации имущества и разорения.

Казней в нашем городе, если не ошибаюсь, было три. Казнили так называемых жандармов-вешателей и примкнувших к восстанию офицеров русской службы.

Я помню только одну. Казнили бывшего офицера, кажется Стройновского. Он был молод, красив, недавно женился, и ему предстояла блестящая карьера. Он был взят на месте

битвы, и — «закон был ясен»... Не знаю, стояла ли подпись отца в числе других под приговором или нет, но никто не питал к нему по этому поводу никакой горечи. Наоборот, уже приговоренный, Стройновский попросил, чтобы отец посетил его перед казнью. На этом свидании он передал отцу какие-то поручения и последний привет молодой жене. При этом он с большой горечью отзывался о своем бывшем отряде: когда он хотел отступить, они шумно требовали битвы, но когда перед завалами на лесной дороге появились мужики с косами и казаки — его отряд «накивал конскими хвостами», а его взяли... Умирал он с горечью и сожалением, но мужественно и гордо.

Романтизм, которым питалось настроение восставшей тогда панской молодежи, — плохая военная школа. Они вдохновлялись умершим прошлым, тенями жизни, а не самой жизнью... Грубое, прозаическое наступление толпы мужиков и казаков ничем не напоминало красивых батальных картин... И бедняга Стройновский поплатился за свое доверие к историческому романтизму...

Был яркий светлый день в июне или в июле. С утра было известно, что за Киевской заставой, на пустыре, около боен, уже поставлен черный столб и вырыта яма, поэтому все в этот день казалось особенным, печально-торжественным, томительно-важным. В середине дня в светлом воздухе тяжеловато, отчетливо, ясно прокатился глухой короткий удар, точно в уши толкнулся плотный круглый комок... И с ним как будто раскрылось что-то среди этого ясного дня, как раскрывается облако от зарницы... Облака не было, не было и зарницы; светило солнце. А между тем что-то все-таки раскрылось, и на одно мгновение из-за ясного дня выглянуло что-то таинственное, скрытое, невидимое в обычное время.

Это было мгновение, когда заведомо для всех нас не стало человеческой жизни... Рассказывали впоследствии, будто Стройновский просил не завязывать ему глаз и не связывать рук. И будто ему позволили. И будто он сам скомандовал солдатам стрелять... А на другом конце города у знакомых сидела его мать. И когда комок докатился до нее, она

упала, точно скошенная...

Повторяю: я и теперь не знаю, стояла ли подпись отца на приговоре военно-судной комиссии, или это был полевой суд из одних военных. Никто не говорил об этом, и никто не считал этого важным. «Закон был ясен»...

XIII. Кто я?

Восстание умирало. Говорили уже не о битвах, а о бойнях и об охоте на людей. Рассказывали, будто мужики зарывали пойманных панов живыми в землю и будто одну такую могилу с живыми покойниками казаки еще вовремя откопали где-то недалеко от Житомира...

В польском обществе место возбуждения заняло разочарование, и, кажется, демократизм сменил романтические мечты о блеске и пышности «исторической Польши». Вместо хвастливого «Jeszcze Polska nie zginela» или «Grzmi pod Stoczkiem harmaty» («Еще Польша не погибла» и «Под Сточком гремят пушки») — молодежь пела мрачную и горькую демократическую песню:

О, честь вам, паны, и князя, и прелаты,

*За край, братней кровью зали-
тый...*

В это время к отцу часто приходил писатель Александр Гроза, пользовавшийся некоторой известностью в польской литературе того времени. У него вместе с неким Пациорковским была типография, которая была конфискована. Время было простое, печатные материалы были свалены в квартире отца, и я жадно читал их. Тут была, помню, «Хроника Яна Хризостома Паска» и некоторые произведения Грозы. Несколько вечеров он читал у нас свою новую драму в стихах, озаглавленную, если не ошибаюсь, «Попель». Речь шла о борьбе простого народа с рыцарями и князем Попелем. Этого свирепого князя согласно легенде, съели мыши, а простой народ на его место поставил королем крестьянина Пяста. Не могу ничего сказать о достоинстве этой драмы, но в моей памяти осталось несколько сцен и общий тон — противопоставление простых добродетелей крестьянства заносчивости рыцарей-аристократов. Отец слушал чтение очень внимательно, и, когда Гроза окончил, он сказал печально:

— Как я вам завидую... Поэт живет особой жизнью... Он переносится в другие века, далекие от наших тяжелых дней...

Это было первое общее суждение о поэзии, которое я слышал, а Гроза (маленький, круглый человек, с крупными чертами ординарного лица) был первым виденным мною «живым поэтом»... Теперь о нем совершенно забыли, но его произведения были для того времени настоящей литературой, и я с захватывающим интересом следил за чтением. Читал он с большим одушевлением, и порой мне казалось, что этот кругленький человек преобразуется, становится другим — большим, красивым и интересным...

Случилось так, что русская литература впервые предстала передо мной в виде одного только «Вестника Юго-Западной и Западной России», издававшегося для целей обрусения неким Говорским. Выписка его была обязательна для чиновников, поэтому целые горы «Вестника» лежали у отца в кабинете, но кажется, что мой старший брат и я были его единственными и то не особенно усердными читателями. По содержанию это была

грубо тенденциозная стряпня. Все русские изображались героями добродетели, а из поляков хорошими представлялись только те, кто изменял своим соотечественникам... Все это оставляло в душе осадок безвкусицы и сознательной лжи.

Понятно, что эта литература несколько не захватывала и не убеждала. В жизни на одной стороне стояла возвышенно-печальная драма в семье Рыхлинских и казнь Стройновского, на другой — красивая фигура безжалостного, затянутого в мундир жандарма... Я думаю поэтому, что если бы кто-нибудь сумел вскрыть мою душу, то и в этот период моей жизни он бы наверное нашел, что наибольшим удельным весом обладали в ней те чувства, мысли, впечатления, какие она получала от языка, литературы и вообще культурных влияний родины моей матери.

Итак, кто же я на самом деле?.. Этот головоломный, пожалуй даже неразрешимый, вопрос стал центром маленькой драмы в моей неокрепшей душе...

В то время в пансионе учился вместе со мною поляк Кучальский. Это был высокий ху-

дощавый мальчик, несколько сутулый, с узкой грудью и лицом, попорченным оспой (вообще, как я теперь вспоминаю, в то время было гораздо больше людей со следами этой болезни, чем теперь). Несмотря на сутулость и оспенное лицо, в нем было какое-то особое прирожденное изящество, а маленькие, немного печальные, но очень живые черные глаза глядели из-под рябоватых век необыкновенно привлекательным и добрым взглядом. Мне нравилось в нем все: и чистенькое, хорошо лежавшее на его тонкой фигуре платье, и походка, как будто слегка неуклюжая и, несмотря на это, изящная, и тихая улыбка, и какая-то особенная сдержанность среди шумной ватаги пансионеров, и то, как он, ответив урок у доски, обтирал белым платком свои тонкие руки. Я сразу заметил его среди остальных учеников, и понемногу мы сблизились, как сблизжаются школьники: то есть оказывали друг другу мелкие услуги, делились перьями и карандашами, в свободные часы уединялись от товарищей, ходили вдвоем и говорили о многом, о чем не хотелось говорить с другими. Иной раз мне просто при-

ятно было смотреть на него, ловить его тихую, задумчивую улыбку... То, что он был поляк, а я русский, не вносило ни малейшей тени в завязывавшуюся между нами детскую дружбу.

Когда началось восстание, наше сближение продолжалось. Он глубоко верил, что поляки должны победить и что старая Польша будет восстановлена в прежнем блеске. Раз кто-то из русских учеников сказал при нем, что Россия — самое большое государство в Европе. Я тогда еще не знал этой особенности своего отечества, и мы с Кучальским тотчас же отправились к карте, чтобы проверить это сообщение. Я и теперь помню непреклонную уверенность, с которой Кучальский сказал после обозрения карты:

— Это русская карта. И это неправда.

Этому своему приятелю я, между прочим, рассказал о своем сне, в котором я так боялся за судьбу русских солдат и Афанасия.

— Ты не веришь в сны? — спросил он.

— Нет, — ответил я. — Отец говорит, что это пустяки и что сны не сбываются. И я думаю то же. Сны я вижу каждую ночь...

— А я верю, — ответил он. — И твой сон значит, что мы непременно победим.

Вскоре выяснилось, что мой сон этого не значил, и я стал замечать, что Кучальский начинает отстраняться от меня. Меня это очень огорчало, тем более что я не чувствовал за собой никакой вины перед ним... Напротив, теперь со своей задумчивой печалью он привлекал меня еще более. Однажды во время перемены, когда он ходил один в стороне от товарищей, я подошел к нему и сказал:

— Слушай, Кучальский... у тебя, верно, случилось какое-нибудь горе?

Он посмотрел на меня печальными глазами и, не останавливаясь, сказал:

— Да, большое горе...

— Почему ты мне не скажешь?.. И почему ты меня избегаешь?..

— Так... — ответил он, — тебе до этого не может быть дела... Ты — москаль.

Я обиделся и отошел с некоторой раной в душе. После этого каждый вечер я ложился в постель и каждое утро просыпался с щемящим сознанием непонятной для меня отчужденности Кучальского. Мое детское чувство

было оскорблено и доставляло мне страдание.

Среди учеников пансиона был один, который питал ко мне такое же чувство, какое я питал к Кучальскому. Фамилию его я забыл и назову его Стоцким. Это был низенький мальчик, очень шустрый, шаловливый и добрый, который часто бывал третьим во время наших прогулок с Кучальским. Теперь он подметил наше отчуждение, и я рассказал ему об ответе Кучальского на мои попытки узнать об его горе. Мальчик после этого несколько раз ходил с Кучальским, обуздывая свою живость и стараясь попасть в сдержанный тон моего бывшего друга. Наконец он выведал, что ему было нужно, и сказал мне во время одной из прогулок:

— Он говорит, что ты — москаль... Что ты во сне плакал о том, что поляки могли победить русских, и что ты... будто бы... теперь радуешься...

И он прибавил, что, по-видимому, кто-то из близких Кучальского убит, ранен или взят в плен...

Это сообщение меня поразило. Итак — я лишился друга только потому, что он поляк, а

я — русский и что мне было жаль Афанасия и русских солдат, когда я думал, что их могут убить. Подозрение, будто я радуюсь тому, что теперь гибнут поляки, что Феликс Рыхлинский ранен, что Стасик сидит в тюрьме и пойдет в Сибирь, меня глубоко оскорбило... Я ожесточился и чуть не заплакал...

— Я не радуюсь, — сказал я Стоцкому, — но... когда так... Ну что ж. Я — русский, а он пускай думает что хочет...

И я не делал новых попыток сближения с Кучальским. Как ни было мне горько видеть, что Кучальский ходит один или в кучке новых приятелей, я крепился, хотя не мог изгнать из души ноющее и щемящее ощущение утраты чего-то дорогого, близкого, нужного моему детскому сердцу.

Но вдруг в положении этого вопроса произошла новая перемена: пришла третья национальность и, в свою очередь, предъявила на меня свое право.

Случилось это следующим образом. Один из наших молодых учителей, поляк пан Высоцкий, поступил в университет или уехал за границу. На его место был приглашен новый,

по фамилии, если память мне не изменяет, Буткевич. Это был молодой человек небольшого роста, с очень живыми движениями и ласково-веселыми черными глазами. Вся его фигура отличалась многими, непривычными для нас особенностями.

Прежде всего обращали внимание длинные тонкие усы с подусниками, опущенные вниз, по-казацки. Волосы были острижены в кружок. На нем был синий казакин, расстегнутый на груди, где виднелась вышитая малороссийским узором рубашка, схваченная красной ленточкой. Широкие синие шаровары были под казакином опоясаны цветным поясом и вдеты в голенища лакированных мягких сапог. Войдя в классную комнату, он кинул на ближайшую кровать сивую смушковую шапку. На одной из пуговиц его казакина болтался кисет из пузыря, стянутый тонким цветным шнурком...

В самом начале урока он взял в руки список и стал громко читать фамилии:

— Поляк? — спрашивал он при этом. — Русский? Поляк? Поляк?

Наконец он прочел и мою фамилию.

— Русский, — ответил я.

Он вскинул на меня свои живые глазки и сказал:

— Бреешь.

Я очень сконфузился и не знал, что ответить, а Буткевич после урока подошел ко мне, запустил руки в мои волосы, шутя откинул назад мою голову и сказал опять:

— Ты не москаль, а козацький внук и правнук, вольного козацького роду... Понимаешь?

— Понимаю... — ответил я, хотя, признаться, в то время понимал мало и был озадачен. Впрочем, слова «вольного козацького роду» имели какое-то смутно-манящее значение.

— Вот погоди, я принесу тебе книжечку: из нее ты поймешь еще больше, — сказал он в заключение.

На следующий же урок Буткевич принес мне маленькую брошюрку киевского издания. На обложке было заглавие, если не ошибаюсь: «Про Чуприну та Чортовуса», а виньетка изображала мертвого казака, с «оселедцем» на макушке и огромнейшими усами, лежавшего, раскинув могучие руки, на боль-

шом поваленном пне...

Рассказ велся от лица дворского казака, который участвовал в преследовании гайдамацкой ватаги, состоявшей под начальством запорожцев-ватажков, Чупрыны и Чертоуса. Гайдамаки сделали набег, резали панов, жидов и ксендзов, жгли панские дворы и замки. Польский отряд с помощью реестровых казаков оттеснил их на какой-то остров, окруженный рекой и болотами. Гайдамаки сделали засеки и долго отстреливались, пока ночью реестровый казак не указал полякам какого-то перехода через болото... Наутро польское войско кинулось на засеки, гайдамаки отчаянно защищались, но наконец погибли все до одного; последними пали от рук своих же братьев ватажки «Чуприна та Чортовус»; один из них был изображен на виньетке. Кончался этот рассказ соответствующей моралью: реестровый казак внушал своим товарищам, как нехорошо было с их стороны сражаться против своих братьев-гайдамаков, которые боролись за свободу с утеснителями-поляками...

Брошюрка эта не произвела на меня того

впечатления, какого ожидал Буткевич. Рассказ велся от имени реестрового казака, но я не был реестровым казаком и даже не знал, что это такое. Мораль состояла в том, что гайдамаков не следовало истреблять, а нужно было помогать им. Но и гайдамаков нигде уже не было. Не было также и ярких картин и образов, захвативших мое воображение в польском театре. Был только довольно бледный рассказ о том, что гайдамаки пришли резать панов, а паны при помощи «лейстровых» вырезали гайдамаков... Рассказчик от себя прибавлял, что гайдамаки поступали хорошо, а лейстровые плохо, но для меня и те и другие были одинаково чужды.

Одно только последствие как будто вытекало из открытия, сделанного для меня Буткевичем: если я не москаль, то, значит, моему бывшему другу Кучальскому не было причины меня сторониться. Эта мысль пришла мне в голову, но оскорбленная гордость не позволила сделать первые шаги к примирению. Это сделал за меня мой маленький приятель Стоцкий. Однажды мы проходили с ним по двору, когда навстречу нам попался Кучаль-

ский, по обыкновению один. Стоцкий со своей обычной почти обезьяньей живостью схватил его за руку и сказал:

— Слушай, Кучальский. Поди с нами. Ведь он не москаль. Буткевич говорит, что он малоросс.

Кучальский на минуту остановился, как будто колеблясь, но затем взгляд его принял опять свое обычное упрямо-печальное выражение...

— Это еще хуже, — сказал он, тихо высвобождая свою руку, — они закапывают наших живьем в землю...

Эта простая фраза разрушила все старания украинца-учителя. Когда после этого Буткевич по-украински заговаривал со мною о «Чуприне та Чортовусе», то я потуплялся, краснел, замыкался и молчал.

Может быть, этому способствовало еще одно обстоятельство. В нашей семье тон был очень простой. У отца я никогда не замечал ни одной искусственной ноты. У матери тоже. Вероятно, поэтому мы были очень чутки ко всему искусственному. Между тем вся фигура нового учителя казалась мне, пожалуй,

довольно привлекательной, даже интересной, но... какой-то ненастоящей. Он одевался так, как никто не одевался ни в городе, ни в деревне. Тонкий казакин, кисет на шнурке, люлька в кармане широких шаровар, казацкие подусники — все это казалось не настоящим, не природным и непосредственным, а «нарочным» и деланным. И говорил он не просто, как все, а точно подчеркивал: вот видите, я говорю по-украински. И мне казалось, что если, по его требованию, я стану отвечать ему тоже на украинском языке (который я знал довольно плохо), то и это выйдет не настояще, а нарочно, и потому «стыдно».

В Буткевиче это вызывало, кажется, некоторую досаду. Он приписал мое упорство «ополячению» и однажды сказал что-то о моей матери-«ляшке»... Это было самое худшее, что он мог сказать. Я очень любил свою мать, а теперь это чувство доходило у меня до обожания. На этом маленьком эпизоде мои воспоминания о Буткевиче совсем прекращаются.

Счастливая особенность детства — непосредственность впечатлений и поток яркой

жизни, уносящий все вперед, и вперед, — не позволили и мне остановиться долго на этих национальных рефлексиях... Дни бежали своей чередой, украинский прозелитизм не удался; я перестрадал маленькую драму разорванной детской дружбы, и вопрос о моей «национальности» остался пока в том же неопределенном положении...

Но и неоформленный и нерешенный, он все-таки лежал где-то в глубине сознания, а по ночам, когда пестрые впечатления дня смолкали, он облакался в образы и управлял моими снами.

Из этих снов один запомнился мне особенно ярко.

Было раннее утро. Сквозь дремоту я слышал, как мать говорила из соседней комнаты, чтобы открыли ставни. Горничная вошла в спальню, отодвинула задвижку и вышла на двор, чтобы исполнить приказание. И когда она вышла, скрипнув дверь, меня опять захватил еще не рассеявшийся утренний сон. И в нем я увидел себя Наполеоном.

У меня было его лицо, я был в его сером сюртуке, в треугольной шляпе, со шпагой. Я

приехал в Россию, чтобы сделать здесь какое-то важное дело и кого-то непременно защитить... Какое это дело и кто ждал моей защиты — это было неясно. В смутном облаке неопределенно болящих ощущений носились и фигуры Рыхлинских, и солдат Афанасий, и моя плачущая мать, и мать Стройновского... Где-то слышались отдельные выстрелы, и крики, и стоны... Я очень долго скитаюсь среди смутной тревоги и опасностей, ища и не находя того, кто мне был нужен. Наконец кто-то берет меня в плен, и меня сажают в тот самый домик на Вильской улице, где, по рассказам, сидела в заключении знаменитая девица Пустовойтова — Иоанна д'Арк «повстанья». В нем еще темно, но в щели ставней проникают яркие лучи дня, а у дверей брякает оружие. И вдруг в комнату врываются солдаты. Они выстраиваются в ряд. Я становлюсь против них и расстегиваю свой мундир. Внезапный грохот залпа, в груди ощущение удара и теплоты, и ослепительный свет разливается от места этого удара...

Я проснулся. Ставни как раз открывались, комнату заливал свет солнца, а звук залпа

объяснялся падением железного засова ставни. И я не мог поверить, что весь мой долгий сон, с поисками, неудачами, приключениями, улегся в те несколько секунд, которые были нужны горничной, чтобы открыть снаружи ставню...

Сердце у меня тревожно билось, в груди еще стояло ощущение теплоты и удара... Оно, конечно, скоро прошло, но еще и теперь я ясно помню ту смутную тревогу, с какой во сне я искал и не находил то, что мне было нужно, между тем как рядом, в спутанном клубке сновидений, кто-то плакал, стонал и бился... Теперь мне кажется, что этот клубок был связан тремя «национа-лизмами», из которых каждый заявлял право на владение моей беззащитной душой, с обязанностью кого-нибудь ненавидеть и преследовать...

XIV. Житомирская гимназия

Это было время перелома в воспитательной системе. В обществе и литературе шли рассуждения о том, «пороть ли розгами ребенка, учить ли грамоте народ». В Киевском округе попечителем был знаменитый Пирогов. Незадолго перед тем (в 1858 году) он издал ряд бле-

стоящих статей о воспитании, в которых решительно высказывался против розог. Добролюбов горячо приветствовал эти статьи, тем более что они вышли из-под пера практического деятеля в области воспитания. Добролюбов сделал из них заключение, что, значит, в Киевском округе розга отошла уже в область предания. Оказалось, однако, что надежды эти были преждевременны. В следующем, 1859 году Пироговым было созвано «совещание», в котором участвовали, кроме попечителя и его помощника, некоторые профессора, директора, инспекторы гимназий и выдающиеся учителя. Совещание высказалось за «постепенность реформы» и, сохраняя розгу, решило только регламентировать ее применение. Пирогов не только не остался при особом мнении, но еще прибавил свою мотивировку к знаменитым в свое время «правилам», в которых все виды гимназических преступлений были тщательно взвешены, разнесены по рубрикам и таксированы такими-то степенями наказаний. Таблица с этими рубриками должна была висеть на стене, и ученику, совершившему проступок,

предстояло самому найти его в соответствующей графе. Предполагалось, что это будет «способствовать развитию чувства законности». В числе провинностей, неизбежно навлекавших телесное наказание, значился, между прочим, «религиозный фанатизм».

Это был компромисс «теории с практикой», и притом очень неудачный. Правила не продержались и нескольких лет. «Дух времени» быстро изгонял розгу, но там, где педагогическая рутина еще держалась, принципиальное признание телесных наказаний было ей очень на руку. Добролюбов ответил на появление «правил» резкой статьей, полной горечи и сарказма по адресу Пирогова. Вся журналистика разделилась на два лагеря: за и против Добролюбова, причем «умеренный либерализм» того времени был за попечителя и за постепенность против журналиста с его радикальными требованиями. В этом споре на долю житомирской гимназии выпала своеобразная известность. Оказалось, что по количеству случаев порки — она далеко оставила за собой все остальные: в 1858 году из шестисот учеников было высечено двести девя-

носто. Это было в семь раз чаще, чем, например, в киевской второй гимназии, и в тридцать пять раз больше, чем в киевской первой. Простодушные старозаветные педагоги, с директором Киченком во главе, проставили в своем ответе на запрос Пирогова эту красноречивую цифру, очевидно не предвидя эффекта, который ей суждено было вызвать.

Я был тогда слишком мал и не помню, в какой мере отголоски этого журнального спора проникали в гимназическую среду. У нее была своя литература, заучиваемая на память, ходившая в рукописях и по альбомам. Ученическая муза неизменно настраивалась при этом на сатирический лад. Я помню длинную поэму в стихах, написанную, кажется, очень недурно, в которой говорилось, между прочим, что в Житомире не могут ужиться «учителя-люди» среди «учителей-зверей». По какой-то роковой неизбежности «людей» похищает нечистая сила.

*Взяли черти Трофимова,
Возьмут Добрашова... —*

говорил, между прочим, неизвестный ав-

тор, не щадивший красок для изображения педагогов, остающихся в педагогическом звенце.

Уже по тону этих произведений, проникнутых горечью и злобой, можно было бы судить, какие благодарные чувства возбуждала тогдашняя школа и с каким настроением выпускала она в жизнь своих питомцев.

Ярче запомнилось мне другое шуточное «подпольное» произведение, где выступала злоба дня современной педагогической литературы. Это было «сказание о Мине». «Бенекый человек, — говорилось в этом сказании, — именем дерзновенный Прометей, сиречь ученик Буйвид. И той похищаше огонь с небесе, сиречь книги из класса. И бог Зевес, сиречь директор Киченко, приковаше его к кавказской скале, сиречь скамье в карцере. И абие, свирепый коршун, сиречь сторож Мина, клеваше печень его, сиречь з-цу, железным клювом, сиречь розгою. И, услыша вопли его, Геракл, сиречь Буйвид-отец...»

Дальше в том же тоне описывалась баталия, действительно происшедшая между отцом наказываемого и гимназическим началь-

ством, в лице любителя порки Киченка, надзирателя Журавского и Мины. С большим злорадством изображались подвиги и победы Геракла, который освобождает Прометея с великим уроном для самого Зевса.

В пансионе Рыхлинского было много гимназистов, и потому мы все заранее знакомились с этой рукописной литературой. В одном из альбомов я встретил и сразу запомнил безымянное стихотворение, начинавшееся словами: «Выхожу задумчиво из класса». Это было знаменитое добролюбовское «*Размышление гимназиста лютеранского вероисповедания и не Киевского округа*». По вопросу, о том, «был ли Лютер гений или плут», бедняга говорил слишком вольно, и из «чувства законности» он сам желает, чтобы его высекли.

*Но не тем сечением обычным,
Как секут повсюду дураков,
А таким, какое счел приличным
Николай Иваныч Пирогов.
Я б хотел, чтоб для меня собрался
Весь педагогический совет
И о том чтоб долго препирался,
Сечь меня за Лютера, иль нет...*

*...Чтоб узнал об этом попечи-
тель,
И, лежа под свежую лозой,
Чтоб я знал, что наш руководи-
тель
В этот миг скорбит о мне ду-
шой...*

Каждый из нас, пансионеров, мечтал, конечно, о поступлении в гимназию, и потому мы заранее интересовались всем, что гимназисты приносили из классов. Мы знали о грозном Киченке, о старых учителях, о надзирателе Журавском, о Мине, жена которого угощала гимназистов в перемену отличными пирожками по полторы копейки, а сам он тех же гимназистов угощал в карцере розгами. И если тем не менее мы мечтали о гимназическом мундире, то это было нечто вроде честолюбия юного воина, отправляющегося на опасную войну с неприятелем...

Наконец в конце июня 1863 года и я в мундире с красным воротником и медными пуговицами отправился в первый раз на уроки в новое гимназическое здание.

Шел я далеко не таким победителем, как

когда-то в пансион Рыхлинского. После вступительного экзамена я заболел лихорадкой и пропустил почти всю первую четверть. Жизнь этого огромного «казенного» учреждения шла без меня на всех парах, и я чувствовал себя ничтожным, жалким, вперед уже в чем-то виновным. Виновным в том, что болел, что ничего не знаю, что я, наконец, так мал и не похож на гимназиста... И иду теперь, беззащитный, навстречу Киченку, Мине, суровым нравам и наказаниям...

В большом шумном классе все было чуждо, но особенное смущение вызвала во мне знакомая фигура некоего старого гимназиста Шумовича. Это был малый лет восемнадцати, широкоплечий, приземистый, с походкой молодого медведя и серьезным, почти угрюмым взглядом. Два или три последних года он почти ежедневно проходил в гимназию мимо нашего двора. Если случайно я или младший брат попадались ему при этом на дороге — он стребал попавшегося в свои медвежьи лапы, тискал, мял, сплющивал нос, хлопал по ушам и, наконец, повернув к себе спиной, пускал в пространство ловким ударом колена пониже

спины. Затем неторопливо шел дальше. Завидев его еще издали, мы прятались за калитку, но, когда он проходил, что-то тянуло нас за ним. Мы бежали сзади и окликали: «Шумович! Шумович!» Он поворачивался и серьезным взглядом измерял расстояние...

Оказалось, что реформа, запретившая оставаться более двух лет в одном классе, застигла его продолжительную гимназическую карьеру только на второй ступени. Богатырь оказался моим товарищем, и я со страхом думал, что он сделает со мной в ближайшую перемену... Но он не показал и виду, что помнит о наших внегимназических отношениях. Вероятно, ему самому эти воспоминания доставляли мало удовольствия...

Я чувствовал себя как в лесу, и, когда на первом уроке молодой учитель естественной истории назвал вдруг мою фамилию, я замер. Сердце у меня забилося, и я беспомощно оглянулся. Сидевший рядом товарищ толкнул меня локтем и сказал: «Иди, иди к кафедре». И тотчас же громко прибавил:

— Он не готовил. Был болен.

— Был болен, был болен... Не готовил! —

загудел весь класс. Я несколько ободрился, почувствовав, что за мной стоит какая-то дружелюбная и солидарная сила. Подойдя к кафедре, я остановился и потупился.

— Болен, болен, болен!., бо-о-о... не го-то-о-о... — гудело за мной пятьдесят голосов.

Учитель Прелин оказался не страшным. Молодой красивый блондин с синими глазами спросил у меня, что я знаю, и, получив ответ, что я не знаю еще ничего, пригласил прийти к нему на дом... Я сел на место, ободренный и покоренный его ласковым и серьезным взглядом.

— Этот ничего... славный малый, — сказал мой сосед, по фамилии Крыштанович.

В это время дверь широко и быстро открылась. В класс решительной, почти военной походкой вошел большой полный человек. «Директор Герасименко», — робко шепнул мне сосед. Едва поклонившись учителю, директор развернул ведомость и сказал отрывистым, точно лающим голосом:

— Четвертные отметки. Слушать! Абрамович... Баландович... Буяльский... Варшавер... Варшавский...

Точно из мешка, он сыпал фамилии, названия предметов и отметки... По временам из этого потока вырывались краткие сентенции: «похвально», «совет высказывает порицание»... «угроза розг», «вып-пороть мерзавца». Назвав мою фамилию, он прибавил: «много пропущено... стараться»... Пролаяв последнюю сентенцию, он быстро сложил журнал и так же быстро вышел.

В классе поднялся какой-то особенный шум. Сзади кто-то заплакал. Прелин, красный и как будто смущенный, наклонился над журналом. Мой сосед, голубоглазый, очень приятный мальчик в узком мундирчике, толкнул меня локтем и спросил просто, хотя с несколько озабоченным видом:

— Слушай... Что он сказал обо мне: «угроза розг» или «выпороть мерзавца»?

— Я не заметил.

— Свинья... тебе не жаль товарища?

— Но ведь ты и сам не заметил...

— Да, черт его знает... лает, как собака...

— Крыштановичу что?.. Кто заметил? — заговорили кругом. — Кажется, «угроза»...

— Нет, «выпороть мерзавца»... Я слы-

шал, — сказал кто-то сзади.

— Ну? — повернулся Крыштанович.

— Верно, брат, верно...

Я с сочувствием взглянул на него, но он беспечно мотнул головой с буйным золотистым вихром и сказал:

— Черт с ними! Ты... будешь учиться?

— А то как же? — спросил я наивно.

— Много пропустил. Все равно не догонишь. Будут пороть... Я вот не учусь совсем... Хочу в телеграфисты...

Прелин постучал карандашом. Разговоры стихли...

В ближайшую перемену я не вышел, а меня вынесло на двор, точно бурным потоком. И тотчас же завертело, как щепку. Я был новичок. Это было заметно, и на меня посыпались щипки, толчки и удары по ушам. Ударить по уху так, чтобы щелкнуло, точно хлопнушкой, называлось на гимназическом жаргоне «дать фаца», и некоторые старые гимназисты достигали в этом искусстве значительного совершенства. У меня вдобавок была коротко стриженная голова и несколько торчащие уши. Поэтому, пока я беспомощно огля-

дывался, вокруг моей головы стояла пальба, точно из пулемета, которую прекратило только бурное вмешательство моего знакомого гимназиста Ольшанского.

Это был толстый, необыкновенно жизнерадостный крепыш, ринувшийся в атаку с беззаветной храбростью и вскоре вырвавший меня из водоворота. Правда, он и сам вышел из битвы не без урона и даже два катался с противниками в траве. Потом схватился на ноги и крикнул:

— Беги за мной!

Мы побежали во второй двор. Убегая от какого-то настигнувшего меня верзилы, я схватился за молодое деревцо. Оно качнулось и затрещало. Преследователь остановился, а другой крикнул: «Сломал дерево, сломал дерево! Скажу Журавскому!»

Между тем с крыльца раздался звонок, и все гимназисты ринулись с той же стремительностью в здание. Ольшанский, вошедший в роль покровителя, тащил меня за руку. Добежав до крыльца, где низенький сторож потрясал большим звонком, он вдруг остановился и, ткнув в звонаря пальцем, сказал мне:

— Это Мина!

Знаменитый Мина оказался небольшим плотным человеком, с длинными, как у обезьяны, руками и загорелым лицом, на котором странно выделялась очень светлая заросль. Длинный прямой нос как будто утопал в толстых, как два полена, светлых усах. Перестав звонить, он взглянул на моего жизнерадостного покровителя и сказал:

— Чего смеешься?.. Смотри, Ольшанский, скоро суббота... Урки небось опять не вытвердил?

Ольшанский беспечно показал грозному Мине язык и скрылся в коридоре. Перед уроком, когда уже все сидели на местах, в класс вошел надзиратель Журавский и, поискав кого-то глазами, остановил их на мне:

— Ты, новичок, останься после класса.

Я был удивлен. Товарищи тоже были заинтересованы. Крыштанович хлопнул меня по плечу и сказал:

— Молодец, новичок! Сразу попадаешь под розги... Здорово!

Я чувствовал себя до такой степени невинным, что даже не испугался. Оказалось, одна-

ко, что я был уже виновен.

— Ты сломал дерево? — спросил меня какой-то незнакомый ученик, подошедший с задней парты.

— Нет, но... я его согнул.

— Ну вот. Я сам слышал, как Домбровский ябедничал Журавскому...

— За дерево... могут выпороть... — опять предположил Крыштанович.

Последовал обмен мнений. Хотя поломка деревьев едва ли была предусмотрена пировской таблицей наказаний, но в новой гимназии только что были произведены посадки, и порча их считалась большим преступлением. Тем не менее большинство мнений было в мою пользу:

— Без согласия родителей пороть не станут.

Это была еще одна форма «постепенного» компромисса: родителям предлагали — выпороть или уволить. Относительно Ольшанского, Крыштановича и некоторых других была получена *cart blanche*[14], и дело шло как по маслу, без дальнейших формальностей.

— А Домбровского пора проучить, — ска-

зал Крыштанович. — Это уже не первый раз.

— Гм-да... — многозначительно сказал еще кто-то. По окончании уроков я с несколькими учениками прошел к Журавскому. Дело обошлось довольно благополучно. Новые товарищи мои дружно доказывали, что я еще новичок, недавно оправившийся от болезни, и дерева не ломал. К концу этой беседы незаметно подошла еще кучка учеников, которые как-то особенно демонстративно вступали в объяснения с надзирателем. Журавский сделал мне выговор и отпустил с миром. Когда мы проходили по коридору, из пустого класса выскочил Домбровский. Он был весь красный, на глазах у него были слезы.

Крыштанович рассказал мне, улыбаясь, что над ним только что произведена «экзекуция»... После уроков, когда он собирал свои книги, сзади к нему подкрался кто-то из «стариков», кажется Шумович, и накинул на голову его собственный башлык. Затем его повалили на парту, Крыштанович снял с себя ремень, и «козе» урезали десятка полтора ремней. Закончив эту операцию, исполнители кинулись из класса, и, пока Домбровский

освобождался от башлыка, они старались обратить на себя внимание Журавского, чтобы установить alibi.

Так сплоченное гимназическое «товарищество» казнило «изменника»... Впоследствии то же мне пришлось встретить в тюрьмах. Формы, конечно, были жесточе, но сущность та же.

Этот эпизод как-то сразу ввел меня, новичка, в новое общество на правах его члена. Домой я шел с гордым сознанием, что я уже настоящий ученик, что меня знает весь класс и из-за меня совершился даже некоторый важный акт общественного правосудия.

— Ты славный малый, начинаешь недурно! — с покровительственной важностью одобрил меня Крыштанович. В его глазах мне недоставало еще только карцера и порки...

В ближайшую субботу мой приятель и защитник Ольшанский показался мне несколько озабоченным. На мои вопросы, что с ним, он не ответил, но мимо Мины в перемену проскользнул как-то стыдливо и незаметно.

Крыштанович, с которым мы теперь каж-

дый день уходили из гимназии вместе, тоже был настроен невесело и перед последним уроком сказал:

— А меня, знаешь... того... действительно сегодня будут драть... Ты меня подожди.

И затем, беспечно тряхнув завитком волос над крутым лбом, прибавил:

— Это недолго. Я попрошу, чтобы меня первым...

— Тебе это... ничего? — спросил я с сочувствием.

— Плевать... У нас, брат, в Белой Церкви, не так драли... Черви заводились. Отец тоже лупит, сволочь, здорово!

После уроков, когда масса учеников быстро схлынула, в опустевшем и жутко затихшем коридоре осталась только угрюмая кучка обреченных. Вышел Журавский с ведомостью в руках, Мина своей развалистой походкой следовал за ним. Увидев меня, Журавский остановился.

— А, новичок! — сказал он. — Тоже попался! Не говорил я тебе, а?

— Нет, я вот с ним... — ответил я.

— Ага, с Крыштановичем!.. Хорошая ком-

пания. Пойдешь далеко... Тебе, Крыштанович, сегодня пятнадцать...

— Я, господин надзиратель, хочу попросить...

— Не могу. Просил бы у совета...

— Нет, я не то... Я хочу, чтобы меня первым... Ко мне, господин надзиратель, тетушка приехала... из Киева.

— А! Так ты хочешь ее поскорее обрадовать... Ну хорошо, хорошо, это можно... — И, сделав по ведомости переключку, он развел оставшихся по классам и потом сказал — Ну что ж. Пойдем, господин Крыштанович. Тетушка дожидается.

И они втроем: Мина, Журавский и мой приятель — отправились к карцеру с видом людей, идущих на деловое свидание. Когда дверь карцера открылась, я увидел широкую скамью, два пучка розог и помощника Мины. Затем дверь опять захлопнулась, как будто проглотив красивую фигуру Крыштановича в мундирчике с короткой талией...

Тишина в коридоре стала еще жутче. Я с бьющимся сердцем ждал за дверью карцера возни, просьб, криков. Но ничего не было. Бы-

да только насторожившаяся тишина, среди которой тикало что-то с своеобразным свистом. Едва я успел сообразить, что это за тиканье, как оно прекратилось, и из-за плотной двери опять показался Мина. Своей медвежьей походкой он подошел к одному из классов, щелкнул ключом, и в ту же минуту оттуда понесся по всему зданию отчаянный рев. Мина тащил за руку упиравшегося Ольшанского. Рот у моего жизнерадостного знакомого был открыт до ушей, толстые щеки измазаны слезами и мелом, он ревел во весь голос, хватался за косяки, потом даже старался схватиться за гладкие стены... Но Мина, равнодушный, как сама судьба, без всякого видимого усилия увлекал его к карцеру, откуда уже выходил Крыштанович, застегивая под мундиром свои подтяжки. Лицо его было немного краснее обыкновенного, и только. Он с любопытством посмотрел на барахтавшегося Ольшанского и сказал мне:

— Вот дурак... Что этим выиграет?

Его глаза засветились насмешливым огоньком.

— И урежет же ему теперь Мина... По-

стой, — прибавил он, удерживая меня и прислушиваясь.

Мина со своей жертвой скрылся за дверью... Через минуту раздался резкий звук удара — ж-жик — и отчаянный вопль...

Мы подходили уже к выходной калитке, когда из коридора, как бомба, вылетел Ольшанский; он ронял книги, оглядывался и на бегу доканчивал свой туалет.

Впрочем, в ближайший понедельник он опять был радостен и беспечен на всю неделю...

В назначенный день я пошел к Прелину. Робко, с замирающим сердцем нашел я маленький домик на Сенной площади, с балконом и клумбами цветов. Прелин, в светлом летнем костюме и белой соломенной шляпе, возился около цветника. Он встретил меня радушно и просто, задержал немного в саду, показывая цветы, потом ввел в комнату. Здесь он взял мою книгу, разметил ее, показал, что уже пройдено, разделил пройденное на части, разъяснил более трудные места и указал, как мне догнать товарищей.

Вышел я от него почти влюбленный в мо-

лодого учителя и, придя домой, стал жадно поглощать отмеченные места в книге. Скоро я догнал товарищей по всем предметам, и на следующую четверть Герасименко после моей фамилии пролаял сентенцию: «похвально». Таким образом, ожидания моего приятеля Крыштановича не оправдались: испробовать гимназических розог мне не пришлось.

Впрочем, розга была уже осуждена бесповоротно, и порка исчезла. На следующий год мне запомнился, впрочем, один случай ее применения: два гимназиста убежали из дому, направляясь в девственные степи Америки искать приключений... Школьный строй никогда не мог понять этих, во всяком случае незаурядных, порывов юной природы и чему-то необычному, выходящему из будничных рамок, неведомому и заманчивому... Побег этот взволновал всю гимназию, и, сидя на уроках, мы шепотом делились предположениями о том, далеко ли успели уйти наши беглецы. Дня через три мы узнали, что они пойманы, привезены в город и сидят день и ночь в карцере в ожидании педагогического совета...

Был как раз урок арифметики, когда один из беглецов, уже наказанный, угрюмо вошел в класс. На кафедре сидел маленький круглый Сербинов, человек восточного типа, с чертами ожиревшей хищной птицы. Он был груб, глуп и строг, преподавал по своему предмету одни только «правила», а решение задач сводилось на переписку в тетрадках; весь класс списывал у одного или двух лучших учеников, и Сербинов ставил отметки за чистоту тетрадей и красоту почерка. Он дослуживал срок пенсии, был очень раздражен всякими новшествами и в классе иной раз принимался ругать разных «дураков, которые пишут против розги»... Когда беглец вошел в класс, Сербинов с четверть часа продержал его у порога, злорадно издеваясь и цинично спрашивая о разных подробностях порки. Затем, хорошо зная, что мальчик не мог приготовиться, он спросил урок и долго с наслаждением вычерчивал в журнале единицу.

Прелин, наоборот, не упоминая ни словом о побеге, вызвал мальчика к кафедре, с серьезным видом спросил, когда он может навестить пропущенное, вызвал его в назна-

ченный день и с подчеркнутой торжественностью поставил пять с плюсом...

В житомирской гимназии мне пришлось пробыть только два года, и потом завязавшиеся здесь школьные связи были оборваны. Только одна из них оставила во мне более глубокое воспоминание, сложное и несколько грустное, но и до сих пор еще живое в моей душе.

Это детская дружба с Крыштановичем.

С первого же дня, когда он ко мне обратился с своим простодушным вопросом — будут ли его пороть или пока только грозят, — он внушил мне глубокую симпатию. Мне нравился его крутой лоб, светлые глаза, то сверкавшие шаловливым весельем, то внезапно тускневшие и заволакивавшиеся непонятным мне и загадочным выражением, его широкоплечая фигура с тонким станом, в узком старом мундирчике, спокойная самоуверенность и чувство какого-то особого превосходства, сквозившее во всех его приемах. Он был года на полтора старше меня, но мне казалось почему-то, что он знает обо всех людях — учителях, учениках, своих родителях — что-то та-

кое, чего я не знаю. Он упорно осуществлял свой план, не готовя уроков, глубоко презирал и наказания, и весь школьный режим, не любил говорить о своей семье, охотно упоминая лишь о сестре, которую иной раз обзывал ласково самыми грубыми площадными названиями. Бели бы кто-нибудь подслушал иные рассказы его о своих якобы похождениях с женщинами, то, конечно, пришел бы в ужас от спокойного цинизма этого гимназиста второго класса. Я теперь тоже вспоминаю эти рассказы с удивлением. Но мне кажется, что я и тогда чувствовал в них выдумку и своего рода хвастовство.

Трудно было разобрать, говорит ли он серьезно или смеется над моим легковерием. В конце концов, в нем чувствовалась хорошая натура, поставленная в какие-то тяжелые условия. Порой он внезапно затуманивался, уходил в себя, и в его тускневших глазах стояло выражение затаенной печали... Как будто чистая сторона детской души невольно грустила под наплывом затягивавшей ее грязи...

После описанной выше порки, которая, впрочем, больше до конца года не повторя-

лась, я относился к нему как-то особенно: жалел, удивлялся, готов был для него что-то сделать... Создавалась какая-то особенная власть его надо мной, которую мы чувствовали оба. Он относился ко мне хорошо, но в этом было что-то невысказанное, может быть, не вполне сознательное: я разочаровал его. Товарищество у нас было не полное. Я, пожалуй, не прочь был стать таким же «отпетым», как он, чтобы пользоваться такой же фамильярной известностью у Журавского и вместе с приятелем попадать в карцер. Но это у меня как-то не выходило.

В карцер я, положим, попал скоро. Горячий француз, Бейвель, обыкновенно в течение урока оставлял по несколько человек, но часто забывал записывать в журнал. Так же он оставил и меня. Когда после урока я вместе с Крыштановичем подошел в коридоре к Журавскому, то оказалось, что я в списке не числюсь.

— Но... меня оставил мосье Бейвель, — настаивал я.

— Верно, — покровительственно подтвердил Крыштанович.

— Ну, оставил, так оставайся! — согласился Журавский. — Там, кстати, встретишь своего братца.

В карцере действительно уже сидело несколько человек, в том числе мой старший брат. Я с гордостью вошел в первый раз в это избранное общество, но брат тотчас же охладил меня, сказав с презрением:

— Дурак! Сам напросился!

Я понял, что дал промах: «настоящий» гимназист гордился бы, если бы удалось обманом ускользнуть от Журавского, а я сам полез ему в лапы...

Когда мы все были выпущены, Крыштанович сказал мне:

— Ты все-таки славный малый, хотя еще глуп. Давай завтра уйдем из церкви.

— Куда?

— Куда я поведу... Пойдешь?

— Хорошо, только надо ведь попроситься у матери...

— Она не узнает... Можешь сказать, что заходил к товарищу учить уроки...

Я покраснел и замялся. Он внимательно посмотрел на меня и повел плечами.

— Ты боишься соврать своей матери? — сказал он с оттенком насмешливого удивления. — А я вру постоянно... Ну, однако, ты мне дал слово... Не сдержать слово товарищу — подлость.

Я сказал матери, что после церкви пойду к товарищу на весь день, мать отпустила. Служба только началась еще в старом соборе, когда Крыштанович дернул меня за рукав, и мы незаметно вышли. Во мне шевелилось легкое угрызение совести, но, сказать правду, было также что-то необыкновенно заманчивое в этой полупреступной прогулке в часы, когда товарищи еще стоят на хорах собора, считая ектений и с нетерпением ожидая херувимской. Казалось, даже самые улицы имели в эти часы особенный вид.

Крыштанович уверенным шагом повел меня мимо прежней нашей квартиры. Мы прошли мимо старой «фигуры» на шоссе и пошли прямо. В какой-то маленькой лавочке Крыштанович купил две булки и кусок колбасы. Уверенность, с какой он делал эту покупку и расплачивался за нее серебряными деньгами, тоже импонировала мне: у меня только

раз в жизни было пятнадцать копеек, и когда я шел с ними по улице, то мне казалось, что все знают об этой огромной сумме и кто-нибудь непременно затевает меня ограбить...

— Откуда у тебя столько денег? — спросил я у моего бойкого товарища, когда мы вышли из лавочки.

— А тебе какое дело? — ответил он. — Ну, украл у отца...

Я покраснел и не знал, что сказать. Мне казалось, что Крыштанович говорит это «нарочно». Когда я высказал это предположение, он ничего не ответил и пошел вперед.

Мы миновали православное кладбище, поднявшись на то самое возвышение дороги, которое когда-то казалось мне чуть не краем света и откуда мы с братом ожидали «рогатого попа». Потом и улица, и дом Коляновских исчезли за косогором... По сторонам тянулись заборы, пустыри, лачуги, землянки, перед нами лежала белая лента шоссе, с звенящей телеграфной проволокой, а впереди, в дымке пыли и тумана, синела роща, та самая, где я когда-то в первый раз слушал шум соснового бора...

Мне было жутко и приятно. Мир, открывавшийся передо мною, был нов и неожидан, или, вернее: я смотрел на него с новой и неожиданной точки зрения. Белые облака лежали на самом горизонте, не закрытом домами и крышами. Навстречу попадались чумацкие возы с скрипучими осями, двигались высокие еврейские балагулы, какие-то странники оглядывались на нас с любопытством и удивлением; проехал обоз крымских татар, ежегодно привозивших в наш город виноград и арбузы. Обоз состоял из огромных фургонов, похожих на вагоны, разделенные горизонтальной переборкой на две половины. В одной лежали молодые татарчата, внизу были наложены арбузы и стояли ящики с виноградом. Фургоны были запряжены верблюдами, которых в городе татары показывали за деньги. Здесь, на просторе, мы смотрели бесплатно, как они шлепали по шоссе мягкими ступнями, покачивая змеиными шеями и презрительно вытягивая длинные отвислые губы...

Так мы прошли версты четыре и дошли до деревянного моста, перекинутого через речку в глубоком овраге. Здесь Крыштанович спу-

стился вниз, и через минуту мы были на берегу тихой и ласковой речушки Каменки. Над нами высоко, высоко пролегал мост, по которому гулко ударяли копыта лошадей, прокатывались колеса возов, проехал обратный ямщик с тренькающим колокольчиком, передвигались у барьера силуэты пешеходов, рабочих, странников и богомолков, направлявшихся в Почаев.

Крыштанович подошел к мысу, образованному извилиной речки, и мы растянулись на прохладной зеленой траве; мы долго лежали, отдыхая, глядя на небо и прислушиваясь к гудению протекавшей вверху дорожной жизни.

Детство часто беспечно проходит мимо самых тяжелых драм, но это не значит, что оно не схватывает их чутким полусознанием. Я чувствовал, что в душе моего приятеля есть что-то, что он хранит про себя... Все время дорогой он молчал, и на лбу его лежала легкая складка, как тогда, когда он спрашивал о порке.

Наконец он сел в траве. Лицо его стало спокойнее, Он оглянулся кругом и сказал:

— Правда, хорошо?..

— Хорошо, — ответил я. — А ты уже здесь бывал?

— Да, бывал.

— Один?

— Один... Если захочешь, будем приходить вместе... Тебе не хочется иногда уйти куда-нибудь?.. Так, чтобы все идти, идти... и не возвращаться...

Мне этого не хотелось. Идти — это мне нравилось, но я все-таки знал, что надо вернуться домой, к матери, отцу, братьям и сестрам.

Я не ответил и спросил, в свою очередь:

— Слушай... Отчего ты... такой?

— Какой? — переспросил он и прибавил — Брось... черт с ними, со всеми, со всеми... Давай лучше купаться.

Через минуту мы плескались, плавали и барахтались в речушке так весело, как будто сейчас я не предлагал своего вопроса, который Крыштанович оставил без ответа... Когда мы опять подходили к городу, то огоньки предместья светились навстречу в неопределенной синей мгле...

Эта маленькая прогулка ярко запала мне в

память, быть может, потому, что рядом с нею легло смутное, но глубокое впечатление от личности моего приятеля. На следующий день он не пришел на уроки, и я сидел рядом с его пустым местом, а в моей голове роились воспоминания вчерашнего и смутные вопросы. Между прочим, я думал о том, кем я буду впоследствии. До тех пор я переменял уже в воображении несколько родов деятельности. Вид первой извозчицы пролетки, запах кожи, краски и лошадиного пота, а также великое преимущество держать в руках вожжи и управлять движениями лошадей вызвал у меня желание стать извозчиком. Потом я воображал себя поляком XVII столетия, в шапке с орлиным пером и с кривой саблей на боку. Потом мне очень хотелось быть казаком и мчаться пьяному на коне по степи, как мчался знакомый мне удалой донской урядник. Теперь я был уже умнее. Мне захотелось быть учителем.

И именно таким, как Прелин. Я сижу на кафедре, и ко мне обращены все детские сердца, а я, в свою очередь, знаю каждое из них, вижу каждое их движение. В числе учеников

сидит также и Крыштанович. И я знаю, что нужно сказать ему и что нужно сделать, чтобы глаза его не были так печальны, чтобы он не ругал отца сволочью и не смеялся над матерью...

Все это было так завлекательно, так ясно и просто, как только и бывает в мечтах или во сне. И видел я это все так живо, что... совершенно не заметил, как в классе стало необычайно тихо, как ученики с удивлением оборачиваются на меня; как на меня же смотрит с кафедры старый учитель русского языка, лысый как колено Белоконский, уже третий раз окликающий меня по фамилии. Он заставил повторить что-то им сказанное, рассердился и выгнал меня из класса, приказав стать у классной двери снаружи.

Я вышел, все еще унося с собой продолжение моего сна наяву. Но едва я устроился в нише дверей и опять отдался течению своих мыслей, как в перспективе коридора показалась рослая фигура директора. Поравнявшись со мной, он остановился, кинул величавый взгляд с своей высоты и пролаял свою автоматическую фразу:

— Вып-порю мерзавца!

И затем проследовал дальше. Очень вероятно, что через минуту он уже не узнал бы меня при новой встрече, но в моей памяти этот маленький эпизод остался на всю жизнь. Бессмысленный окрик автомата случайно упал в душу, в первый еще раз открывшуюся навстречу вопросам о несовершенствах жизни и разнеженную мечтой о чем-то лучшем... Впоследствии, в минуты невольных уединений, когда я оглядывался на прошлое и пытался уловить, что именно в этом прошлом определило мой жизненный путь, — в памяти среди многих важных эпизодов, влияний, размышлений и чувств неизменно вставала также и эта картина: длинный коридор, мальчик, прижавшийся в углублении дверей с первыми движениями разумной мечты о жизни, и огромная мундиро-автоматическая фигура с своею несложною формулой:

— Вып-порю мерзавца!..

В 1866 году один эпизод «большой политики» долетел отголосками и до нас. 4 апреля 1866 года Каракозов в Петербурге стрелял в императора Александра II. В июне того же го-

да, по окончании экзаменов, происходил годичный гимназический акт. Нас сначала собрали в здании гимназии, а потом попарно повели нас в зал Дворянского собрания. Особенная торжественность акта объяснялась, кажется, тем, что гимназия собиралась щегольнуть перед властями и обществом собственным поэтом. Сначала словесник Шавров произнес речь, которая совсем не сохранилась в моей памяти, а затем на эстраду выступил гимназист, небольшого роста, с большой курчавой головой. Каким-то напряженным тоном с выкрикиваниями и сильным акцентом он прочел стихотворение, в котором говорилось о «чудесном спасении». Стихотворение было напыщенно и высокопарно. Оно начиналось вопросом вроде: «Куда текут народа шумны волны?» — а затем сообщало, что

*Ужасная вестъ обтекает Россию
Об умысле злом на царя...
Но чудо свершилось пред всеми во-
чию,
Венчанную жизнь сохраняя...*

По окончании чтения поэт поднес губернаторше свиток со своим произведением, а ар-

хиерей поцеловал гимназиста-еврея в голову.

Сколько могу припомнить, покушение Каракозова ни во мне, ни в моих сверстниках не будило в то время никаких вопросов. Царь — это было нечто огромное, отдаленное, стихия! Стихией же казались и люди, которые в него стреляют. Нечто отвлеченное, далекое от нашей повседневной жизни. А торжество по этому поводу было казенное торжество, показательное, «ненастоящее» — это мы ощущали ясно. Перегибаясь через перила хор, мы с ироническим любопытством смотрели, как смешно поэт Варшавский подходил к руке архиерея и тот прикасается губами к его жесткой курчавой голове. На лицах учеников было или безразличное любопытство, или усмешка...

Стихотворение появилось в гимназическом журнале, который позволено было печатать в губернской типографии. Вышло, кажется, два или три номера. Губернская канцелярия и редакторство учителей убивали свободный полет гимназической поэзии, и она хирела... Былина о «Коршуне-Мине и Прометее-Буйвиде», конечно, не могла бы найти ме-

ста в этом журнале, как и другие, порой, несомненно, остроумные сатиры безыменных поэтов-школьников... В этот разрешенный начальством журнал гимназическая муза отправлялась точно с визитом, затянутая, напряженная, несвободная, тогда как у себя дома она была гораздо интереснее.

Поэтическому таланту Варшавского, начавшему свое парение с торжественных од и поднесений высоким лицам, так и не суждено было расцвести. В гимназическом журнальчике было еще помещено его стихотворение, уже не столь торжественного содержания, озаглавленное «Шапка». Дело шло о форменной гимназической фуражке, которая, по словам поэта, украшая кудрявые юные головы, жаждущие науки, влечет к ним «взгляды красоток». Другой гимназист, Иорданский, написал злую критику, в которой опровергал все поэтические положения товарища-поэта по пунктам. «Поэт утверждает, якобы шапка красоток влечет, — писал он весьма энергичным стилем. — Я же говорю: напротив!»

Придя как-то к брату, критик читал свою статью и, произнося: «Я же говорю, напро-

тив», — сверкал глазами и энергически ударял кулаком по столу... От этого на некоторое время у меня составилось представление о «критиках» как о людях, за что-то сердитых на авторов и говорящих им «все напротив».

На этой полемике, кажется, литературное предприятие житомирской гимназии и закончилось, а с ним и имя поэта Варшавского кануло в Лету...

XV. Отъезд

После восстания пошла тяжелая полоса «обрусения», с доносами, арестами, судами уже не над повстанцами, а над «подозрительными», с конфискациями имений. Сыновья Рыхлинского были высланы в Сибирь. Старички ездили в Киев и видели сыновей в последний раз перед отправлением.

Однажды, в именины старого Рыхлинского, его родственники и знакомые устроили торжество, во время которого хор из пансионеров спел под руководством одного из учителей сочиненную на этот случай кантату. Она кончалась словами:

*Ведь есть на небе великий бог:
Сынов увидишь у своих ног...*

Старик, глубоко растроганный, плакал, но в это время юморист дядя Петр печально покачал головой и ответил горькой шуткой:

— Да у него и ног-то нет.

Короткая фраза упала среди наступившей тишины с какой-то грубою резкостью. Все были возмущены цинизмом Петра, но — он оказался пророком. Вскоре пришло печальное известие: старший из сыновей умер от раны на одном из этапов, а еще через некоторое время кто-то из соперников сделал донос на самый пансион. Началось расследование, и лучшее из училищ, какое я знал в своей жизни, было закрыто. Старики ликвидировали любимое дело и уехали из города.

Вскоре пришлось уехать и нам.

В городе Дубно нашей губернии был убит уездный судья. Это был поляк, принявший православие, человек от природы желчный и злой. Положение меж двух огней озлобило его еще больше, и его имя приобрело мрачную известность. Однажды, когда он возвращался из суда, поляк Бобрик окликнул его сзади. Судья оглянулся, и в то же мгновение Бобрик свалил его ударом палки с наконецни-

ком в виде топорика.

Этот случай произвел у нас впечатление гораздо более сильное, чем покушение на царя. То была какая-то далекая отвлеченность в столице, а здесь говорили и о жертве, и об убийце. Бобрик представлялся или героем, или сумасшедшим. На суде он держал себя шутливо, перед казнью попросил позволения выкурить папиросу.

Чтобы несколько успокоить вызванное этим убийством волнение, высшая администрация решила послать на место убитого судьи человека, пользующегося общим уважением и умеренного. Выбор пал на моего отца.

Он наскоро собрался и уехал. На каникулы мы ездили к нему, но затем вернулись опять в Житомир, так как в Дубно не было гимназии. Ввиду этого отец через несколько месяцев попросил перевода и был назначен в уездный город Ровно. Там он заболел, и мать с сестрой уехали к нему.

Мы остались и прожили около полугода под надзором бабушки и теток. Новой «власти» мы как-то сразу не подчинились, и

жизнь пошла кое-как. У меня были превосходные способности, и, совсем перестав учиться, я схватывал предметы на лету, в классе, на переменах и получал отличные отметки. Свободное время мы с братьями отдавали бродяжничеству: уходя веселой компанией за реку, бродили по горам, покрытым орешником, купались под мельничными шлюзами, делали набег на баштаны и огороды, а домой возвращались поздней ночью.

Вследствие этого, выдержав по всем предметам, я решительно срезался на математике и остался на второй год в том же классе. В это время был решен наш переезд к отцу, в Ровно.

В середине июня огромная семейная колымага, носившая у нас название «коч кареты», стояла перед нашим крыльцом, нагруженная доверху. Привели почтовых лошадей. Ямщик в низкой шляпе с медным орлом и с бляхой на левой руке взгромоздился на козлы... Замелькали знакомые улицы, лавочки, костелы, остов «старой фигуры», когда-то разбитой громом, дома Коляновских. Знакомый мир, который, сам не знаю почему, стал мне по-

стылым и ненавистным. Душа рвалась навстречу новому, неизведанному... Въехав на косогор у русского кладбища, ямщик остановился и отвязал колокольчик. Я с страстным нетерпением ждал, чтобы он поскорее опять влез на свое место. Мне казалось, что оттуда, сзади, придет еще что-то и остановит нас. И действительно, кто-то бежал по старой Вильской улице и махал белым свертком. Сердце у меня замерло, но это оказалась только забытая картонка. Колымага тряхнулась и поплыла вниз с косогора...

Лачуги, заборы, землянки. Убогая лавочка, где когда-то Крыштанович на сомнительные деньги покупал булки... Шоссе с пешеходами, возами, балагулами, странниками... гулкий мост. Речка, где мы купались с моим приятелем. Врангелевская роща. Ощущение особенной приятной боли мелькнуло в душе. Как будто открывалась и уплывала назад в первый еще раз так резко отграниченная полоска жизни.

Мост исчез, исчезли позади и сосны Врангелевки, последние грани того мирка, в котором я жил до сих пор. Впереди разворачивался

простор, неведомый и заманчивый. Солнце было еще высоко, когда мы подъехали к первой станции, палевому зданию с красной крышей и готической архитектурой.

Перепрягли лошадей, прописали подорожную (с этим мать посылала меня, чем я очень гордился), и я опять полез на козлы...

Опять дорога, ленивое позванивание колокольчика, белая лента шоссе с шуршащим под колесами свежим щебнем, гулкие деревянные мосты, протяжный звон телеграфа... Опять станция, точь-в-точь похожая на первую, потом синие сумерки, потом звездная ночь и фосфорические облака, как будто налитые лунным светом... Мать стучит в оконце за козлами, ямщик сдерживает лошадей. Мать спрашивает, не холодно ли мне, не сплю ли я и как бы я не свалился с козел.

Мне кажется, что я не спал, но все-таки место, где мы стоим, для меня неожиданно ново: невдалеке впереди мостик из свежих бревен, под ним темная речка, по сторонам лес, и верхушки деревьев сонно качаются в синеве ночного неба...

Я весь переполнен радостью новизны,

ожиданий... И, однако, под гул телеграфной проволоки оттуда, сзади, где осталось это постылое прошлое, что-то как будто тянется ко мне по этой дороге, какая-то смутная бль дразнит, ласкает и манит своими воспомина- ниями... Вспоминается вечер с красным закатом, «щось буде», толки о чем-то неведомом, такой же гул телеграфа, кучки людей у стол- бов... Пансион... Как давно это было, и какой я был тогда глупый... И насколько я теперь ум- нее того мальчишки, который припадал ухом к телеграфным столбам или гордился... чем же? Званием малыша пансионера... А вот те- перь я уже «старый гимназист» и еду в новые места на какую-то новую жизнь...

В детской жизни бывают минуты, когда со- знание как будто оглядывается на пройден- ный путь, ловит и отмечает собственный рост. Одну из таких минут я вновь пережил в эту ночь под веяние ветра и его звон в прово- локах, смутный, но как будто осмысленный... Точно смешанные голоса переговариваются среди ночи о чем-то, в том числе обо мне с мо- им прошлым. И я с удивлением замечаю, что в этом прошлом вместе с определенными

картинами, такими простыми, такими обыденными и прозаическими, когда они происходили, в душе встает неизвестно откуда сознание, что это было хорошо и прекрасно. Я удивляюсь: отчего же не было этого ощущения тогда, когда все это было настоящим? Было ли мне тогда так же хорошо? Может быть, было, но не так... Того, что я теперь чувствую рядом со всеми этими картинами, того особенного, того печально-приятного, того, что ушло, того, что уже не повторится, того, что делает те впечатления такими незаурядными, единственными, так странно и на свой лад прекрасными, — того тогда не было... Откуда же — если тогда его не было — оно берется теперь?..

На рассвете, не помню уже, где именно — в Новоград-Волынске или местечке Корце, — мы проехали на самой заре мимо развалин давно закрытого базилианского монастыря-школы... Предутренний туман застилал низы длинного здания, а сверху резко чернели ряды пустых окон... Мое воображение населяло их десятками детских голов, и среди них знакомое, серьезное лицо Фомы из Сандо-

мира, героя первой прочитанной мною повести...

И я опять чувствую, что Фома теперь кажется мне тоже другим... Он тот же, которого я полюбил тогда, взглядываясь в его образ сквозь трудные строки плохо еще разбираемой грамоты, — но теперь и он обвеян странным прибавочным ощущением...

А впереди все-таки — что-то новое, еще более прекрасное и еще более манящее...

— Скоро ли? Скоро ли? — то и дело спрашиваю я у ямщиков...

Часть третья

В уездном городе. — Ученические годы

XVI. Уездный город Ровно

Еще день, и опять утро. Скоро ли? Ямщик указывает кнутовищем вперед и говорит:

— Вон там за пригорком город. А это вот грабник. По праздникам сюда ходят гулять...

Впереди виднелась роца, а из-за нее выглядывала красная крыша казенного здания.

Город залег в широкой котловине, и только туманное или дымное облачко подымалось снизу... Здание с красною крышей оказалось тюрьмой. Когда мы поравнялись с ней, из окон второго этажа на нас глядели зеленоватобледные, угрюмые лица арестантов, державшихся руками за железные решетки... Мне часто вспоминалась эта картина из моего детства впоследствии, когда и сам я, уже взрослым, смотрел из-за таких же решеток на вольную дорогу... И один раз на козлах такой же семейной колымаги сидел такой же мальчик и смотрел на меня с таким же жутким чувством жалости, сострадания, невольного осуждения и страха...

Тюрьма стояла на самом перевале, и от нее уже был виден город, крыши домов, улицы, сады и широкие сверкающие пятна прудов... Грузная коляска покатила быстрее и остановилась у полосатой заставы шлагбаума. Инвалидный солдат подошел к дверцам, взял у матери подорожную и унес ее в маленький домик, стоявший на левой стороне у самой дороги. Оттуда вышел тотчас же высокий господин, «команду на заставе имеющий», в пу-

тейском мундире и с длинными офицерскими усами. Вежливо поклонившись матери, он сказал:

— Господин судья ожидает! — И затем, повернувшись, скомандовал инвалиду — Подвысь!

Полосатое бревно шлагбаума заскрипело в гнезде, и тонкий конец его ушел высоко кверху. Ямщик тронул лошадей, и мы въехали в черту уездного города Ровно.

Эти «заставы», теперь, кажется, исчезнувшие повсеместно, составляли в то время характерную особенность шоссейных дорог, а характерную особенность самых застав составляли шоссейные инвалиды николаевской службы, доживавшие здесь свои более или менее злополучные дни... Характерными чертами инвалидов являлись: вечно дремотное состояние и ленивая неповоротливость движений, отмеченная еще Пушкиным в известном стихотворении, в котором поэт гадает о том, какой конец пошлет ему судьба:

*Иль чума меня подцепит,
Иль мороз окостенит,
Иль шлагбаум в лоб мне вле-*

нит

Непроворный инвалид...

Команда этих путейских инвалидов представляла сословие, необыкновенно расположенное к философскому покою и созерцательной жизни. И теперь, когда в моей памяти оживает город Ровно, то неизменно, как бы в преддверии всех других впечатлений, вспоминается мне пестрое бревно шлагбаума и фигура инвалида в запыленном и выцветшем сюртуке николаевских времен. Инвалид непременно сидит на обрубке у шлагбаума, со спиной, точно прилипшей к полосатому столбу. На голове у него тоже порыжелый и выцветший картуз с толстым козырем, рот раскрыт, и в него лезут назойливые дорожные мухи... Впоследствии нам доставляло удовольствие из-за столба щекотать спящему соломинками шею, а более смелые шалуны совали соломинки даже в ноздри бедного сева-стопольского героя. Инвалид отмахивался, чихал, иной раз вскакивал и испуганно озирался к тюрьме, в ту сторону, откуда мог появиться, стоя в кибитке и размахивая казенным листом, какой-нибудь стремительный

«курьер», перед которым надо подымать шлагбаум без задержки... Но, видя только пыльную ленту шоссе, страж заставы опять садился и мирно засыпал... И было в этой дремотной фигуре что-то символическое — точно прообраз мирного жития провинциального городишка...

Но в то время эта фигура не имела еще для меня символического значения, и я жадными глазами ловил то «новое», что открывалось за «подвышенным» полосатым бревном... «Новое», впрочем, было не особенно представительно. Лачуги, пустыри, заборы, устья двух-трех узеньких переулочков, потом двухэтажное каменное здание казначейства... Перед ним на площади — каменная колонна со статуей богородицы. Кругом заезжие дворы с широкими воротами, откуда на нас устремились несколько факторов-мишуресов... Потом речка и деревянный мост. Речка и мост в самом центре города привели меня в восхищение...

Перед самым мостом ямщик круто повернул лошадей, наша «карета» качнулась, закрипела, остановилась, как будто в разду-

мье, в покосившихся воротах и поплыла вниз по двору, поросшему зеленой муравкой. На этом дворе было в беспорядке разбросано несколько зданий. На одном была надпись: «Ровенский уездный суд». На другом, как-то нелепо выдвинувшемся из ряда, было написано: «Архив». На третьем, стоявшем в глубине двора, никакой надписи не было. Это и была наша новая квартира, расположенная на мысу, между прудом и речкой... В раскрытую калитку была видна вода, подходившая к самому огороду, и деревянная кладочка с привязанной у нее лодкой... С моста на наш приезд глазели кучки обывателей, которым была отлично видна внутренность низко расположенной усадьбы и для которых приезд семьи «господина судьи» составлял выдающееся событие.

Несколько больших прудов, соединенных тихими речушками, залегали в широкой ложбине, и городок расположен был по их берегам. Наша усадьба была на стороне городской. Напротив, на острове, по преданию насыпанном искусственно пленными турками, стоял полуразвалившийся дворец князей Любомир-

ских, в старопольском полуготическом стиле. Он был окружен высокими пирамидальными тополями и имел чудесный вид живописной древности. На левой стороне пруда — беленькое, веселое, с портиком и колонками — стояло двухэтажное просторное здание гимназии. И угрюмый «замок», и светлая колоннада гимназии, точно в зеркале, отражались в воде. Вдали, под другим берегом, отчетливо рисуясь на синеве и зелени, плавали лебеди, которых я тогда видел в первый раз. Они оставляли за собой длинные светлые полосы, долго потом стоявшие на сонной неподвижности глади...

Каждая новая местность имеет как бы собственную физиономию и откладывает в душе какое-то общее, смутное, но свое собственное впечатление, на которое ложатся все подробности. Все, что я видел теперь, показалось мне чем-то волшебным... Да, это действительно какая-то новая, неведомая страница жизни... И вместе... вероятно, от старого замка, странное ощущение истомы, дремоты, грезы о прошлом, минувшем, исчезнувшем навеки, — кидало свою тень на это молодое ожи-

дание чудес. Пруд лежал как мертвый, и в нем отражался мертвый «замок» с пустыми впадинами окон, окруженный, точно заснувшей стражей, высокими рядами пирамидальных тополей. Вода зацветала, покрывалась у берегов зеленою ряской, зарастала татарником и камышами. Неподвижная поверхность сверкала зноем и дышала на городок плесенью и лихорадками... И все было так родственно с пустырями, с дремотною фигурой инвалида у шлагбаума, с пустыми окнами старого замка...

В один из первых вечеров, когда мы сидели в столовой за чаем, со стороны пруда слышался странный гул.

— Это шумят тополи около старого замка, — сказала мать.

Протяжный, глубокий, немного зловещий шум несся над городишком, точно важный голос, рассказывавший о бурном прошлом тихому и ничтожному настоящему, погруженному в серые будни...

Теперь я люблю воспоминание об этом городишке, как любят порой память старого врага. Но, боже мой, как я возненавидел к

концу своего пребывания эту затягивающую, как прудовой ил, лишённую живых впечатлений будничную жизнь, высасывавшую энергию, гасившую порывы юного ума своей безответностью на все живые запросы, погружавшую воображение в бесплодно-романтическое ленивое созерцание мертвого прошлого.

XVII. «Уездный суд», его нравы и типы

Были каникулы. Гимназия ещё стояла пустая, гимназисты не начинали съезжаться. У отца знакомых было немного, и потому наши знакомства на первое время ограничивались соседями-чиновниками помещавшегося тут же во дворе уездного суда...

Первым из этих знакомых был архивариус, пан Крыжановский.

Он встретил нас в самый день приезда и, сняв меня, как перышко, с козел, галантно помог матери выйти из коляски. При этом на меня пахнуло от этого огромного человека запахом перегара, и мать, которая уже знала его раньше, укоризненно покачала головой. Незнакомец стыдливо скосил глаза, и при этом я невольно заметил, что горбатый сизый

нос его свернут совершенно «набекрень», а глаза как-то уныло тусклы...

Мы с ним быстро сошлись. В свободное время он ходил с нами гулять, показывал достопримечательности города, учил управлять лодкой. Мы узнали, частью от него самого, частью от других, что когда-то он был богатым помещиком и в город приезжал на отличной четверке. Говорили затем, будто у него жена убежала с офицером (тогда что-то многие жены убегали с офицерами), после чего он сильно закутил и пропил все имение; или наоборот: сначала он прокутил все имение, а потом жена убежала с офицером. Как бы то ни было, теперь он служил архивариусом, получал восемь рублей в месяц, ходил в засаленном костюме, вид имел не то высокомерный, не то унылый и в общем — сильно потертый. Зато он никогда не унижался до дешевой помады и томпаковых цепочек, которые другие «чиновники» носили на виду без всякой надобности, так как часов по большей части в карманах не было.

Жил он настоящим философом и даже особую квартиру считал излишней роскошью,

помещаясь в тесном здании архива. Связки дел на полках этого учреждения приятно разнообразились принадлежностями незатейливого костюма, бутылками из-под водки и «вещественными доказательствами». Тут были изломанные замки, краденый самовар, топор с ржавыми пятнами крови на лезвии, узлы с носильным платьем, большие болотные сапоги и две охотничьи двустволки. Хотя на всех этих предметах болтались ярлыки с номерами и сургучными печатями, но пан Крыжановский обращался с ними довольно свободно: самовар сторож ставил для архивариуса, когда у него являлось желание выпить чаю (что, впрочем, случалось не ежедневно), а с двустволками пан Крыжановский нередко отправлялся на охоту, надевая при этом болотные сапоги и соединяя, таким образом, для одного употребления вещественные доказательства из различных дел.

Однажды кто-то из служебных врагов Крыжановского поднял было по этому поводу гнусную клевету, но Крыжановский заблаговременно предупредил ее последствия: самовар он за собственный счет вынул, к одной

двустволке приделал новый курок, а на сапоги судейский сторож накинул иждивением архивариуса подметки. «Хоть это и стоило денег», как с торжеством говорил сам Крыжановский, зато ядовитый донос потерял силу. Работал он неровно, порывами: то целыми днями слонялся где-то со своей тоской, то внезапно принимался за приведение дел в порядок. В таких случаях он брал с собой бутылку водки и запирался в архиве. В маленьком решетчатом оконце архива поздно ночью светился огонь. Крыжановский сшивал, подшивал, припечатывал, заносил в ведомости и пил, пока в одно прекрасное утро дела оказывались подшитыми, бутылка пуста, а архивариус лежал на полу и храпел, раскинув руки и ноги...

Вскоре после нашего приезда, двадцатого числа, Крыжановский попросил у матери позволения взять нас с собой на прогулку.

— Пани Крыжановский?.. — сказала мать полувопросительно, полустрого.

— Ах, пани сендзина, — сказал он, целуя у нее руку. — Неужели и вы... считаете меня совсем пропащим?

Мать согласилась, и мы отправились. Крыжановский водил нас по городу, угощал конфетами и яблоками, и все шло превосходно, пока он не остановился в раздумье у какой-то невзрачной хибарки. Постояв так в нерешимости, он сказал: «Ничего — я сейчас» — и быстро нырнул в низкую дверь. Оттуда он вышел слегка изменившимся, весело подмигнул нам и сказал:

— Матери говорить не надо. — И, вздохнув, прибавил — Святая женщина!

Увы! За первой остановкой последовала вторая, за ней — третья, и, пока мы дошли до центра города, — пан Крыжановский стал совершенно неузнаваем. Глаза его гордо сверкали, уныние исчезло, но — что уже было совсем плохо — он стал задирать прохожих, оскорблять женщин, гоняться за евреями.. Около нас стала собираться толпа. К счастью, это было уже близко от дома, и мы поспешили ретироваться во двор.

После этого пан Крыжановский исчез, не являлся на службу, и об его существовании мы узнавали только из ежедневных донесений отцовского лакея Захара. Сведения были

малоутешительные. В один день Крыжановский смешал на бильярде шары у игравшей компании, после чего «вышел большой шум». На другой день он подрался с будочниками. На третий — ворвался в компанию чиновников и нанес пощечину столоначальнику Венцелю.

Отец страшно рассердился, упрекал мать, что она покровительствует этому висельнику, и потребовал, чтобы Крыжановского доставили ему живого или мертвого. Но об архивариусе не было ни слуху ни духу.

На третий или на четвертый день мы с братом и сестрой были в саду, когда Крыжановский неожиданно перемахнул своими длинными ногами через забор со стороны пруда и, присев в высокой траве и бурьянах, поманил нас к себе. Вид у него был унылый и несчастный, лицо помятое, глаза совсем мутные, нос еще более покривился и даже как будто обвис.

— Тесс... — сказал он, косясь на терраску нашей квартиры, выходящую в сад. — Что, как пан судья? Очень сердит?..

— Сердит, — ответили мы.

— А пани сендзина (госпожа судейша)?..

Мы не могли скрывать, что даже мать не смеет ничего сказать в его защиту.

— Святая женщина! — сказал Крыжановский, смахивая слезу. — Подите, мои милые друзья, спросите у нее, можно ли мне явиться сегодня или еще обождать?

Мы принесли ответ, что ему лучше не являться, и архивариус опять тем же путем перемахнул через забор — как раз вовремя, так как вслед за тем отец появился на террасе.

Прошло еще два дня. Было воскресенье. Отец недавно вернулся из церкви в благодушном настроении и, надев халат, ходил взад и вперед по гостиной. Когда он, повернув к двери, пошел в противоположный угол, из сеней вдруг вынырнула длинная фигура архивариуса. Сделав нам многозначительный знак, он неслышно переступил через порог и застыл у косяка. Но едва отец, прихрамывая и опираясь на палку, дошел до конца комнаты, — архивариус так же неслышно исчез опять в сенях. Это повторилось несколько раз. Наконец, приняв окончательное решение, он перекрестился, опять выступил из-за стены, присло-

нился, точно прилип спиной к косяку, и застыл в этой позе.

Отец повернулся и увидел преступника. У него в Дубно был легкий удар, и мать очень боялась повторений. Теперь, при неожиданном появлении виновного архивариуса, лицо, лоб, даже затылок у отца залило краской, палка у него в руке задрожала. Крыжановский, жалкий, как провинившаяся собака, подошел к судье и наклонился к его руке. Отец схватил нагнувшегося великана за волосы... Затем произошла странная сцена: судья своей слабой рукой таскал архивариуса за жесткий вихор, то наклоняя его голову, то подымая кверху. Крыжановский старался только облегчить ему эту работу, покорно водя голову за рукой. Когда голова наклонялась, архивариус целовал судью в живот, когда подымалась, он целовал в плечо и все время приговаривал голосом, в который старался вложить как можно больше убедительности:

— А! пан судья... А! ей-богу!.. Ну, стоит ли? Это может повредить вашему здоровью... Ну, будет уже, ну, довольно...

Из кухни прибежала мать и, успокаивая

отца, постаралась освободить волосы Крыжановского из его руки. Когда это удалось, архивариус еще раз поцеловал отца в плечо и сказал:

— Ну, вот и все... И слава богу... пусть теперь пан судья успокоится. Стоит ли, ей-богу, принимать так близко к сердцу всякие там пустяки...

— Пошел вон! — сказал отец. Крыжановский поцеловал у матери руку, сказал «святая женщина» и радостно скрылся. Мы поняли как-то сразу, что все кончено и Крыжановский останется на службе. Действительно, на следующий день он опять как ни в чем не бывало работал в архиве. Огонек из решетчатого оконца светил на двор до поздней ночи.

Нравы в чиновничьей среде того времени были простые. Судейские с величайшим любопытством расспрашивали нас о подробностях этой сцены и хохотали. Не могу вспомнить, чтобы кто-нибудь считал при этом себя или Крыжановского профессионально оскорбленным. Мы тоже смеялись. Юность недостаточно чутка к скрытым драмам; однажды мы даже сочинили общими усилиями

юмористическое стихотворение и подали его Крыжановскому в виде деловой бумаги. Начиналось оно словами:

*Архивариус я, чиновник,
Видом, ростом молодец...*

и заключало насмешливое изложение его служебных неудач и горестей. Крыжановский начал читать, но затем нервно скомкал бумагу, сунул ее в карман и, посмотрев на нас своими тускло-унылыми глазами, сказал только:
— Учат вас... балбесы...

На следующий день Крыжановский исчез. Одни говорили, что видели его, оборванного и пьяного, где-то на ярмарке в Тульчине. Другие склонны были верить легенде о каком-то якобы полученном им наследстве, призвавшем его к новой жизни.

Вообще, ближайшее знакомство с «уездным судом» дало мне еще раз в усложненном виде то самое ощущение изнанки явлений, какое я испытал в раннем детстве при виде сломанного крыльца. В Житомире отец ежедневно уезжал «на службу», и эта «служба» представлялась нам всем чем-то важным,

несколько таинственным, отчасти роковым (это было «царство закона») и возвышенным.

Здесь этот таинственный храм правосудия находился у нас во дворе... В его преддверии помещалась сторожка, где бравый николаевский унтер в неслужебное время чинил чиновничью обувь и, кажется, торговал водкой. Из сторожки так и садило особым жилым «духом».

Впрочем, этот жилой дух, острый, щеко-тавший в ноздрях и царапавший в горле, не выводился и в «канцеляриях». Некоторые писцы не имели квартир и неизменно проживали в суде. В черных шкапах, кроме бумаг, хранились засаленные манишки и жилеты, тарелки с обрезками колбасы и другие неофициальные предметы. Оклады чиновников, даже принимая во внимание дешевизну, были все-таки изумительные. Архивариус получал восемь рублей в месяц и считался счастливецом. Штатные писцы получали по три рубля, а вольнонаемные по «пяти злотых» (на польский счет злотый считался в пятнадцать копеек). Здесь, очевидно, коренилось то философское отношение, с каким отец

глядел на мелкое взяточничество подчиненных: без «благодарности» обывателей они должны бы буквально умирать с голоду. Некоторые из судейской молодежи, кому не помогали родственники, ютились в подвалах старого замка или же устраивались «вечными дежурными» в суде. Таким вечным дежурным был, например, некий пан Ляцковский. Получал он всего-навсего три рубля, несколько зашибал и имел склонность к щегольству: носил грязные крахмальные манишки, а курчавые пепельные волосы густо смазывал помадой. За всеми этими потребностями денег на квартиру у него не оставалось. Таких бедняков было еще пять-шесть, и они за самую скромную плату дежурили за всех. По вечерам в опустевших канцеляриях уездного суда горел какой-нибудь сальный огарок, стояла посудинка водки, лежало на сахарной бумаге несколько огурцов и дежурные резались до глубокой ночи в карты... По утрам святилище правосудия имело вид далеко не официальный. На нескольких столах, без постелей, враспяжку храпели «дежурные», в брюках, грязных сорочках и желтых носках. Когда пан

Ляцковский, кислый, невыспавшийся и похмельный, протирал глаза и поднимался со своего служебного ложа, то на обертке «дела», которое служило ему на эту ночь изголовьем, оставалось всегда явственное жирное пятно от помады. После «двадцатого числа» в суде по вечерам становилось несколько шумно. За картами у дежурных порой возникали даже драки. Если авторитет сторожа оказывался недостаточным, то на место являлся отец, в халате, туфлях и с палкой в руке. Чиновники разбегались, летом прыгая в окна: было известно, что, всплыв, судья легко пускал в ход палку...

Одну только комнату отец ограждал от вторжения всякой партикулярной распущенности. Это было присутствие с длинным столом, накрытым зеленым сукном с золотыми кистями и с зеркалом на столе. Никто из мелких канцеляристов туда не допускался, и ключ отец хранил у себя. Сам он всегда входил в это святилище с выражением торжественно-важным, как в церковь, и это давало тон остальным. За отцом, так же важно, в часы заседаний рассаживались подсудки, среди

которых были и выборные представители сословий. Один из них был еврей Рабинович. В то время об «еврейском вопросе» еще не было слышно, но не было и нынешнего злого антисемитизма: закон считал справедливым, чтобы в суде, где разбираются и дела евреев, присутствовал тающий представитель еврейского населения. И когда Рабинович, типичный еврей, с необыкновенно черной бородой и курчавыми волосами, в мундире с шитьем и при шпаге, входил в «присутствие» — в нем нельзя было узнать Рабиновича-торговца, сидевшего в свободные часы в своей лавочке или за меняльным столиком.

Казалось, от «зеркала» на него в этой комнате падало тоже какое-то сияние.

«Зерцало» было как бы средоточием жизни всего этого промозглого здания, наполненного жалкими несчастливцами, вроде Крыжановского или Ляцковского. Когда нам в неприсутственные часы удавалось проникать в святилище уездного суда, то и мы с особой осторожностью проходили мимо зеркала. Оно казалось нам какой-то волшебной скинней. Слово, неосторожно сказанное «при зерка-

ле», было уже не простое слово. Оно влекло за собой серьезные последствия.

Однажды, этой первой осенью после нашего приезда в город, пришло известие: едет губернатор с ревизией. В Житомире мы как-то мало слышали о губернаторе. Здесь он представлялся чем-то вроде кометы,двигающейся на трепетный мир. Забегали квартальные, поднялась чистка улиц; на столбах водворяли давно побитые фонари, в суде мыли полы, подшивали и заканчивали наспех дела. Отец волновался. Дела у него были в образцовом порядке, но он чувствовал за собой две слабые стороны: жена у него была полька, и он был разбит параличом. Между тем губернию уже облетела фраза нового губернатора: «Я мастер здоровый, и мне нужны здоровые подмастерья...» В Дубно он уже уволил больного судью...

Приехал... Остановился у исправника... Был в полиции, в казначействе... Отец в новом мундире и с Владимиром в петлице уходит из дому в суд. Мать на дорогу крестит его крамольным польским крестом и посылает нас наблюдать, что будет. Наш наблюдатель-

ный пункт в бурьянах на огороде, против окон «присутствия». «Самого» еще нет, но два или три хлыщеватых чиновника уже роются в делах, которые им почтительно подает секретарь. Вечереет. В «присутствии» зажигают свечи — необыкновенно много свечей. Зерцало, начищенное мелом, изливает сияние. Торжественно и строго... У ворот слышно тарахтение коляски. Отец и подсудки поднимаются с мест. Помощник исправника сам отворяет настежь дверь присутствия, и в ней, точно осиянная и светящаяся, как само зеркало, является бравая генеральская фигура. За нею выхоленные лица «чиновников особых поручений», а за ними в пролет двери виднеется канцелярия, неузнаваемая, вся в свету и трепете. Мы стремглав бежим к матери.

— Ну что? — спрашивает она с тревогой.

— Вошел. Папе подал руку... Просил садиться. Вздох облегчения.

— Ну, слава богу... — И мать набожно крестится...

— Слава богу, — повторяют за ней дамы, трепетной кучкой набившиеся в нашу квартиру. — Ох, что-то будет с нашими?..

Я не помню, чтобы после этой первой виденной мною «ревизии» в моем уме сколько-нибудь ясно шевелились критические вопросы: какова природа этой грозы? Почему молодые хлыщеватые щеголи из губернаторской свиты держатся так развязно, а мой отец, заслуженный и всеми уважаемый, стоит перед ними, точно ученик на экзамене? Почему этот важный генерал может беспричинно разрушить существование целой семьи и никто не спросит у него отчета, правильно ли это сделано? Таких вопросов не существовало для меня, как и для окружающих. Царь может все, генерал имеет силу у царя, хлыщи имеют силу у генерала. Значит, и они «могут все». Слава богу, что не все разрушили, не всех разогнали и кое-кого оставили в покое. Когда комета уносилась в пространство, а на месте подсчитывались результаты ее пролета, то оказывалось, по большей части, что удаления, переводы, смещения постигали неожиданно, бестолково и случайно, как вихрь случайно вырвет одно дерево и оставит другое. «Сила власти» иллюстрировалась каждый раз очень ярко, но сила чисто

стихийная, от которой, по самой ее природе, никто и не ждал осмысленности и целесообразности. В одних семьях служили благодарственные молебны, в других плакали и строили догадки: кто донес, насплетничал, снаушничал. Сплетники и были виноваты. Они навлекли грозу...

Самая же гроза не была виновата. Ей так полагалось по законам природы. Бесправная и безответная среда только гнулась, как под налетом вихря...

XVIII. Еще одна изнанка

Каникулы подходили к концу. Мне предстоял проверочный экзамен для поступления в «Ровенскую реальную гимназию».

Это было заведение особенного переходного типа, вскоре исчезнувшего. Реформа Д. А. Толстого, разделившая средние учебные заведения на классические и реальные, еще не была закончена. В Житомире я начал изучать умеренную латынь только в третьем классе, но за мною она двигалась уже с первого. Ровенская гимназия, наоборот, превращалась в реальную. Латынь уходила класс за классом, и третий, в который мне предстояло посту-

пить, шел уже по «реальной программе», без латыни, с преобладанием математики.

Только уже в Ровно из разговоров старших я понял, что доступ в университет мне закрыт и что отныне математика должна стать для меня основным предметом изучения.

Во время проверочного экзамена я блестяще выдержал по всем предметам, но измучил учителя алгебры поразительным невежеством. Инспектор, в недоумении качая головой, сказал отцу, ожидавшему в приемной:

— Мы его, пожалуй, примем. Но вам лучше бы пустить его «по классической».

Это, конечно, было совершенно верно, но не имело никакого практического смысла. Мой отец, как и другие чиновники, должен был учить детей там, где служил. Выходило, что выбор дальнейшего образования определялся не «умственными склонностями» детей, а случайностями служебных переводов наших отцов.

Уже вследствие этой наглядной несообразности реформа Д. А. Толстого была чрезвычайно непопулярна в средних кругах тогдашнего общества и, без всякого сомнения, сыграв

ла значительную роль в оппозиционном настроении застигнутых ею молодых поколений...

Однажды, вскоре после моего экзамена, у отца собрались на карточный вечер сослуживцы и знакомые. Это было чуть ли не единственное удовольствие, которое отец позволял себе, и очень скоро у него подобралась компания партнеров. Тут был подсудок Кроль, серьезный немец с рыжеватыми баками, по странной случайности женатый на русской поповне; был толстый городничий Дембский, последний представитель этого звания, так как вскоре должность «городничих» была упразднена; доктор Погоновский, добродушный человек с пробритым подбородком и длинными баками (тогда это было распространенное украшение докторских лиц), пан Богацкий, «секретарь опеки», получавший восемнадцать рублей в месяц и державший дом на широкую ногу... Было еще несколько скромных обывательских фигур, серьезно предававшихся «преферансу» и нимало не склонных ни к политике, ни к оппозиции. Жены их сидели с матерью в столовой

и вели свои специально дамские беседы. Было сильно накурено и довольно скучно. За зелеными столами слышались обычные лаконические заявления:

— Пас...

— Покупаю...

— Семь треф...

— Надо было ходить с короля...

Во время перерыва, за чайным столом, уставленным закусками и водкой, зашел общий разговор, коснувшийся, между прочим, школьной реформы. Все единодушно осуждали ее с чисто практической точки зрения: чем виноваты дети, отцы которых волею начальства служат в Ровно? Путь в университет им закрыт, а университет тогда представлялся единственным настоящим высшим учебным заведением.

Кто-то задался вопросом: как могло «правительство» допустить такую явную несообразность?

Отец выписывал «Сын отечества» и теперь сообщил в кратких чертах историю реформы: большинством голосов в Государственном совете проект Толстого был отвергнут, но «царь

согласился с меньшинством».

Последовало короткое молчание. Разговор как бы уткнулся в высокую преграду.

— И все это Катков, — сказал кто-то с легким вздохом.

— Конечно, он, — прибавил другой.

— Много этот человек сделал зла России... — вздохнул третий.

Отец не поддакивал осуждавшим реформу и не говорил своего обычного «толкуй больной с подлекарем». Он только сдержанно молчал.

Через некоторое время чаепитие кончилось, и партнеры перешли в гостиную, откуда опять послышалось:

— Пас!

— Покупаю.

— Семь трэф!

— Надо было ходить в ренонс.

Я вышел из накуренных комнат на балкон. Ночь была ясная и светлая. Я смотрел на пруд, залитый лунным светом, и на старый дворец на острове. Потом сел в лодку и тихо отплыл от берега на середину пруда. Мне был виден наш дом, балкон, освещенные окна, за кото-

рыми играли в карты... Определенных мыслей не помню.

Из того, что я так запомнил именно этот «карточный вечер» среди многих других, я заключаю, что я вышел тогда из накуренной комнаты с чем-то новым, смутным, но способным к росту... На вопрос, когда-то поставленный, по словам отца, «философами», «можно ли думать без слов», — я теперь ответил бы совершенно определенно: да, можно. Мысль, облеченная в точное понятие и слово, есть только надземная часть растения — стебель, листья, цветы... Но начало всего этого — под почвой: в невидимом зерне дремлют возможности стебля, цветка и листьев. Их еще нет, над ними еще колышутся другие листья и стебли, а между тем там уже все готово для нового растения.

Такие ростки я, должно быть, вынес в ту минуту из беззаботных, бесцельных и совершенно благонамеренных разговоров «старших» о непопулярной реформе. Перед моими глазами были лунный вечер, сонный пруд, старый замок и высокие тополи. В голове, может быть, копошились какие-нибудь пустые

мыслишки насчет завтрашнего дня и начала уроков, но они не оставили никакого следа. А под ними прокладывали себе дорогу новые понятия о царе и верховной власти.

Есть на свете солнце, месяц, звезды, грозовые тучи, царь, закон... Все это есть, и все это действует так или иначе *не почему-нибудь*, а просто потому, что есть и что действует... Роптать на небесный гром — глупо и бесцельно. Так же глупо роптать на царя. Тут нет вопроса, «почему так, а не иначе»... Глупая козювка и уносящий ее водяной поток, «старая фигура» у дома Коляновских и разбившая ее громовая стрела, наконец неразумный больной и всезнающий, могущественный подлекарь... Все эти взаимные отношения есть не *почему-нибудь*, а просто *есть, были и будут* от века и до века...

Таково было устойчивое, цельное, простое мировоззрение моего отца, которое незаметно просочилось и в мою душу. По моему мнению, только такое мировоззрение есть истинная основа абсолютизма «волею божиею», и до тех пор, пока совсем еще неприкосновенно это воззрение, сильна абсолютная власть. До

этого вечера я и был во власти такой цельности. Стихийность, незыблемость, недоступность для какой бы то ни было критики распространялась сверху, от царя, очень широко, вплоть до генерал-губернатора, даже, пожалуй, до губернатора... Все это сияло, как фигура Черткова, на пороге объятого трепетом уездного присутствия, все это гремело, благодетельствовало или ввергало в отчаяние не почему-нибудь и не на каком-нибудь основании, а просто так... без причины, высшею, безотчетною волей, с которой *нельзя спорить*, о которой не приходится даже и рассуждать.

Теперь невинный разговор старших шевельнул что-то в этой цельности: моя личная судьба определена заранее — университет для меня и тысячей моих сверстников закрыт. Это я чувствую *как зло*, и все признают это злом. Это бы еще ничего. Но... этого *могло не быть*. Какое-то большинство в каком-то Государственном совете этот проект осудило. Царь *мое* согласиться с большинством... тогда было бы хорошо. Но он почему-то согласился с меньшинством... Вышла всеми признаваемая несообразность, которой *могло не быть*...

И случилось это не просто потому, что гром есть гром, а царь есть царь... Нет — «все это наделал» в числе другого зла какой-то неведомый Катков. Предо мной вскрывалась изнанка крупного жизненного явления. Дом казался цельным и вечным. Пришли какие-то люди, сняли одно крыльцо, приставили другое и при этом обнажили старые столбы, заплесневелые и подгнившие. И вышло, что дом не вечен, а *сделан*, как многое другое. Теперь из-за цельного представления о власти «земного бога» выглянул простой Катков, которого уже можно судить и осуждать...

Должно быть, это смутное ощущение новой «изнанки» сделало для меня и этот разговор, и этот осенний вечер с луной над гладью пруда такими памятными и значительными, хотя «мыслей словами» я вспомнить не могу.

И даже более: довольно долго после этого самая идея власти, стихийной и не подлежащей критике, продолжала стоять в моем уме, чуть тронутая где-то в глубине сознания, как личинка трогает под землей корень еще живого растения. Но с этого вечера у меня уже были предметы первой «политической» анти-

патии. Это был министр Толстой и, главное, Катков, из-за которые мне стал недоступен университет и предстоит изучать ненавистную математику...

XIX. Первое впечатление новой гимназии

Я был все-таки принят. Вскоре после экзаменов, в ясное утро воскресенья, я от нечего делать пошел на польское кладбище на «Волю». Это было предместье, где город незаметно уступал место деревне. Маленький уютный костел стоял в соседстве соломенных хат, посреди могил и крестов. Было что-то особенно приветливое в этом беленьком храме с его небольшими звонкими колоколами и звуками органа, вырывавшимися из-за цветных стекол и носившимися над могилами. Когда орган стихал, слышался тихий шелест березок и шепот молящихся, которые не умещались в «каплице» и стояли на коленях у входа.

Я долго бродил среди памятников, как вдруг в одном месте, густо заросшем травой и кустарником, мне бросилось в глаза странное синее пятно. Подойдя ближе, я увидел ма-

ленького человечка в синем мундире с медными пуговицами. Лежа на могильном камне, он что-то тщательно скоблил на нем ножиком и был так углублен в это занятие, что не заметил моего прихода. Однако, когда я сообразил, что мне лучше ретироваться, он быстро поднялся, отряхнул запачканный мундир и увидел меня.

— Кто такой? — спросил он несколько скрипучим высоким тенором. — А, новый? Как фамилия? Сма-а-атри ты у меня!

И, погрозив за что-то пальцем, он пошел прочь смешной ковыляющей походкой. Маленькая фигурка скоро исчезла за зеленью могил.

И как только он скрылся, из-за ближайшего склепа выбежали три гимназиста.

— Что он тебе говорил? — спросил один из них, Кроль, с которым я уже был знаком. Двое других тотчас же кинулись к плите и, в свою очередь, принялись что-то скоблить на камне. Когда они кончили и встали с довольным видом, я с любопытством посмотрел на их работу. На плите после традиционных трех букв D.O.M.[15] стояло уменьшительное имя с фа-

милией (вроде Ясь Янкевич), затем год рождения и смерти. Вверху, выцарапанные в глубокой борозде гвоздями и ножиками, виднелись два польских слова: ofiara srogosci (жертва строгости).

Мои новые товарищи рассказали мне историю этой надписи.

Это было несколько лет назад. Ученика младших классов Янкевича «преследовало» гимназическое начальство, и однажды его оставили в карцере «за невнимание на уроке». Мальчик говорил, что он болен, отпрашивался домой, но ему не поверили.

Карцер помещался во втором этаже, в самом отдаленном углу здания. К нему вел отдельный небольшой коридорчик, дверь которого запиралась еще особо.

Впоследствии мне пришлось свести знакомство с этим помещением, и каждый раз, как сторож, побрякав ключами, удалялся и его шаги замирали в гулком длинном коридоре, я вспоминал Янкевича и представлял себе, как ему, вероятно, было страшно, больному, в этом одиночестве. Вот стукнула далеко внизу выходная дверь на блоке, по коридорам про-

бежали, толкаясь в углах, тревожные и чуткие отголоски. Все замерло. За маленьким высоким оконцем шумят каштаны густого сада, в сырых, холодных углах таится и густеет мгла ранних сумерек...

Когда сторож пришел вечером, чтобы освободить заключенного, он нашел его в беспмятстве, свернувшегося комочком у самой двери. Сторож поднял тревогу, привел гимназическое начальство, мальчика свезли на квартиру, вызвали мать... Но Янкевич никого не узнавал, метался в бреду, пугался, кричал, прятался от кого-то и умер, не приходя в сознание...

Теперь в гимназии не было уже ни виновников этой смерти, ни товарищей жертвы. Но гимназическая легенда переходила от поколения к поколению, и ученики считали своей обязанностью подновлять надпись на могильном камне. Это было тем интереснее, что надзиратель Дитяткевич, в просторечии называвшийся Дидонусом, считал своей обязанностью от времени до времени выскабливать крамольные слова. Таким образом, борозда утопала все глубже, но надпись все оживала,

сохраняя память о чьей-то начальственной «строгости» и об ее «жертве»...

Таково было первое впечатление, каким встречала меня «Ровенская реальная гимназия»...

XX. Желто-красный попугай

И теперь еще, хотя целые десятилетия отделяют меня от того времени, — я по временам вижу себя во сне гимназистом ровенской гимназии... Особенным звуком звенит в моих ушах частый колокол, и я знаю: это старик сторож из кантонистов подошел к углу гимназического здания, где на двух высоких столбах укреплен качающийся колокол, и дергает за длинную веревку. Звон, настойчивый, торопливый, как будто захлебывающийся, перелетает через гладь прудов, забирается в ученические квартиры. Частый топот ног по деревянным мосткам, визг и стук калитки на блоке с несколькими камнями... Топот усиливается, как прилив, потом становится реже, проходит огромный инспектор, Степан Яковлевич Руцевич, на дворе все стихает, только я все еще бегу по двору или вхожу в опустевшие коридоры с неприятным созна-

нием, что я уже опоздал и что Степан Яковлевич смотрит на меня тяжелым взглядом с высоты своего огромного роста.

Порой снится мне также, что я сижу на скамье и жду экзамена или вызова к доске для ответа. При этом меня томит привычное сознание какой-то неготовности и риска...

Так прочны эти впечатления. И не мудро. В ровенской гимназии я пробыл пять лет и два года в житомирской. Считая в году по двести пятьдесят дней, проведенных в классах или церкви, и по четыре-пять учебных часов ежедневно, — это составит около восьми тысяч часов, в течение которых вместе со мною сотни молодых голов и юных душ находились в непосредственной власти десятков педагогов. Затихшее здание гимназии в эти часы представляется мне теперь чем-то вроде огромного резонатора, в котором педагогический хор настраивает на известный лад умы и души сотен будущих людей. И мне хочется, хотя бы в самых общих чертах, определить теперь основные ноты, преобладавшие в этом хоре.

Еще в Житомире, когда я был во втором

классе, был у нас учитель рисования, старый поляк Собкевич. Говорил он всегда по-польски или по-украински, фанатически любил свой предмет и считал его первой основой образования. Однажды, рассердившись за что-то на весь класс, он схватил с кафедры свой портфель, поднял его высоко над головой и изо всей силы швырнул на пол. С сверкающими глазами, с гривой седых волос над головой, весь охваченный гневом, он был похож на Моисея, разбивающего скрижали.

— Иблопы! Бараны! Ослы! — кричал он по-польски. — Что значат все ваши граматыки и арытметыки, если вы не понимаете красоты человеческого глаза!..

Может быть, это было грубо и смешно, но мы не смеялись. От могучей фигуры старого художника над толпой неосмысленных малышей пронеслось, как вихрь, одушевление фанатической веры в свой предмет, в высшее значение искусства... Когда он подходил к рисующему ученику и, водя большим пальцем над бумагой, говорил: «Ага! Вот так... Чувствуешь, малый? Оно вот тут округляется. Вот-вот... Теперь сильнее, гуще!.. Ага! Видишь: за-

светилось, глядит!..» — то казалось, что под этими его жестами на самой бумаге начинают роиться живые формы, которые стоит только схватить...

Другая фигура, тоже еще в Житомире. Это священник Овсянкин... Он весь белый, как молоко, с прекрасными синими глазами. В этих глазах постоянно светилось выражение какого-то доброго беспокойства. И когда порой, во время ответа, он так глядел в мои глаза, то мне казалось, что он чего-то ищет во мне с ласковой тревогой, чего-то нужного и важного для меня и для него самого.

Однажды он задумал устроить для своих учеников говение особо от остальных молящихся.

Для этого он наскоро сладил ученический хор под руководством двух учеников из попovichей и сам служил для нас после общей службы. Нам это нравилось. Церковь была в нашем нераздельном владении, в ней было как-то особенно уютно, хорошо и тихо. Ни надзирателей, ни надзора не было.

Но... попав в эту обстановку после годичной муштровки — ученики распустились.

Всех охватила какая-то резвость, особенно во время спевок, на которых не бывало и священника. После одной такой спевки настроение перелилось через край, и за вечерней хор пропел «отцу и сыну и святому духу» с кощунственным изменением («брюху»). В сущности, настоящего, сознательного кощунства тут не было, а была только инерция резвости. Мальчишки шутили скорее над добрым священником, чем над представлением о боге. По окончании службы причетник сказал, что батюшка просит всех остаться. Мы сгрудились около левого клироса. В слабо освещенной старой церкви стало как-то торжественно-тихо и печально. Через минуту Овсянкин вышел из алтаря серьезный и как бы виновный. Подойдя к нам, он начал говорить:

— Дети... дети мои...

Но продолжать не мог. Белое лицо его как-то жалко дрогнуло, глаза затуманились, и по щекам потекли крупные слезы.

Эта глубокая печаль потрясла нас гораздо сильнее, чем могла бы потрясти самая красноречивая проповедь. Певчие, пристыженные и растроганные, первые кинулись к

нему, целовали его руки, ловили края широких рукавов. За ними старика обступили остальные, неповинные в кощунстве; все мы каялись в том, что и нам показалось это смешно и весело. Старик клал руки на наши коротко остриженные волосы, и лицо его постепенно светлело... Говение окончилось под впечатлением этой сцены, и никогда впоследствии покаянная молитва Ефрема Сирина не производила на меня такого действия, как в эти дни, когда ее произносил для нас Овсянкин в убогом старом храме, под низким потолком которого лилось пение растроганного, кающегося молодого хора...

Наконец в Ровно я застал уже только рассказы об одном учителе физики. Должно быть, фигура была тоже яркая в своем роде, так как рассказы о нем переходили из поколения в поколение. Он был «натурфилософ» и материалист. По его мнению, физические законы объясняли все или должны были все объяснить. Опыты он проделывал с таким увлечением, как будто каждый из них был откровением, поднимающим завесу мировой тайны, а в учительской он вел страстную по-

лемику с священником, противопоставляя геологические периоды шести дням творения...

Художника Собкевича у нас убрали в конце первого же года моего пребывания в житомирской гимназии: началось «обрусение», а он не мог приучиться говорить в классе только по-русски. Как ни старался бедный старик — на русском языке у него ничего «не скруглялось» и «не светилося». Да и вообще вся его оригинальная фигура плохо укладывалась в казенные рамки. Овсянкина тоже скоро сменил законоучитель Сольский, сухой и строгий... Наконец ровенского «натурфилософа» удалили по доносу его полемиста-священника, который этим способом восстановил авторитет «Книги бытия».

Как ни различны эти фигуры — они встают в моей памяти, объединенные общей чертой: верой в свое дело. Догматы были различны: Собкевич, вероятно, отрицал и физику наравне с грамматикой перед красотой человеческого глаза. Овсянкин был одинаково равнодушен к красоте человеческих форм, как и к красоте точного познания, а физик готов

был, наверное, поспорить и с Овсянкиным о шестодневии. Содержание веры было различно, психология одна.

Теперь — яркая фигура уже другого рода.

Это учитель немецкого языка, мой дальний родственник, Игнатий Францевич Лотоцкий. Я еще не поступал и в пансион, когда он приехал в Житомир из Галиции. У него был диплом одного из заграничных университетов, дававший тогда право преподавания в наших гимназиях. Кто-то у Рыхлинских посмеялся в его присутствии над заграничными дипломами. Лотоцкий встал, куда-то вышел из комнаты, вернулся с дипломом и изорвал его в клочки. Затем уехал в Киев и там выдержал новый экзамен при университете.

После этого он получил место преподавателя в житомирской гимназии и женился на одной из моих теток. Ее считали счастливницей. Но через некоторое время мы, дети, стали замечать, что наша жизнерадостная тетка часто приходит с заплаканными глазами, запирается с моей матерью в комнате, что-то ей рассказывает и плачет. Если иной раз, придя к ней в гости, нам случалось разыграть —

дверь кабинета слегка приотворялась, и в щелке появлялось чисто выбритое лицо с выпуклыми блестящими глазами. Этого было достаточно: мы тотчас смолкали и рассаживались по углам, а тетка бледнела и тряслась... Если не ошибаюсь, тогда я впервые запомнил слово «тиран».

Все, однако, признавали его образцовым учителем и пророчили блестящую учебно-административную карьеру. Это был типичный «братушка», какие через несколько лет при Толстом заполонили наше просветительное ведомство с тем, однако, преимуществом, что Лотоцкий превосходно говорил по-русски.

Одетый всегда с иголки, тщательно выбритый, без пылинки на блестящем мундире, он являлся на урок минута в минуту и размеренным шагом всходил на кафедру. Здесь он останавливался и окидывал класс блестящими, выпуклыми, живыми глазами. Под этим взглядом все замирало. Казалось, большей власти учителя над классом трудно представить. Это был идеал «дисциплины» в общепотребительном смысле этого слова. Его боялись, уроки ему готовили лучше, чем другим,

в совете его голос обладал большим весом. Взгляд всякого «ревизора» с удовольствием останавливался на образцово-чиновничьей фигуре с определенно точными и авторитетными приемами...

Однако... ученики давно уже подметили слабые стороны образцового педагога и ни на кого не рисовали столько и притом таких удачных карикатур. Было известно, что за шесть или семь лет учительства он не пропустил ни одного урока. По коридорам шагал всегда одной и той же походкой, по-журавлинному, крупными шагами, держа туловище необыкновенно прямо. От двери класса до кафедры всегда делал определенное количество шагов. С некоторых пор стали замечать, что, если ему случалось стать на порог не той ногой, он делал движение назад и поправлялся, как солдат, «потерявший ногу». На кафедре останавливался всегда в одной позе.

Если в это время кто-нибудь делал резкое движение или заговаривал с соседом — Лотоцкий протягивал руку и, странно сводя два пальца, указательный и мизинец, показывал ими в угол, произнося фамилию виновного

быстро, с выкриком на последнем слоге, и пропуская почти все гласные:

— Кр-ч-н-кб... Вршв...ский... Абрм-вич...

Это значило, что Абрамович, Кириченко, Варшавский должны отправиться в угол... В классе водворялась тишина, абсолютная, томительная, жуткая... В нее отчетливо, резко падали только отрывистые, быстрые вопросы учителя и торопливые ответы учеников...

Одним словом, это было нечто вроде каторги образцового педагогического порядка!..

Но и на каторге люди делают подкопы и бреши. Оказалось, что в этой идеальной, замкнутой и запечатанной власти моего строгого дядюшки над классом есть значительные прорехи. Так, вскоре после моего поступления, во время переключки оказалось, что ученик Кириченко не явился. Когда Лотоцкий произнес его фамилию, сосед Кириченко по парте поднялся, странно вытянулся, застыл и отрубил, явно передразнивая манеру учителя:

— Кр-чн-кб... не явил-ся-я.

Обезьянничание было до такой степени явно и дерзко, что я со страхом и удивлением

взглянул на Лотоцкого. Он ничего не заметил и продолжал отчеканивать фамилию за фамилией. Среди тишины звучал его металлический голос, и падали короткие ответы: «есть... есть... есть...» Только в глазах учеников искрилась усмешка.

В другой раз Лотоцкий принялся объяснять склонение прилагательных, и тотчас же по классу пробежала чуть заметно какая-то искра. Мой сосед толкнул меня локтем. «Сейчас будет „попугай“», — прошептал он чуть слышно. Блестящие глаза Лотоцкого сверкнули по всему классу, но на скамьях опять ни звука, ни движения.

— Der gelb-rote Pa-ra-gei, — сказал Лотоцкий врасстяжку. — Итак! Имени-тельный! Der gelb-rote Pa-ra-gei... Родительный... Des gelb-roten Pa-ra-ga-a-eis...

В голосе Лотоцкого появились какие-то особенные прыгающие нотки. Он начинал скандовать, видимо наслаждаясь певучестью ритма. При дательном падеже к голосу учителя тихо, вкрадчиво, одобрительно присоединилось певучее рокотание всего класса:

— Dem... gelb... го... ten... Pa-ra-ga-a-ei...

В лице Лотоцкого появилось выражение, напоминающее кота, когда у него щекочут за ухом. Голова его закидывалась назад, большой нос нацелился в потолок, а тонкий широкий рот раскрывался, как у сладостно квакающей лягушки.

Множественное число проходило уже среди скандующего грома. Это была настоящая оргия скандовки. Несколько десятков голосов разрубали желто-красного попугая на части, кидали его в воздух, растягивали, качали, подымали на самые высокие ноты и опускали на самые низкие... Голоса Лотоцкого давно уже не было слышно, голова его запрокинулась на спинку учительского кресла, и только белая рука с ослепительной манжеткой отбивала в воздухе такт карандашом, который он держал в двух пальцах... Класс бесновался, ученики передразнивали учителя, как и он, запрокидывали головы, кривляясь, раскачиваясь, гримасничая. Два или три отчаянных шалуна вскочили даже на парты.

И вдруг...

Едва, как отрезанный, затих последний слог последнего падежа — в классе, точно по

волшебству, новая перемена. На кафедре опять сидит учитель, вытянутый, строгий, чуткий, и его блестящие глаза, как молнии, пробегают вдоль скамей. Ученики окаменели. И только я, застигнутый врасплох, смотрю на все с разинутым ртом... Крыштанович толкнул меня локтем, но было уже поздно: Лотоцкий с резкой отчетливостью назвал мою фамилию и жестом двух пальцев указал в угол.

И опять несколько уроков проходило среди остолбенелого «порядка», пока Лотоцкий не наткнулся на желто-красного попугая или иное гипнотизирующее слово. Ученики по какому-то инстинкту выработали целую систему, незаметно загонявшую учителя к таким словам. Это была как бы борьба двух гипнозов, и победа в этой борьбе склонялась на сторону массы. Лотоцкий по временам, кажется, чувствовал что-то неладное, и его глаза перед скандовкой и после нее обегали скамьи с подозрительной тревогой. Но чуткая тишина усыпляла его подозрения, а затем хор и начинался и вырастал так вкрадчиво, так постепенно и незаметно...

За стеклянной дверью порой мелькали в

коридоре изумленные лица надзирателей или инспектора, привлеченных странными выкрикиваниями желто-красного попугая... Но когда Лотоцкий проходил из класса в учительскую — сдержанный, холодный, неприступный и сознающий свою образцовость, — никто не решался заговорить с ним о том, что его класс напоминает порой дом сумасшедших.

Однажды жена его пришла к моей матери, экстренно испуганная, и сказала, что «у Игнатия вышли неприятности в гимназии». Это, вероятно, инспектор решился наконец «обратить внимание господина учителя»... Лотоцкий вспылал, как в том случае, когда посмеялись над его аттестатом, и вскоре перевелся в Чернигов... Оказалось, однако, что желто-красный попугай последовал за ним. Общим инстинктом молодежь и тут схватила черты рокового автоматизма. На гипноз дисциплины она отвечала встречными внушениями. Шаблон все сильнее захватывал моего дядюшку. Походка его становилась все деревяннее, объяснения отливались в застывшие формы, в которых ученики знали вперед

не только фразы, слова, но и ударения. Его передразнивали с дерзко-почтительным видом, а попугай гремел все громче и чаще.

В конце концов роковая птица уничтожила блестяще начатую карьеру. Лотоцкий переводился из гимназии в гимназию и бросил службу года за четыре до пенсии...

Конечно, у Лотоцкого были, по-видимому, некоторые прирожденные странности, которые шли навстречу влиянию оупляющей рутины. На других это сказывалось не так полно и не так ярко, но все же когда теперь в моей памяти встает бесконечная вереница часов, проведенных в стенах гимназии, то мне кажется, что напряженная тишина этих часов то и дело оглашается маниакаскими выкрикиваниями желто-красного попугая...

Вот класс француза Лемпи. Швейцарец родом, он как-то попал в Ровно и здесь учительствует лет сорок. Семьи у него нет. Весь его мир — класс, инспекторская комната и квартира в нескольких шагах от гимназии. Сорок лет в определенные часы он проходит автоматической походкой эти несколько сажений в гимназию и обратно. Увидеть мосье Лемпи

вне этого пространства — большая редкость. По-русски он говорит плохо. Его объяснения — это несколько стереотипных формул, запоминаемых ради курьеза. Он сохранил еще достаточно внимания и настойчивости, и потому класс грамматики, которую он отделил от переводов, — истинное мучение...

Сквозь автоматическую оболочку порой, однако, прорывается что-то из другой жизни. Он любит рассказывать о прошлом. В каждом классе есть особый мастер, умеющий заводить Лемпи, как часовщик заводит часы. Стоит тронуть какую-то пружину — старик откладывает скучный журнал, маленькие глазки загораются маслянистым мерцанием, и начинаются бесконечные рассказы...

Это нечто смутно легендарное, фантастическое. Он родился в Швейцарии... Учился у великого Песталоцци. Песталоцци был гениальнейший педагог... Лемпи был пушкарем школьного отряда...

Рассказывает он все это детски умиленным голосом, сюсюкая, прижмурив глаза, поднимая кверху ладони с несгибающимися пальцами. Ученики, знающие всю эту исто-

рию (порой по рассказам своих отцов), предаются посторонним занятиям, зубрят следующие уроки, играют в пуговицы и перья. А бедный швейцарец говорит и говорит. Он знал великого Наполеона. В какую-то трудную минуту его жизни он оказал ему услугу в качестве проводника через Альпы. Они подымались по отвесным скалам, смазав руки липкой смолой. Великий Наполеон потрепал его по плечу и сказал: «Mon brave petit Lumpi», что значит: «Ты, Лемпушка, есть молодец»... Если тема начинала истощаться, заводчик напоминал об африканской пустыне. Лемпи покорно отправлялся в африканскую пустыню, путешествовал по знойным пескам, видел, как боа-констриктор глотал молодого быка. Рога злополучного четвероногого торчали сквозь кожу «этого монстра», обтянутые, как пальцы в перчатках. И так они продвигались на глазах у наблюдателя от змеиной шеи к желудку.

Благодетельный звонок прерывал нескончаемое путешествие, и грамматика оставалась неспрошенной. Но иногда заводчик не успевал подать реплику... Фантазия Лемпи

угасала... Он тяжело вздыхал, рука тянулась к журналу, и в оставшиеся пять или десять минут он успевал поставить несколько двоек. Первым страдал «заводчик».

Учитель русского и славянского языка, Егоров, был еще толще Лемпи. Только швейцарец напоминал цилиндр, Егоров — шар. Голова у него была не по росту мала, глаза — заплывшие щелочки, нос — незаметная пуговка, голос — тонкая фистула. Отвечать ему нужно было быстро, монотонно и без запинок. Раз начав таким тоном, можно было далее врать сколько угодно. Егоров сидел, закрыв глаза, точно убаюканный, с короткими ногами на весу, круглый, похожий на китайского божка. Но стоило ученику запнуться или изменить тон — глаза Егорова открывались, голова откидывалась назад, и он произносил обиженной скороговоркой:

— Балл дам! Балл дам! Балл дам!

За третьим выкриком следовало быстрое движение руки, и в журнал влетала характерная егоровская двойка в виде вопросительного знака.

— Балл уже дан! Садись!

Начиная объяснение задаваемого урока, Егоров подходил к первой парте и упирался в нее животом. На этот предмет ученики смазывали первую парту мелом. Дитяткевич в коридоре услужливо стирал белую полосу на животе Егорова, но тот запасался ею опять на ближайшем уроке.

Географ Самаревич больше всех походил на Лотоцкого, только в нем не было ни великолепия, ни уверенности. Тонкий, высокий, сухой, желтый, он говорил всегда врасстяжку, звенящим, не то жалобным, не то угрожающим голосом. По коридорам, как и Лотоцкий, ходил журавлиным шагом, как будто переступая через лужи. За металлические дверные ручки брался не иначе как сдвинув рукав и покрыв сукном ладонь. Взойдя на кафедру, останавливался, как Лотоцкий, всегда в одной позе, держась рукой за клок волос, по странной игре природы торчавший у самого горла (борода и усы у него не росли). Класс стихал. Становилось жутко. Тонкая длинная шея Самаревича, с большим кадыком, змееобразно двигалась в широком воротнике, а сухие, желчные глаза обегали учеников справа

налево. В выражении глаз и лица чувствовалась беспредметная злоба и страдание. В эту жуткую минуту по классу, следуя за колющим взглядом Самаревича, пробежала полоса мертвящего оцепенения... Стоило двинуться, повернуться, шевельнуть ногой — как тотчас же раздавался зловеще певучий голос:

— Дежурный! Отведи его в темный карцер.

«Темного» карцера не было, никто нас туда не отводил, и мы проводили время просто где-нибудь в пустом классе. Это было очень удобно, особенно для невыучивших уроки, но пользовались этим редко: так жутко было ощущение этой минуты... Того же результата, впрочем, можно было добиться иначе: стоило раскрыть ножик и начать чистить ногти. Самаревич принимался, как тощий ветряк на порывистом ветре, махать руками, называл ученика негодяем и высылал из класса.

Уроки у него выучивали. Не потому, что знать их было интересно, а потому, что не ответить было жутко. И значит, как учитель, он был на хорошем счету. Никому, разумеется, не приходило в голову, чем, в сущности, заменял он для нас познание божьего мира. Одна-

жды, перед экзаменом по географии, мне приснился странный, теперь сказали бы «символический», сон. На каком-то огромном полу лежала бесконечная географическая карта с раскрашенными площадками, с извилистыми чертами рек, с черными кружками городов. Я глядел на нее и не мог вспомнить ни названий, ни того, какой из этих кружков знаменит лесной торговлей, а какой торгует шерстью и салом. А в середине карты — в каком-то туманном клубке, виднелась голова на тонкой извивающейся шее, и колющие глаза остро глядели на меня в ожидании ответа... Безграничные океаны с их грозами, простор и красота мира, кипучая и разнообразная деятельность людей — все это подменилось представлением о листе бумаги с пятнами, чертами и кружками...

Было в этой сухой фигуре что-то злое и трагическое. Кончил он ужасно. Из нашей гимназии он был переведен в другой город, и здесь его жена — добродушная женщина, которую роковая судьба связала с маниаком, — взяла разрешение держать ученическую квартиру. Предполагалось, что это будет ее

особое дело, но Самаревич скоро простер на него мертвящую власть кошмара. Рассказывали, что каждый вечер перед сном, во главе домочадцев, он обходил всю квартиру, заглядывал во все углы, под столы и под диваны. После этого квартира запиралась, и ключ Самаревич уносил к себе под подушку.

Однажды — это было уже в восьмидесятых годах — ночью в эту запертую крепость постучали. Вооружив домочадцев метлами и кочергами, Самаревич подошел к дверям. Снаружи продолжался стук, как оказалось... «именем закона». Когда дверь была отворена, в нее вошли жандармы и полиция. У одного из учеников произвели обыск, и ученика арестовали.

Это совершенно ошеломило Самаревича. Несколько дней он ходил с остолбенелым взглядом, а в одно утро его застали мертвым. Оказалось, что он перерезал себе горло. Жандармы показались ему страшнее бритвы...

Учитель немецкого языка, Кранц... Подвижной человек, небольшого роста, с голым лицом, лишенным растительности, сухой, точно сказочный лемур, состоящий из одних

костей и сухожилий. Казалось, этот человек сознательно стремился сначала сделать свой предмет совершенно бессмысленным, а затем все-таки добиться, чтобы ученики его одолели. Всю грамматику он ухитрился превратить в изучение окончаний,

— Леонтович, — вызывает он, нарочно коверкая фамилию и переставляя ударение. — Склоняй: *der Mensch*[16].

Леонтович встает и склоняет, произнося не слова, а только окончания: именительный: *с, ц, аш*, родительный: *э, эс*, дательный: *э, м*, винительный: *э, н...* Множественное число: *э, н...* и так далее.

Если ученик ошибался, Кранц тотчас же принимался передразнивать его, долго кривляясь и коверкая слова на все лады. Предлоги он спрашивал жестами: ткнет пальцем вниз и вытянет губы хоботом — надо отвечать: *unten*; подымет палец кверху и сделает гримасу, как будто его глаза с желтыми белками следят за полетом птицы, — *oben*. Быстро подбежит к стене и шлепнет по ней ладонью — *an...*

— Такой-то... Пусть там себе *ат* или *ят*?

Пусть бы там себе *али* или *ели*?

Ученик, по возможности быстро, должен ответить такой же тарабарщиной.

Язык Шиллера и Гете он превращал в бес-толковую смесь ничего не означающих звуков и кривляний... Шутовство это было вдобавок сухое и злобное. Ощущение было такое, как будто перед несколькими десятками детей кривляется подвижная, злая и опасная обезьяна. Может быть, для стороннего зрителя ее движения и прыжки могли бы показаться забавными. Но ученики чувствовали, что у этого прыгающего, взвизгивающего, жестикулирующего существа очень острые когти и власть... до звонка. Звонок являлся настоящим криком петуха, прогонявшим кошмарное видение...

В каждом классе у Кранца были избранники, которых он мучил особенно охотно... В первом классе таким мучеником был Колубовский, маленький карапуз, с большой головой и толстыми щеками... Входя в класс, Кранц обыкновенно корчил гримасу и начинал брезгливо водить носом. Все знали, что это значит, а Колубовский бледнел. В течение

урока эти гримасы становились все чаще, и наконец Кранц обратился к классу:

— Чем это тут пахнет, а? Кто знает, как сказать по-немецки «пахнет»? Колубовский! Ты знаешь, как по-немецки «пахнет»? А как по-немецки: «портить воздух»? А как сказать: «ленивый ученик»? А как сказать: «ленивый ученик испортил воздух в классе»? А как по-немецки «пробка»? А как сказать: «мы заткнем ленивого ученика пробкой»?.. Колубовский, ты понял? Колубовский, иди сюда, *komm her, mein lieber Kolubowski*. Ну-у!..

С шутовскими жестами он вынимал из кармана пробку. Бедный карапуз бледнел, не зная, идти ли на вызов учителя или бежать от злого шута. В первый раз, когда Кранц предал это представление, малыши невольно хохотали. Но когда это повторилось — в классе стояло угрюмое молчание. Наконец однажды Колубовский выскочил из класса почти в истерике и побежал в учительскую комнату... Но здесь вместо связного рассказа выкрикивал одни только ругательства: «Кранц подлец, дурак, сволочь, мерзавец...» Инспектор и учителя были очень удивлены этой вспыш-

кой маленького клопа. Когда дело разъяснилось из рассказов старших учеников учителям — совет поставил Кранцу на вид неуместность его шутовских водевилей.

Первое время после этого Кранц приходил в первый класс, желтый от злости, и старался не смотреть на Колубовского, не заговаривал с ним и не спрашивал уроков. Однако выдержал недолго: шутовская мания брала свое, и, не смея возобновить представление в полном виде, Кранц все-таки водил носом по воздуху, гримасничал и, вызвав Колубовского, показывал ему из-за кафедры пробку.

Радомирецкий... Добродушный старик, плохо выбритый, с птичьим горбатым носом, вечно кричащий. Средними нотами своего голоса он, кажется, никогда не пользовался, и все же его совсем не боялись. Преподавал он в высших классах год от году упраздняемую латынь, а в низших — русскую и славянскую грамматику. Казалось, что у этого человека половина внимания утратилась, и он не замечал уже многого, происходящего на его глазах... Точно у него, как у щедринского прокурора, одно око было дреманое.

— Погоновский! — выкрикивает он сердито, приступая к уроку. Класс стоворился сегодня не отвечать. Погоновский встает и говорит деловитым тоном:

— Я, господин учитель, сегодня урока не готовил.

— Столб еси, и столб получаешь. И стой столбом до конца класса!.. — грозно изрекает Радомирецкий. В журнал влетает единица. Ученик становится у стены, вытянув руки и по возможности уподобляясь столбу.

— Павловский.

— Я, господин учитель, сегодня не готовил.

— Стой столбом до конца класса. И тебе единица, азинус[17].

Азинус идет к той же стенке, плечом подвигает Погоновского дальше и вытягивается на его месте. Третий отодвигает обоих, и, таким образом, ряд «столбов» выстраивается вдоль всей стены до самых дверей. На опустевших скамьях остается десяток неспрошенных учеников, с которыми старик продолжает занятия, совершенно забыв об остальных. Между тем первый «столб» тихонько открывает дверь и выскользывает в

коридор. За ним другой, третий... Через несколько минут все уже на воле и вместо скучного урока с увлечением играют в мяч в укромном уголке сада. Польская капличка скрывает их от окон гимназического здания. Впрочем, Дитяткевич, отлично знающий эту особенность уроков Радомирецкого, порой отправляется в экспедицию и берет в плен беглецов. Тогда дверь класса отворяется, и «столбы», подгоняемые колченогим надзирателем, сконфуженно устанавливаются опять вдоль стен. Радомирецкий, подняв на лоб большие роговые очки, с удивлением смотрит на непонятное явление...

К этой коллекции я не без колебания решаюсь присоединить еще одну фигуру. Это Митрофан Александрович Андриевский, словесник. По душевному содержанию он скорее подходил бы к типу, отмеченному в начале этого очерка. В его душе теплилось свое увлечение, я сказал бы — своя вера. Все свое свободное время, все мысли и чувства он отдавал нескончаемой диссертации на тему «Слово о полку Игореве». С вечной заботой о загадочных выражениях «Слова» он ходил по улицам

сонного городка, не замечая ничего окружающего и забывая порой о цели своего выхода из дому. Если калоша увязла в грязи, он шел дальше без калоши. Однажды, на моих глазах, ветер, раздувая концы его башлыка, занес один из них в щель частокола. Бедный словесник, задержанный неожиданно в своем задумчивом шествии, остановился, постоял, попробовал двинуться дальше, но, видя, что препятствие не уступает, — спокойно размотал башлык с шеи, оставил его на заборе и с облегчением продолжал путь.

Ученики его любили с какой-то снисходительной нежностью, но предмета его совсем не учили. Объяснял он небрежно и спутанно, оживляясь лишь в случаях, когда можно было почерпнуть пример из «Слова». Диссертация его все росла, но печатать ее он не решался, пока для него оставались темными некоторые места, например: «Див кличет вьрху древа», «рыща в тропу трояню», или «трубы трубят до додутки»... Он нимало не сомневался, что читать надо «до додонтки» (с юсом). Но и «додонтки» мало поддавались объяснению... Порой он был прямо интересен, только

это редко случалось на уроках. Мы очень любили беседовать с ним, застигнув его где-нибудь на улице. Плотнo обступив Андриевского тесным кольцом, мы задавали ему вопросы и высказывали порой самые изумительные гипотезы о «диве», о «тропе трояней» и «додонтках». Если это ему надоедало, а мы его не выпускали из плена, то он наконец вынимал из кармана классную записную книжечку с карандашом, вглядывался в лица стоящих перед ним и, усмехаясь своей задумчиво-юмористической улыбкой, говорил:

— А, это Мочальский... Вот я поставлю Мочальскому на понедельник единицу.

И совершенно серьезно ставил единицу. К отметкам он относился с насмешливым пренебрежением и часто по просьбе класса переправлял классные двойки на тройки или даже четверки... Но единицы, поставленные на улице, отстаивал упорнее.

— Митрофан Александрович, — кричал класс. — Да ведь эти единицы вы поставили на улице...

— А-а, — усмехался Андриевский. — На улице?.. Так что же, что на улице. Познания

не всегда обнаруживаются даже в классе. А невежество проявляется на всяком месте... Что он тогда говорил о «диве». А?

— Он, Митрофан Александрович, Курской губернии.

— Ну так что же?

— Куряне, Митрофан Александрович, сведоми кмети.

— Шеломами повиты, концем копия вскормлены, — дружно подхватывает класс. Лицо Андриевского расцветает...

— А-а-а, — произносит он с выражением радостного довольства, и единица зачеркивается.

Из-за его рассеянной улыбки светилась детская душа и, может быть, незаурядный ум, от одиночества и окружающей пустоты ушедший в непроходимые дебри «Слова». Он прошел перед нами со своим невинным маниачеством, не оставив глубокого следа, но ни разу также не возбудив ни в ком ни одного дурного или враждебного движения души... В его задумчивой улыбке сквозил тихий юмор, на уроках иногда слетало меткое суждение или слово, но о «теории словесности» даже в луч-

ших учениках он не успел поселить никакого представления...

Разумеется, кроме маниаков, вроде Лотоцкого или Самаревича, в педагогическом хоре, настраивавшем наши умы и души, были также голоса среднего регистра, тянувшие свои партитуры более или менее прилично. И эти, конечно, делали главную работу: добросовестно и настойчиво перекачивали фактические сведения из учебников в наши головы. Не более, но и не менее... Своего рода живые педагогические фонографы...

Впереди всех из этой категории стоит в моей памяти характерная фигура Степана Ивановича Тысса. Это был человек с очень некрасивым, но умным лицом, которое портили большие зубы, а украшали глубокие карие глаза. Одевался он всегда безукоризненно, даже щегольски, держался с достоинством, преподавал ровно, без увлечения, но толково, спрашивал строго, отметки ставил справедливо. Его уважали, учились у него порядочно, и именно ему я обязан тем, что решение задач мне перестало казаться непостижимым волшебством. В его сдержанном достоинстве

было что-то привлекательное, и в нас зарождалось, пожалуй, некоторое влечение к этому серьезному человеку, но оно отражалось его холодной замкнутостью. К нам и к своему предмету он относился с одинаковой корректностью. Предмет был предмет, один и тот же из году в год, а мы были разные степени его усвоения. Ни в нас, ни в предмете не было ничего, что осветило бы жизнь в глухом городишке, среди стоячих прудов. Говорили, будто главная доля его души была поглощена любовью некрасивого человека к красавице жене и муками сдержанной ревности. Быть может, поэтому он выделялся щегольством одежды и на разные лады отпускал красивую каштановую бороду. Эти наблюдения давали нам мало поучительного, а мы, в свою очередь, мало давали ему. Тыссу приписывали, между прочим, горький афоризм, в который он заключил свой учительский опыт.

— Мы, — говорил он, — три года мучимся, три года учимся, три года учим, три года мучим, а там — хоть к черту...

Я его знал еще в годы перелома. Он учил еще довольно серьезно и не мучил, но уже на-

чинал опускаться и запивать...

За ним встают в памяти различные, менее характерные фигуры того же среднего регистра. Общими усилиями, с большим или меньшим успехом они гнали нас по программам, давая умам, что полагалось по штату. Дело, конечно, полезное. Только... это умственное питание производилось приблизительно так, как откармливают в клетках гусей, насильственно проталкивая постылую пищу, которую бедная птица отказывается принимать в требуемом количестве по собственному побуждению.

А та нежная, тонкая, живая нить, которая связывает процесс учения с вечным стремлением к знанию, освещает его, подымает, живит, — молчала или затрагивалась редко, случайно... Оригинальные фигуры, со своим собственным содержанием, были не ко двору в казенном строе, требовавшем догматического единства. Сильные — уходили, слабые — уживались, и жизнь в сонном городке вокруг мертвого замка брала свое. Сначала мечты о диссертации, о переводе в другое место, потом женитьба, сладость сонной истомы, кар-

ты в клубе, прогулки за шлагбаумом, сплетни, посещения погребка Вайнтрауба, откуда учителя выходят обнявшись, не совсем твердыми шагами, или — маленького домика за грабником, где порой наставники встречаются с питомцами из старших классов...

Один из лучших учителей, каких я только знал, Авдиев (о котором я скажу дальше), — в начале своего второго учебного года на первом уроке обратился к классу с шутливым предложением:

— Нет ли, господа, у кого-нибудь записок моего прошлогоднего первого урока? Есть? Отлично. Прозкзаменуйте меня, пожалуйста: я буду говорить, а вы отмечайте фразы, которые я повторю по-прошлогоднему.

Он стал ходить по классу, импровизируя вступление к словесности, а мы следили по запискам. Нам пришлось то и дело останавливать его, так как он сбивался с конспекта и иначе строил свою речь. Только, кажется, раз кто-то поймал повторенное выражение.

— Ну, это еще ничего, — сказал он весело. И затем, вздохнув, прибавил — Лет через десять буду жарить слово в слово. Ах, господа,

господа! Вы вот смеетесь над нами и не понимаете, какая это, в сущности, трагедия. Сначала все так живо! Сам еще учишься, ищешь новой мысли, яркого выражения... А там год за годом — застываешь, отливаешься в форму...

Застывает учитель и превращается в лучшем случае в фонограф, средним голосом и с средним успехом перекачивающий сведения из учебников в головы... Но наиболее ярко выделяются в общем хоре скрипучие фальцеты и душевные диссонансы маниаков, уже вконец заклеванных желто-красным попугаем.

Кто учтет влияние этой роковой автоматической птицы на жизнь и судьбы поколений, проходящих строй за строем через наши средние школы.....

Директора у нас сменялись довольно часто. Инспектором долго был Степан Яковлевич Руцевич, назначенный впоследствии директором.

Это была тоже характерная, почти символическая фигура. Огромный, грузный, в широком мундире и широчайших брюках — это был какой-то чиновничий массив, с лицом,

точно вырубленным из дуба и обрамленным двумя седоватыми чиновничьими бакенбардами. Голос у него был тоже огромный, грузный, и на всех этих количественных преимуществах покоился его педагогический авторитет.

Провинившегося ученика он призывал обыкновенно в инспекторскую. Все пространство от порога до стола нужно было пройти под его тяжелым, гипнотизирующим взглядом, который как будто обволакивал жертву чем-то подавляющим, густым и тягучим. Ноги прилипают к полу. Кажется преступлением идти свободно, и еще большим преступлением — остановиться. Глаза невольно потупляются, и все же чувствуешь где-то близко над собой огромное лицо почти без выражения, большие тускло-серые глаза и два седоватых бакенбарда. Ощущение чего-то физически подавляющего, неосмысленного, но властного. Минута, жуткого молчания... Вопрос густым басом... Робкий отрицательный ответ...

И вдруг гигант подымается во весь рост, а в высоте бурно проносится ураган крика. По

большей части Руцевич выкрикивал при этом две-три незначащих фразы, весь эффект которых был в этом подавляющем росте и громовых раскатах. Всего страшнее было это первое мгновение: ощущение было такое, как будто стоишь под разваливающейся скалой. Хотелось невольно — поднять руки над головой, исчезнуть, стусеваться, провалиться сквозь землю. В карцер после этого мы устремлялись с радостью, как в приют избавления...

Впоследствии, в старших классах, когда физическая противоположность между учеником и директором сглаживалась, — терялось и устрашающее обаяние Руцевича. В сущности, как я убедился впоследствии, это был человек не злой, скорее добрый. Во всяком случае, лучше среднего директора последующего времени уже потому, что тогда «внутренняя политика» с ее тайными аттестациями и подлым политическим сыском еще в такой степени не заполняла школу... Он только совсем не был педагогом, и подавляющая массивность была единственным его ресурсом в борьбе за порядок и дисциплину.

Мелкая непрерывная партизанская война составляла основной тон школьной жизни.

Уже с раннего зимнего утра, когда в сыроватых сумерках сонно жмурились и расплывались огоньки, из длинного двухэтажного здания появлялась колченогая фигура и, оглянувшись по сторонам, ныряла в сумрак. Дитяткевич был неутомимый охотник...

К семи часам ученики, жившие на общих квартирах, должны были сидеть за столами и готовить уроки. Исполнялось это редко, и главная прелесть незаконного утреннего сна состояла именно в сознании, что где-то, в тумане, пробираясь по деревянным кладочкам и проваливаясь с калошами в грязь, крадется ищайка Дидонус и, быть может, в эту самую минуту уже заглядывает с улицы в окно... Грязь, слякоть, дождь, зимняя метель и вьюга — ничто не останавливало неутомимого сыщика. Наоборот, в ненастье преступный сон налегает на учеников с особенной силой, и в то же время их легче застигнуть... Если, заглянув в комнату снаружи, он видел квартиру в полном порядке, то уходил разочарованный, как охотник, давший промах. В про-

тивном случае — он внезапно появлялся в дверях, веселый, с сияющими глазами, и ласковым, довольным тоном требовал «квартирный журнал». Если где-нибудь неподалеку он замечал в темноте огромную фигуру Рущевица, то охотно делал для него стойку, наводя на неисправные квартиры... Степан Яковлевич входил с торжественной мрачностью и, подобно темному обелиску, становился над постелью сонливца... До сих пор еще живо помню минуты жуткого пробуждения под его упорно-тяжелым взглядом...

Когда ученики уходили в гимназию, Дитяткевич приходил в пустые квартиры, рылся в сундуках, конфисковал портсигары и обо всем найденном записывал в журнал. Курение, «неразрешенные книги» (Писарев, Добролюбов, Некрасов — о «нелегальщине» мы тогда и не слыхали), купанье в неразрешенном месте, катанье на лодках, гулянье после семи часов вечера — все это входило в кодекс гимназических проступков. В их классификации чувствовался отчасти тот же маниакальный автоматизм: вопрос сводился не к безнравственности поступка, а к трудности педа-

гогической охоты. В городе и кругом города было много прудов и речек, но катанье на лодке было воспрещено, а для купанья была отведена лужа, где мочили лен. Разумеется, ученики катались в лодках и купались в речках или под мельничными шлюзами с их брызгами и шумом... Нередко в самый разгар купанья, когда мы беспечно ныряли в речушке, около «исправницкой купальни», над обрезаем горы, из высокой ржи показывалась вдруг синяя фуражка, и ковыляющая фигурка Дидонуса быстро спускалась по тропинке. Мы хватали одежду и кидались в камыши, как беглецы во время татарских нашествий. Колченогий надзиратель бегал, как наседка, по берегу, называл наугад имена, уверял, что он всех знает, и требовал сдачи в плен. Мы стояли в камышах, посиневшие от холода, но сдавались редко... Если надзирателю удавалось захватить платье купальщиков, то приходилось одеваться и следовать за ним к инспектору, а оттуда — в карцер... И всегда наказание соответствовало не тяжести вины, в сущности явно небольшой, а количеству усилий, затраченных на поимку...

С семи часов вечера выходить из квартир тоже воспрещалось, и с закатом солнца маленький городишко с его улицами и переулками превращался для учеников в ряд засад, западней, внезапных нападений и более или менее искусных отступлений. Особенную опасность представлял узенький переулочек, соединявший две параллельных улицы: Гимназическую и Тополевою. Темными осенними вечерами очень легко было внезапно наткнуться на Дидонуса, а порой, что еще хуже, — «сам инспектор», слышав крадущиеся шаги, прижимался спиной к забору и... внезапно наводил на близком расстоянии потайной фонарь... Это были потрясающие моменты, о которых наутро рассказывали в классах...

Впрочем, я с благодарностью вспоминаю об этих своеобразных состязаниях. Гимназия не умела сделать интересными преподавания, она не пыталась и не умела использовать тот избыток нервной силы и молодого темперамента, который не поглощался зубристикой и механическим посещением неинтересных классов... Можно было совершенно за-

стыть от скуки или обратиться в автоматический зубрильный аппарат (что со многими и случилось), если бы в монотонную жизнь не врывались эпизоды этого своеобразного спорта.

Но с особенной признательностью я вспоминаю широкие пруды с их зарастающей водяной гладью и тихо сочащимися от пруда к пруду речушками. Летом мы, точно пираты, плавали по ним в лодках, стараясь быстро пересечь открытые места, нырнуть в камыши, притаиться под мостами, по которым грузной походкой проходил инспектор или ковылял Дитяткевич... С осени, когда пруды начинали покрываться пленкой, мы с нетерпением следили за их замерзанием... До сих пор еще в моих ушах стоит переливчатый стеклянный звон от камней, бросаемых с берега по тонкому льду... Лед становится крепче, на нем уже стоят лебеди, которых скоро уберут на зиму, потом мы с братом привязываем коньки и, с опасностью провалиться или попасть в карцер, пробуем кататься. Через неделю после наших опытов с берега на пруд торжественно спускается Степан Яковлевич, сторож Саве-

лий пробует лед пешней, и наконец официально разрешается катанье. Каждый день после обеда на пруду вьются сотни юрких мальчишек, сбегаясь, разбегаясь, падая среди веселой суетни, хохота, криков. Между мелюзгой, точно осетры в стае мелкой рыбешки, неуклюже качаются на коньках учителя. Вот огромный Петров, точно падающая башня, вот даже Лемпи, без коньков, весь красный от мороза, рассказывает, как они бегали на коньках в школе Песталоцци. Немец Глюк, заменивший Кранца, долго не мог выучиться даже стоять на коньках и заказал себе коньки с двойными полосками. Стоять на них удобно, но поворачиваться трудно. Крепкий ветер подхватывает его небольшую фигурку в широкой шубе и мчит по гладкому, как зеркало, льду прямо к речке. Мы кричим ему, что на речке опасно; бедный немец размахивает руками, шуба его распахивается, как парус... Через минуту он на черном непрочном льду, который трещит и проваливается. Глюк ухает в воде, к счастью не на глубоком месте. Малыши связывают башлыки, выстраиваются в ряд, самый легкий подбегает к речке и кидает

башлык. Затем по команде вся вереница с пением и криками «ура» выволакивает мокрого Глюка на крепкое место.

В особенно погожие дни являются горожане и горожанки. Порой приходит с сестрой и матерью *она*, кумир многих сердец, усиленно бьющихся под серыми шинелями. В том числе — увы! — и моего бедного современника... Ей взапуски подают кресло. Счастливейший выхватывает кресло из толпы соперников... Усиленный бег, визг полозьев, морозный ветер с легким запахом духов, а впереди головка, уткнувшаяся в муфту от мороза и от страха... Огромный пруд кажется таким маленьким и тесным... Вот уже берег...

Темнеет... Два сторожа, надзиратель и инспектор обходят пруд кругом, стоня запоздавших с катка. Лед пустеет... Из-за широких камышей подымается луна, трогая холодным светом края старого дворца; белая гладь сверкает, порой трескается и стонет... На ней продолжают виться пять-шесть темных фигур... На берегу, на лестнице инспекторского дома, рядом с гимназией, появляется высокая черная тень. Это Степан Яковлевич следит за

преступными катальщиками. От гимназии спускается несколько темных силуэтов: будет облава. Дитяткевич уже, быть может, заходит с другой стороны, от острова... Но лунный свет обманчив — узнать, кто катается, нельзя... Мы даем преследователям время подойти ближе, почти окружить себя. Но затем быстро бежим к опасным местам... Лед звенит все тоньше, под ногами переливчато плещет подгибающаяся ледяная пленка, близко чернеют полыньи... Ж-ж-жи... Один за другим, держась на расстоянии, беглецы пробегают по опасной речке на другой пруд... Преследователи останавливаются, совещаются и чаще всего отступают... Фигуры преследователей расплываются в морозной мгле... И опять на гладком пруду слышен легкий визг железа по льду, и продолжается молчаливое кружение на лунном свете.

Из первых учеников я давно спустился к середине и нахожу это наиболее для себя подходящим: честолюбие меня не мучит, тройки не огорчают... А зато на пруду в эти лунные ночи грудь дышит так полно, и под свободные движения так хорошо работает вообра-

жение... Луна подымается, заглядывает в пустые окна мертвого замка, выхватывает золотой карниз, приводит в таинственное осторожное движение какие-то неясные тени... Что-то шевелится, что-то дышит, что-то оживает...

И потом спится так крепко, несмотря на то что уроки совсем не готовы...

Теперь, когда я вспоминаю первые два-три года своего учения в ровенской гимназии и спрашиваю себя, что там было в то время наиболее светлого и здорового, — то ответ у меня один: толпа товарищей, интересная война с начальством и — пруды, пруды...

XXI. Религия дома и в школе

Это было еще в Житомире. Я еще не поступил в гимназию, когда однажды в нашем доме появился старик с толстыми, совершенно белыми усами и бритым подбородком, в серой военной шинели. Он был женат на старшей сестре моей матери, фамилия его была Курцевич, а имя Казимир, но звали его обыкновенно просто капитаном. Он был поляк и католик, но служил сначала в русской военной службе, а затем по лесному ведом-

ству, откуда и вышел в отставку «корпуса лесничих штабс-капитаном, с мундиром и пенсией». Мундир был военного образца с белыми эполетами, с короткой талией и короткими полами, так что капитан напоминал в нем долговязого гимназиста, выросшего из прошлогоднего мундира. А над тугим воротником с позументами, затянутое и налитое кровью, виднелось старое лицо с белыми, как молоко, усами.

В день его приезда, после обеда, когда отец с трубкой лег на свою постель, капитан в ту-журке пришел к нему и стал рассказывать о своей поездке в Петербург. В то время поездка в столицу из глухой провинции была не шутка, а капитан был превосходный рассказчик. Собственный интерес к рассказу есть главный шанс успеха у слушателей; а капитан всегда был переполнен одушевлением. И теперь, пока отец лежал, попыхивая трубкой, капитан ходил по комнате, останавливался, жестикулировал, увлекался и увлекал. Он ехал через Вильно. Там на воротах до сих пор висит герб «литовская погоня». Всем это казалось удивительным, потому что у нас за эту

«эмблему» сажали в кутузку. Затем он описывал железную дорогу (по которой отец мой не ездил ни разу в жизни). В столице он осмотрел все, что стоило осмотра. Был в Эрмитаже и видел там изображение божьей матери.

— Понимаешь, — слеза на щеке!., живая!

Но самое большое впечатление произвело на него обозрение Пулковской обсерватории. Он купил и себе ручной телескоп, но это совсем не то. В пулковскую трубу «как на ладони видно: горы, пропасти, овраги... Одним словом — целый мир, как наша земля. Так и ждешь, что вот-вот поедет мужик с телегой... А кажется маленькой потому, что, понимаешь, тысячи, десятки тысяч... Нет, что я говорю: миллионы миллионов миль отделяют от луны нашу землю».

Он останавливался посередине комнаты и подымал кверху руки, раскидывая ими, чтоб выразить необъятность пространств. В дверях кабинета стояли мать и тетки, привлеченные громким пафосом рассказчика. Мы с братьями забрались в уголок кабинета и слушали, затаив дыхание... Когда капитан взмахивал руками высоко к потолку, то казалось,

что самый потолок раздвигается и руки капитана уходят в безграничные пространства.

Потом он круто оборвал жестикуляцию и сказал:

— И знаешь, что я тебе скажу: когда человек повидает все то, что я видел, и поговорит с умными людьми, то... Ну, одним словом, человек многому перестает верить так слепо, как прежде...

— Например? — спросил отец.

— Например? Ну хорошо: вот Иисус Навин сказал: стой, солнце, и не двигись, луна... Но ведь мы теперь со всеми этими трубами и прочей, понимаешь, наукой хорошо знаем, что не солнце вертится вокруг земли, а земля вокруг солнца...

— Так что же?

— Как что? Значит, солнце не могло остановиться по слову Иисуса Навина... Оно стояло и прежде... А если земля все-таки продолжала вертеться, то, понимаешь, — никакого толку и не вышло бы...

Отец засмеялся и сказал:

— Толкуй больной с подлекарем! Иисус Навин не знал астрономии, вот и все.

— То-то, что не знал... Я что же говорю? Не знал, а распоряжался мирами...

— Распоряжался не он, а бог. А бог знал, что и как надо остановить...

Капитан скептически помотал головой...

— Остановить... такую махину! Никогда не поверю! И опять, поднявшись во весь рост — седой, крупный,

внушительный, — он стал словами, голосом, жестами изображать необъятность вселенной. Увлекаясь, он шаг за шагом подвигал свой скептицизм много дальше Иисуса Навина и его маленьких столкновений с амалеки-тянами.

— Говорится в Писании: небеса подножие ног его... Посмотришь в эти трубы, на это небо... Тут тебе луна с горами, вулканами, пропастями... Сатурн, обтянутый огненными обручами. Венеры эти, Марсы, Юпитеры, понимаешь, звезды, планеты... все миры, больше нашей земли... Без конца, без краю. И все в постоянном круговращении естества. А! Толкуй ты мне о подножии. Где тут верх, где низ? Я вот стою, задравши голову кверху... А подо мною, в какой-нибудь там Америке, что ли,

стоит антипод подошвами ко мне, а головой, значит, книзу? Так? И тоже думает, что смотрит кверху... Одним словом, когда все это узнаешь и представишь себе ясно, то прямо, скажу тебе, чувствуешь, как все это в тебе поворачивается, по-во-ра-чи-вается...

И опять, подняв руки кверху, капитан, казалось, поворачивал вселенную около какой-то оси, а мы с некоторым страхом следили снизу вверх за этой опасной операцией...

— Ах, Казимир, Казимир! — сказала укоризненным тоном мать. — Сколько людей ездят в столицы и даже живут там, а в бога все-таки верят. А вы раз только съездили и уже говорите такие глупости.

— А еще старый человек, — прибавила с негодованием тетка.

— Ха! В бога... — отозвался на это капитан. — Про бога я еще ничего не говорю... Я только говорю, что в Писании есть много такого... Да вот, не верите — спросите у него (капитан указал на отца, с легкой усмешкой слушавшего спор): правду я говорю про этого антипода?..

Я посмотрел на отца, ожидая, что он уста-

новит опрокидывающийся мир на прежнее место, но он кивнул головой и сказал:

— Правда...

И потом, пыхнув раза два трубкой, прибавил:

— И все это ничего не значит. У каждого верх над своей головой, а низ — в центре земли... А бог везде — вверху, и внизу, и по сторонам. Значит, всюду и можно к нему обращаться. Слушай, Казимир. Был ты этот раз у Яна?

— Был, — ответил Казимир.

— Ну что, как живет?

— Ничего, живет... Просился на место тюремного смотрителя.

— Ну и что же?

— Губернатор посмотрели говорит: «Да, настоящий тюремщик!» А что будет, еще неизвестно.

— Ну а мертвецы его оставили в покое?

— А! Где там оставили! Еще хуже стало.

И капитан перевел свое одушевление на другие рельсы. Ян Курцевич был его родственник, военный, служивший на Кавказе. Там он участвовал в набегах, попадал в плен,

был, кажется, контужен, вышел в отставку и, вернувшись на родину, привез массу самых удивительных рассказов. Одного из его товарищей черкесы якобы распяли на стенах сакли, и молодежь долго упражнялась над ним в стрельбе из пистолетов и луков. Сам Ян успевал всякий раз спастись, порой не без вмешательства таинственных сил. По возвращении на родину его тоже сопровождали злые духи: в его квартире все предметы — столы, стулья, подсвечники, горшки и бутылки — жили своей собственной жизнью, передвигались, стучали, летали из угла в угол. По ночам в темных комнатах раздавались стуки, шепоты, шорохи, вздохи и стоны. Невидимые руки тянулись из темноты и, точно бархатом, проводили по лицу; кто-то черный, лохматый и мягкий раз обнял его в коридоре за талию...

— И как же он видел в темноте, что этот кто-то черный? — спросил с улыбкой отец.

— Вот в том-то, понимаешь, и штука, — ответил капитан просто, — темно, хоть глаз выколи, а он видит, что лохматый и черный... А зажег спичку — нигде никого... все тихо. Раз насыпал на полу золы... Наутро остались сле-

ды, как от большой птицы... А вот недавно...

Последовал рассказ о какой-то белой «душе», которая являлась в новую квартиру Яна с соседнего кладбища. «Что тебе надо от меня, несчастная блуждающая душа?» — спросил Ян. Она застонала и тихо двинулась из комнаты. Ян наскоро натянул сапоги, накинул черкеску, взял пистолеты и, позвав слугу, тоже бывшего кавказца, пошел вслед за фигурой. Прошли пустырь, подошли к кладбищу. Денщик струсил и остался у ограды, Ян пошел. «Душа» туманным столбом подлетела к могиле, постояла над ней, колеблясь, как дым, потом свернулась спирально, как змея, и с глухим стоном ушла в могилу. А под Яном заколыхалась земля, какой-то вихрь подхватил его, и он очутился сразу в своей постели и даже раздетый...

— А денщик? — спросил отец.

— Спит, понимаешь, как убитый. Едва добудился... И ничего не помнит.

— Почему же ты думаешь, что это все твоему Яну не приснилось?

— А! Приснилось! Сапоги оказались мокрые от росы!..

Отец засмеялся.

— Чудак ты, Казимир! — сказал он. — Я тебя нарочно спросил о Яне. Сомневаешься в боге, а бабьим сказкам веришь...

— Э! не говори! Есть что-то, понимаешь, в природе такое... Я не говорю, что непременно там нечистая сила или что-нибудь такое сверхъестественное... Может быть, магнетизм... Когда-нибудь наука дойдет...

— Магнетизм тебе будет стонать? — иронически заметил отец.

Эта ночь у нас прошла тревожно: старший брат, проснувшись, увидел, что к нему тянутся черные бархатные руки, и закричал... Я тоже спал плохо и просыпался в поту от бессвязных сновидений...

На следующий вечер старший брат, проходя через темную гостиную, вдруг закричал и со всех ног кинулся в кабинет отца. В гостиной он увидел высокую белую фигуру, как та «душа», о которой рассказывал капитан. Отец велел нам идти за ним... Мы подошли к порогу и заглянули в гостиную. Слабый отблеск света падал на пол и терялся в темноте. У левой стены стояло что-то высокое, белое, дей-

ствительно похожее на фигуру.

— Ступай посмотри, что это такое? — сказал отец старшему брату... Тот двинулся было в темноту, но вдруг со всех ног кинулся в дверь, растолкал нас и исчез.

— Дурак! — сказал отец с досадой. — Ну, идите вы вдвоем... Марш.

С замирающими сердцами мы двинулись, подгоняемые приказами отца. С содроганием, оба вместе, дотронулись мы до загадочной фигуры... Оказалась гладильная доска, забытая прислугой в необычном месте.

— Вот видите, — сказал отец, — так всегда кончаются эти страхи, если их не бояться.

Вообще, очень религиозный, отец совсем не был суеверен. Бог все видит, все знает, все устроил. На земле действуют его ясные и твердые законы. Глупо не верить в бога и глупо верить в сны, в нечистую силу, во всякие страхи.

От капитана и его рассказов осталось у нас после этого смешанное впечатление: рассказы были занимательны. Но он не верит в бога, а верит в нечистую силу, которая называется магнетизм и бегаёт на птичьих лапах.

Это смешно.

Около этого же времени я узнал еще одного неверующего. Брат моей матери женился, был страстно влюблен в свою молоденькую жену и безумно счастлив. Он очень любил меня и взял к себе в свой медовый месяц. Я жил у них, плохо понимая значение того, что свершалось в жизни моего дяди, но впитывая бессознательно атмосферу счастья и какой-то светлой, озаренной ласки, которая струилась и на меня в маленькой квартире, точно из золотого тумана. Так было, пока на нашем горизонте не появилось новое лицо. Это был брат моей новой тетки, студент Киевского университета. У него было белое лицо, черные волосы и выхоленные маленькие баки. Он не любил детей и раз, не стесняясь моим присутствием, сказал, что уж лучше бы завести собачонку. Тетка укоризненно указала ему глазами на меня.

— Что он понимает, этот малыш, — сказал он с пренебрежением. Я в это время, сидя рядом с теткой, сосредоточенно пил из блюдечка чай и думал про себя, что я все понимаю не хуже его, что он вообще противный, а баки у

него точно прилеплены к щекам. Вскоре я узнал, что этот неприятный мне «дядя» в Киеве резал лягушек и трупы, не нашел души и не верит «ни в бога, ни в черта».

Во всяком случае, обе фигуры «неверующих» подействовали на мое воображение. Фигура капитана была занимательна и красочна, фигура будущего медика — суха и неприятна. Оба не верят. Один потому, что смотрел в трубу, другой потому, что режет лягушек и трупы... Обе причины казались мне недостаточными.

И вот в связи с этим мне вспоминается очень определенное и яркое настроение. Я стою на дворе без дела и без цели. В руках у меня ничего нет. Я без шапки. Стоять на солнце несколько неприятно... Но я совершенно поглощен мыслью. Я думаю, что, когда стану большим, сделаюсь ученым или доктором, побываю в столицах, то все же никогда, никогда не перестану верить в то, во что так хорошо верит мой отец, моя мать и я сам.

Это было что-то вроде обета. Я обзирал весь известный мне мирок. Он был невелик, и мне было нетрудно распределить в нем ис-

тину и заблуждение. Вера — это разумное, спокойное настроение отца. Неверие или смешно, как у капитана, или сухо и неприятно, как у молодого медика. О сомнениях, которое остановить труднее, чем было Иисусу Навину остановить движение миров, — я не имел тогда ни малейшего понятия. В моем мире оно не занимало никакого места.

Эта минута *полной уверенности* осталась навсегда ярко освещенным островком моей душевной жизни. Многие, что этому предшествовало и что следовало за этим, затянулось глубокими туманами. А островок стоит, далекий, но яркий...

В церковь я ходил охотно, только попросил позволения посещать не собор, где ученики стоят рядами под надзором начальства, а ближнюю церковь св. Пантелеймона. Тут, стоя невдалеке от отца, я старался уловить настоящее молитвенное настроение, и это удавалось чаще, чем где бы то ни было впоследствии. Я следил за литургией по маленькому требнику. Молитвенный шелест толпы подхватывал и меня, какое-то широкое общее настроение уносило, баюкая, как плавная ре-

ка. И я не замечал времени...

В таком настроении я перешел и в ровенскую гимназию. Здесь, на перэом же уроке закона божия, священник отец Крюковский вызвал меня к кафедре и заставил читать молитвы. Читая «Отче наш», я ошибся в ударении и, вместо «на небесѣх», сказал «на небёсех».

Лицо у священника сделалось язвительное и злое.

— На-а не-беё-сех, — передразнил он неприятно дребезжащим голосом... — На небёсех?.. Вот как тебя научили! Матка полёчка? А?

Кровь бросилась мне в голову. Я потупился и перестал отвечать... В моей груди столпились и клокотали бесформенные чувства, но я не умел их выразить и, может быть, расплакался бы или выбежал из класса, но меня подержало сознание, что за мной — сочувствие товарищей. Не добившись продолжения молитвы, священник отпустил меня на место. Когда я сел, мой сосед Кроль сказал:

— Всегда он так, проклятый попище. У меня тоже отец лютеранин.

Идя домой, я всю дорогу бормотал про себя разные гневные слова, которые *должен был* найти тогда же, и не мог себе простить, что не нашел их вовремя...

Фигура священника Крюковского была по своему характерная и интересная. Однажды, уже в высших классах, один из моих товарищей, Володкевич, добрый малый, любивший иногда поговорить о высоких материях, сказал мне с глубокомысленным видом:

— Знаешь, что я слышал о Крюковском? Он был в академии, но не кончил... Исключили... Вольтерианец...

— Пустяки, наверное, — усомнился я.

— Нет, не пустяки. Он написал диссертацию: «Мыслит ли бог?..»

— Ну так что же?

— Ты не понимаешь... Это о-чень, о-чень...

Что очень — он так и не закончил, но это неопределенное сведение почему-то присоединилось тотчас же к моему представлению о личности законоучителя. Это был человек довольно некрасивый. Суховатое нездоровое лицо, жидкие прямые волосы, редкие усы и бородка, маленькие умные глаза... Когда ему

иной раз ставили на кафедре чернильницу в виде женского башмачка, он делал гримасу отвращения и, отвернув лицо, обеими руками как бы отстранял от себя искушение. Он не был ни зол, ни придирчив, и впоследствии у меня не было с ним столкновений. Но вместе с тем ни разу за все время в его голосе не дрогнула ни одна нота, в которой бы послышалось внутреннее чувство, живая вера. Вместо этого была всегда наготове искусная, суховатая и глубоко безразличная эрудиция. Кроме того, он был ярый обруситель, воевавший с «римскими» крестами на раздорожьях, с «неправославными» иконами в убогих храмах, с крещением посредством обливания и с католическими именами, которые в простоте сердечной давало детям «ополяченное» волынское духовенство. Так, в нашем классе оказался православный ученик Шпановский, в метрике которого стояло имя Конрад. Законоучитель переменял это имя в списке и, отказав в наказание даже в Кондратии, велел именоваться Кондратом.

— Шпановский, — вызывал он его в классе. — Как твое имя?

И юноша, потупясь, коверкал привычное имя на имя Кондрата.

В здании гимназии была своя церковь, и за посещениями ее следили очень строго. Рано утром мы обязаны были собираться, все православные, в одном большом классе. Сюда являлся надзиратель или инспектор и делал перекличку. После переклички — перемена в пять минут, причем надзиратели строго следили, чтобы кто-нибудь не стрекнул домой. Затем нас вели в церковь. Самые маленькие выстраивались впереди. У каждого класса, точно взводный у взвода, становился «старший». В стороне, как ротные, стояли надзиратели, искоса следя за порядком. Сзади, как сторожевая башня, высилась фигура Степана Яковлевича. Сам он молился только урывками, и тогда массивное лицо его смягчалось. Но по большей части он внимательно обзирал наши ряды. Следили также надзиратели, и от этого порой я испытывал такое ощущение, как будто спереди, сзади, с боков я пронизан невидимыми нитями, а сзади прямо в спину упирается тяжелый взгляд Руцевича... И длинная служба превращалась в томитель-

ное путешествие по знойной пустыне, с оазами знакомых возгласов, подвигающих к концу...

...Резкий лязг металлических колец, сдвигаемых по проволоке. Царские двери закрыты, задернута завеса... По рядам шорох, легкое движение разбивает оцепенелое забытьё. Слава богу, половина отошла. Хорошо сложенный хор затягивает херувимскую.

Опять забытьё, с вереницей бессвязных мыслей и нытьем в ногах... И новый шорох. Регент ударяет камертоном о перила, подымает его, взмахивает, и хор точно пускается вплавь с знакомым мотивом:

— О-о-от-че на-а-аш... Иже еси на небеси-ий... — Опять неопределенный туман, звяканье кадила, клубы дыма, возгласы, не отмечаемые памятью, вереница вялых мыслей в голове...

— До-стой-но есть яко во-истину... — Мотив оживленный, как будто радость: «две трети», — пробегает в умах учеников...

Таково было «общение с богом» огромного большинства обязательных молеельщиков.

Один только момент из этих служб до сих

пор вспоминается мне, обвешанный какой-то особенной, трогательно-молитвенной поэзией. Это — пение «Свете тихий» за вечерней (которая служилась вместе с заутреней), особенно поздней весной или ранней осенью. Солнце закатывается, бросая последние лучи на высокие тополи острова за прудом... В открытые окна из церкви синими струйками тянется ароматный дым, в углах и над алтарем ютятся мечтательные тени, огни свечей выступают ярче, фигура Христа из синеватой мглы простирает поднятые руки, и тихое пение хора несется, стройно колыхаясь в прощальных лучах затихающего дня... «Свете тихий святых славы бессмертного отца небесного...»

День заметно уходит... Спускается тихая, свежая ночь... И кто-то добрый и ласковый говорит о том, что... через несколько минут конец долгого стояния...

После обедни нас не отпускали домой, а опять гнали в тот же класс. Предстояло объяснение Евангелия. Опять пятиминутная перемена, звонок. Успевший переодеться в церкви законоучитель входит на кафедру. Первый

вопрос его будет:

— Какой сегодня читался апостол? Какое Евангелие?

И — замечательное явление, которое, наверное, помнят мои товарищи: сотни полторы человек, только что выйдя из церкви, зная, что этот вопрос им будет предложен одному за другим, — по большей части не могли вспомнить ни Евангелия, ни апостола. Точно за порогом церкви кто-то неслышным ударом выкидывал из головы все, что читалось и пелось в эти два часа. Спрошенный беспомощно оглядывается, толкает товарища локтями, пинается ногами под партой, по огромному классу бежит из конца в конец шепот, вопросы... И один за другим вызванные молчат или говорят несообразности. Священник сердится, язвит, грозит двойками.

Единственное спасение в этих случаях — предложить на разрешение отца протоиерея какой-нибудь «недоуменный вопрос», небольшое, приличное религиозное сомнение... Отец протоиерей начитан и любит разрешать внеочередные вопросы. Говорит он умно, гладко, красиво пользуется текстами. К уче-

нику, доставившему ему случай для такой беседы, относится с благорасположением и ставит хорошую отметку в четверти...

Но это почва очень скользкая. Вопрос должен быть чисто формальный, поддающийся эрудиции. Храни бог от намека на действительное, живое и болящее сомнение. Опасно также задеть обрусительную или духовно-чиновничью струнку... Лицо протоиерея делается неприятным, и он долго не забудет неосторожному вопрошателю...

Чаще всего выступал с вопросами Гаврило Жданов, мой приятель, красивый малоросс, с простодушными глазами навывкате и курчавыми, иссиня-черными кудрями. В церкви он читает апостола. У него приятная, небольшая, но свежая октава, которой он гордится и соперничает с диаконом. У диакона глубокий, когда-то сильный, но давно пропитой бас. Он знает о соперничестве Гаврилы и презирует его, лоя и подчеркивая всякий срыв на высоких конечных нотах. Гаврило, в свою очередь, постоянно передразнивает его в коридорах... Это вошло у него в привычку настолько, что однажды, выйдя к солее с апостолом и откаш-

лявшись, он вместо очередного апостола зата-
нул «диакономским басом»:

— О-бт Лу-уки святого Евангелия... Во вре-
мя оно...

И вдруг остановился, оглядываясь кругом
выпученными глазами. Лохматая голова диа-
кона повернулась к нему с выражением дья-
вольского злорадства, а из алтаря слышался
торопливый голос протоиерея:

— Гаврило... анафема!., с ума, что ли, со-
шел?

Прямо из церкви Гаврило отправился в
карцер.

Но все лее Жданов был до известной степе-
ни «церковник», участвовал в хоре, и протои-
ерей относился к нему хорошо. Поэтому чаще
всего задача предлагать «недоуменные вопро-
сы» выпадала на его долю.

— Отец протоиерей, — начинал он. — Поз-
вольте предложить вопрос. По встретившему-
ся некоторому сомнению.

— Ну, ну... Какое там сомнение? Говори.

— Вот, отец протоиерей, — начинал Гаври-
ло при общем молчании, — существует, ка-
жется, текст: «Блажен, иже и по смерти тво-

рый ближнему добро».

— Ну, положим, что существует, хотя ты, по обыкновению, его и перевернул. Из деяний апостольских известны многие случаи, что даже от предметов, коими при жизни пользовались святые люди, как-то: главотяжи, убрусцы и иные тому подобные... Так и от них происходили чудеса и исцеления.

И протоиерей пускался в рассказы о чудесах, произведенных благодатными главотяжами и убрусцами.

Время уходило. Гаврило терпеливо выслушивал до конца и потом говорил:

— Нет, отец протоиерей. Я не о том... то есть не о главотяжах...

— А о чем же?

— А о том, что, например... кости... то есть именно человеческие...

— Ну что ж? Кости тем паче. Известно чудо от костей пророка Елисея, когда мертвый, прикоснувшись к ним в пещере, воскрес и ожил.

Следовал рассказ о чуде от костей Елисея и комментарии.

— Нет, отец протоиерей, я еще и не о

том, — упорствовал Гаврило. — А вот один англичанин предлагает через газеты...

— Что такое? Что еще за англичанин? — говорит священник. — Газеты дело мирское и к предмету не относятся. Вот скажи лучше, какой сегодня...

— Нет, отец протоиерей, относятся! — торопливо перебивает Гаврило. — Потому что: «Блажен, иже и по смерти»... Так этот англичанин... Он говорит: какая, говорит, масса человеческих костей пропадает, говорит, напрасно... Без всякой пользы для человечества...

Лицо священника делается сразу настороженным и неприятным. Гаврило замечает опасность... Его красивые глаза навывкате выкатываются еще больше и как бы застывают. Но останавливаться уже поздно.

— Ну, ну? — язвительно поощряет его священник. — Так что же твой англичанин? Послушаем, послушаем вместо святых отец газетного англичанина.

— Так он... то есть это англичанин, предлагает их...

— Ну?

— Отдавать... на фабрики. Для выделки, отец протоиерей, фосфору и тому подобное...

На лице священника — отвращение. Он отворачивает голову и закрывается от Гаврилы ладонями, совершенно так, как от чернильницы в виде дамского башмачка.

— Гробокопательство!.. Нарушение вечно-го покоя мертвых! — Он резко поворачивается к Гавриле. — И это ты считаешь недоумением?.. Газетки почитываешь? Сочувствуешь?.. Говори, анафема, сейчас: какой сегодня апостол?

Гаврило застывает в виде соляного столба.

— А-а... Не зна-аешь?.. Сам читал сегодня? А про англичанина когда вычитал?

— Давно, отец протоиерей... Это я, отец протоиерей, еще в Полтаве... — неосторожно защищается бедный Гаврило.

— А-а. Вот видишь! В Полтаве? И все-таки помнишь? А сегодняшнее Евангелие забыл. Вот ведь как ты поддался лукавому? Как он тебя осётил своими мрежами... Доложу, погоди, Степану Яковлевичу. Попадешь часика на три в карцер... Там одумаешься... Гро-бо-копатель!

Гаврило, недоумело и печально оглядываясь, грузно опускается на парту, точно погружается в омут... Бьет звонок, но... Долго еще протоиерей будет изводить его на уроках напоминаниями об англичанине...

Мне вспоминается одно только собеседование за уроком, где мы были искреннее. Речь зашла о церкви «единоспасающей». Кто-то предложил вопрос: правда ли, что спастись можно только в восточно-православной церкви, а все остальное человечество, ничего о ней не знающее или остающееся верным исповеданию отцов, обречено на вечные страдания... Православная церковь не признает чистилища, как римско-католическая, и поэтому решение бесповоротно — навсегда, навеки, в бесконечность! Протоиерей обстоятельно разработал вопрос с академической точки зрения, приводя соответствующие тексты, но... объяснение не привело к обычному молчанию класса, которое он привык считать за согласие. Мы знали, что тексты он привел и истолковал правильно, но непосредственное чувство решительно отказывалось подчиниться этому «верному истолкованию». Наши

товарищи-католики, признававшие, что дух исходит от отца и сына, и крестившиеся всей ладонью; лютеранин, отец Кроля, не признававший икон и святых и не крестившийся во все; миллионы людей, никогда и не знавших о существовании символа веры... Все это вставало в воображении живое, реальное, и мы защищали своих родных от вечных мучений только за одно слово в символе, за сложение перстов... А язычники, не слышавшие о Христе и, однако, жертвовавшие жизнью за ближних?..

Вопрос за вопросом, возражение за возражением неслись со скамей к кафедре. Протоиерей исчерпал все тексты и, чувствуя, что они не останавливают потока возражений, прибег к последнему аргументу. Он сделал суровое лицо, подвинул к себе журнал, давая понять, что считает беседу конченной, и сказал:

— Так учит святая церковь, и мы должны, как дети, подчинять ее материнскому голосу свои суемудрые толкования, хотя бы...

Он закрыл глаза, вздохнул, как бы сожалея, что ему приходится подтвердить суровый приговор, и прибавил с каким-то декора-

тивным смирением:

— Хотя бы это противоречило нашему внутреннему чувству. Перейдем к уроку.

— Не верит и сам, — шепнул мне Кроль... Я подумал то же...

Вскоре после этого я шел из церкви вместе с товарищем, Сучковым. Он был классом выше, но мы были близки и часто проводили время в разговорах о разных отвлеченных предметах. И теперь, вместо того чтобы пройти прямо домой, мы незаметно пошли в пустынную улицу, обставленную тополями, и вышли в поле. Был светлый осенний день. С тополей тихо валились желтые листья и, крутясь, падали на землю. О чем именно мы говорили до того, я не помню. Сучков был сын великоросса-чиновника и матери-англичанки. Он был рыжий, очень впечатлительный, то застенчивый, то резкий, но искренний и серьезный. Кроме того, мы с ним вместе учились в Житомире, и он только обогнал меня классом при переходе в Ровно. Это нас сближало еще больше.

Разговаривали мы о религии, и Сучков, остановившись вдруг у начала тропинки, ко-

торая через поле вела к реке, спросил:

— Ты веришь?

— Да, — ответил я с убеждением. — Верю, конечно...

— И я тоже. Но... во все ли?..

— Нет, — ответил я, запнувшись и оглядываясь в первый раз на состав своей веры... — Верю в бога... в Христа... Но не могу верить... в вечную казнь.

— И я тоже, — опять ответил он...

Обвал захватил с собой несколько больше того, чего коснулась данная волна: сомнение было вызвано вопросом о вечной казни только за иноверие... Теперь отпадала вера в самую вечную казнь...

XXII. Наши бунты... — Генерал-губернатор и директор

Жаркий день ранней осени. От стоячих прудов идет блеск и легкий запах тины... Мертвый замок, опрокинутый в воде, грезит об умершей старине. Скучно снуют лебеди, прокладывая следы по зеленой ряске, тихо и сонно квакают разомлевшие лягушки.

Кругом гимназии изнывающая зелень каштанов никнет под зноем. На дворе пусто,

белое здание молчит, замкнувшись в себе. Идут уроки.

Я попросился из класса и стою в коридоре. Тихо. Вдали по обоим концам виднеются окна, одно затенено каштанами, так что в середине стоит полутьма; погруженный в нее, дремлет старик Савелий. Сложив на груди руки и прислонясь к учительским шубам, он ждет прямо против инспекторской сигнала звонить. Из-за закрытых дверей чуть просачивается неопределенное жужжание, точно кто читает по покойнику. Порой вырывается взвизгивание толстого Егорова, или тонкие певучие вскрикивания географа Самаревича, или порывистый лай Радомирецкого. И опять все тихо. Открывается дверь инспекторской, на Савелия падает белая полоса света. Он тревожно просыпается, но тотчас опять закрывает глаза. В светлой полосе появляется странная фигура Дидонуса. Ковыляя своей изломанной походкой, он, как лодка на волнах, плывет в полутьме коридора вдоль темных вешалок и вдруг исчезает в амбразуре классной двери. Виднеется только угол от Дитяткевича с смешно торчащими фалдочками фра-

ка. Сам он впился глазом в замочную скважину и тихо, с наслаждением шпионит за классом, стараясь только, чтобы торчащий над его лбом хохолок волос не показался в дверном стекле. Тогда в классе поднялся бы шум, хохот, шабаш...

Но его не видят. Тишина кажется еще безжизненнее и мертвее от ровного, неуловимого жужжания и вскрикиваний. Становится жутко, томительно, почти страшно. Хочется как будто проснуться, громко вскрикнуть, застучать, опрокинуть что-нибудь, вообще сделать что-нибудь такое, что промчалось бы по коридорам, ринулось в классные двери, наполнило бы все это здание грохотом, шумом, тревогой...

В то время о «школьной политике» еще не было слышно; не было и «злоумышленных агитаторов», волнующих молодежь. Кругом гимназии залегла такая же дремотная тишь. Два-три номера газеты заносили слухи из далекого мира, но они были чужды маленькому городку и его интересам, группировавшимся вокруг старого замка и живого беленького здания гимназии.

У замка были свои легенды о прошлом. Гимназия имела свои. Из поколения в поколение передавались рассказы о героических временах, когда во втором классе сидели уса-чи, а из третьего прямо женились. Этот неза-висимый и беззаботный народ нередко будил сонную тишину необыкновенными выходка-ми: они ходили стеной на полицейских... Од-нажды выворотили фонарные столбы, кото-рые, положим, никогда не светили, и покида-ли их с моста в речку. В другой раз, темным вечером, подстерегли гимназического надзи-рателя, подглядывавшего в окна. Схватили, завязали глаза, привязали к лестнице и по-везли топить в пруд. Несколько раз опускали с мостика в воду по шею и опять поднимали. Потом с песнями и диким гиканьем прово-локли на лестнице по засыпающим улицам и бросили против клуба...

Тех героев уже не было; все мы были мень-ше и, пожалуй, культурнее, но легенды о ге-роических временах казались нам занима-тельными и даже как будто поэтичными... Хоть дико и нелепо, но они разрывали по-свое-му эту замороженную тишь однообразия и

молчаливой рутины...

Порой и мы начинали шуметь так же стихийно, неожиданно и нелепо.

Звонок пробил. Перемена кончилась. Коридоры опустели, во всех классах идут занятия. У нас урок Егорова, но он не является. Придет или не придет? Тянутся минуты, рождается надежда: не придет. Беззаботные ученики, выучивающие уроки только в классах и на переменах (я давно уже принадлежу к их числу), торопятся доучить аористы: «Бых, бы, бы... быхове, бы-ста... быста, быхом, бысте, быша...» Но затем бросают: если Егоров не придет, на черта тогда аористы... Дитяткевич то и дело заглядывает в открытую классную дверь... Порой проходит мимо высокая фигура Руцевича. Они знают, что такое положение класса опасно, и стараются держать нас в полу гипнозе: не урок, но и не свобода... Ожидание неприятно, томительно, раздражает нервы...

Мой сосед Кроль, тоже бросивший грамматику Перевлесского, долго и сосредоточенно жевал во рту бумажную жвачку. Наконец это ему надоело. Он вынул изо рта нажеванный

комок, посмотрел на него с некоторым недоумением и по внезапному вдохновению швырнул в противоположную стену. Комок влипает и расплющивается над самой кафедрой большим серым пятном. Смех.

В дверях появляется Дитяткевич. Он слышал смех и беспокойно оглядывает нас из-за дверей, но пятна ему не видно. Это интересно. Едва он отходит, как несколько комков летят вдогонку за первым, и скоро плеяда серых звезд располагается над креслом учителя.

— Господа, господа!.. Что вы делаете? — кричит дежурный, первое ответственное лицо в классе, но его не слушают. Дождь жвачек сыплется ливнем. Кто-то смочил жвачку в чернилах. Среди серых звезд являются сине-черные. Они липнут по стенам, на потолке, попадают в икону...

Какой-то мальш, отпросившийся с урока в соседнем классе, пробегает мимо нашей двери, заглядывает в нее, и глаза его вспыхивают восторгом. Он поделится новостью в своем классе... За ним выбежит другой... В несколько минут узнает уже вся гимназия...

Наконец в коридоре слышатся тяжелые

шаги. «Егоров, Егоров...» В классе водворяется тишина, и мы с недоумением смотрим друг на друга... Что же теперь будет?.. Толстая фигура с журналом под мышкой появляется на пороге и в изумлении отшатывается... Через минуту является встревоженный надзиратель, окидывает взглядом стены и стремглав убегает... В класс вдвигается огромная фигура инспектора... А в перемену эпидемия перекидывается в младшие классы...

В жизни белого здания событие. Начальство озадачено. Приступают к расследованию и прежде всего, конечно, ищут зачинщиков... И тут-то в застоявшуюся атмосферу врывается нечто новое, интересное, пожалуй, серьезное. Зачинщиков не выдадут: перед начальством весь класс — единый, сплоченный, солидарный. Те, кто не кидал и даже пытался образумить товарищей, теперь — заодно с кидавшими. В инспекторскую вызывают дежурного, и он уже не возвращается. Его отправили в карцер... Первая жертва... Мы его любим, гордимся им, готовы следовать его примеру. Вызывают первых учеников... Потом последних. Является Руцевич и произносит перед классом

речь длинную, тягучую, поучительную. Преступление не может остаться без наказания... Уже наказаны, быть может, невинные, и будут наказаны еще более. Это нечестно. Зачинщики должны сознаться, или класс обязан их выдать...

Но у нас свои понятия о честности. Честность — это товарищество. В нем одном мы находим ощущения, которых не дает и не требует ни арифметика, ни география, ни аористы: самоотвержение, готовность пострадать за общее дело, мужество, верность. Мы знаем, что жевать бумагу и кидать в белые стены — глупо. Когда вошел Тысс и, не говоря ни слова, окинул класс своим серьезным и как будто скучающим взглядом, нам было стыдно. Но — постоять за товарищей не глупо, а хорошо и красиво... Каждый из нас ждет своей очереди присоединиться к пострадавшим, и в этом — оправдание перед ними... В воздухе напряжение, новое, необычное. Ожидание нарастающей грозы вносит новый душевный мотив, разряжает обычное классное томление.

Последний звонок в этот день звучит тоже

необычными тонами. Он застаёт расследование неоконченным и как бы говорит: продолжение завтра. А пока, едва сбегав домой и захватив что-нибудь съестное, мы пробираемся на разведки к карцеру. Окно его высоко, в стене угловой двухэтажной пристройки на западах. Кто-нибудь осторожно кидает мелкий камешек в виде сигнала. Заключенные по очереди, становясь друг другу на спины, появляются в квадрате окна. Они кажутся нам такими дорогими, милыми, красивыми. Особенно дежурный: все мы ответим и за себя — он только за других. Каждому из нас хочется что-нибудь сделать для него, хочется быть на его месте.

Тут зарождалось чувство, из-за которого в семидесятых годах Стрельников послал на виселицу юношу Разовского, не пожелавшего выдать товарища...

Порой эти наши вспышки напоминали прямо массовое помешательство.

Дождливый осенний день. Большая перемена. За окнами каштаны взмахивают еще не опавшею, но уже поблекшей зеленью, косой дождь бьет по стеклам. На дворе играть в мяч

нельзя, многие не ушли домой завтракать, коридоры кишат толпой, которая волнуется в тесноте живою зыбью.

Появляется Самаревич. Он только что вошел со двора, мокрый, в черной мерлушечьей шапке и широкой шубе из «бирок» (мелкий подобранный барашек). Его желтое лицо кажется особенно странным в черной остроконечной мурмолке, на фоне черного воротника, в сумеречном освещении коридора. Среди шумной толпы он проходит брезгливо, точно пробирается по грязной улице; глаза его бегают сердито и чутко: ищут Дитяткевича, чтобы тот проложил ему дорогу. Но Дитяткевича нет. Ученики сами робко сторонятся, когда замечают его, но замечают не сразу: сжатая толпа колышется порой совершенно произвольно.

Вдруг из классной двери выбегает малыш, преследуемый товарищем. Он ныряет прямо в толпу, чуть не сбивает с ног Самаревича, поднимает голову и видит над собой высокую фигуру, сухое лицо и желчно-злые глаза. Несколько секунд он испуганно смотрит на неожиданное явление, и вдруг с его губ сры-

вается кличка Самаревича:

— Бирка!

Слово, кинутое так звонко прямо в лицо грозному учителю, сразу поглощает все остальные звуки. Секунда молчания, потом неистовый визг, хохот, толкотня. Исступление охватывает весь коридор. К Самаревичу проталкиваются малыши, опережают его, становятся впереди, кричат: «Бирка, бирка!» — и опять ныряют в толпу. Изумленный, испуганный бедный маниак стоит среди этого живого водоворота, поворачивая голову и сверкая сухими, воспаленными глазами.

На шум выбегают из инспекторской надзиратели, потом инспектор. Но малыши увертываются от рук Дитяткевича, ныряют между ног у другого надзирателя, добродушного рыжего Бутовича, проскакивают мимо инспектора, дергают Самаревича за шубу, и крики: «Бирка, бирка!» — несутся среди хохота, топота и шума. Обычная власть потеряла силу. Только резкий звонок, который сторож догадался дать минуты на две раньше, позволяет наконец освободить Самаревича и увести его в инспекторскую.

На этот раз не пытаются даже искать зачинщиков.

Тут уже совершенно очевидно, что зачинщиков нет, что это просто стихийный взрыв, в котором прорвалась, так сказать, подпочва нашего обычного настроения. Подавлять можно, но овладеть никто не умеет...

Такая же неожиданная демонстрация была устроена и Кранцу. На этого мучителя пришел черный день. Он жил на квартире у немолодой вдовы, и по городу пошли сплетни, что наш сухой и жиловатый лемур воспылал нежной страстью к своей дебелой хозяйке. Городок вообще был полон сплетнями, и слух об этой связи тлел среди других более или менее пикантных слухов, пока однажды дело не разразилось неожиданным и громким скандалом: Кранц объявил о своем переезде на другую квартиру; тогда бойкая вдова ворвалась в заседание гимназического совета и принесла с собой невинного младенца, которого и предложила на попечение всего педагогического персонала.

Через несколько дней из округа пришла телеграмма: *немедленно* устранить Кранца от

преподавания. В большую перемену немец вышел из гимназии, чтобы более туда не возвращаться. Зеленый и злой, он быстро шел по улице, не глядя по сторонам, весь поглощенный злобными мыслями, а за ним шла гурьба учеников, точно стая собачонок за затравленным, но все еще опасным волком.

Так он дошел до квартиры Колубовских. Это была многочисленная семья, из которой четверо или пятеро учились в гимназии. Все они были маленькие, толстощекие и очень похожи друг на друга. Самый маленький, жертва Кранца, был общий любимец. В этот день он был болен и оставался дома. Но когда братья прибежали к нему с радостной вестью, малыш вскочил с постели и, увидев в окно проходившего мучителя, выскочил на улицу. Братья кинулись за ним, и затравленный волк очутился в курьезной осаде. Младший Колубовский, с сверкающими глазами, заступил ему дорогу и крикнул:

— А! Что, проклятый немец? Прогнали? Прогнали? Будешь мучить? Проклятый, проклятый!..

Остальные братья тоже бежали с ругатель-

ствами. К ним присоединились бывшие по близости ученики, и взбешенный Кранц, все прибавляя шагу, дошел до своей квартиры, сопровождаемый свистом, гиканьем и криками «ура». К счастью, квартира была недалеко. На крыльце немец оглянулся и погрозил кулаком, а в окно выглядывало злорадное лицо бедной жертвы его коварства.

К концу этой сцены с угрюмыми и сконфуженными лицами проходили мимо другие учителя. Ученикам было совестно смотреть на них, но, кажется, и учителям было совестно смотреть на учеников...

.....

Один только раз на нашем горизонте встала возможность чего-то вроде беспорядков «с политической окраской».

Это было в 1867 или 1868 году. Ждали генерал-губернатора Безака[18]. Остановиться он должен был у исправника, на Гимназической улице, поэтому исправницкая квартира стала центром общего внимания. Кругом из-за заборов, из переулочка, вообще из-за разных прикрытий робко выглядывали любопытные обыватели. Прямо против дома исправника

была расположена ученическая квартира вдовы Савицкой, и так как это было уже после уроков, то кучка учеников вышла в палисадник, чтобы полюбоваться встречей. Улица имела приличный случаю торжественно-испуганный вид. У крыльца, вытянувшись в струнку, застыли квартальные. Все было подметено, убрано, вычищено. Все превратилось в ожидание.

Часов, вероятно, около пяти прискакал от тюрьмы пожарный на взмыленной лошади, а за ним, в перспективе улицы, вскоре появился тарантас, запряженный тройкой по-русски. Ямщик ловко осадил лошадей, залился на месте колокольчик, помощник исправника и квартальные кинулись отстегивать фартук, но...

Тут случилось нечто неожиданное и страшное. Фартук сам распахнулся с другой стороны... Из тарантаса выкатилась плотная невысокая фигура в военной форме и среди общего испуга и недоумения его превосходительство, командующий войсками Киевского военного округа и генерал-губернатор Юго-Западного края, бежал, семеня короткими нога-

ми, через улицу в сторону, противоположную от исправничьего крыльца...

Через несколько секунд дело объяснилось: зоркие глаза начальника края успели из-за фартука усмотреть, что ученики, стоявшие в палисаднике, не сняли шапок. Они, конечно, сейчас же исправили свою оплошность, и только один, брат хозяйки, — мальш, кажется, из второго класса, — глядел, выпучив глаза и разинув рот, на странного генерала, неизвестно зачем трусившего грузным аллюром через улицу... Безак вбежал в палисадник, схватил гимназиста за ухо и передал подбежавшим полицейским:

— Арестовать!..

Полицейское управление было рядом, и испуганного мальчика немедленно заперли в каталажку, где обыкновенно держали пьяных до вытрезвления... Только тогда грозное начальство проследовало к исправнику...

Весть об этом происшествии мгновенно облетела весь город.

В тот день я за что-то был оставлен после уроков и возвращался позже обыкновенного домой с кучей расползавшихся книг в руках.

Улица была пуста, только впереди виднелось несколько синих мундиров, которых полицейский выпроваживал в конец, подалее от дома исправника. Кое-где мелькала какая-нибудь одинокая фигура, стрелой пересекавшая улицу и исчезающая... Только когда я поравнялся с казначейством и повернул за угол, навстречу мне попала кучка гимназистов, человек в десять. Среди них я заметил Перетяткевичей и Домарацких, представителей двух родственных польских семей. Это был по большей части народ великовозрастный, состоятельный и державшийся относительно гимназического режима довольно независимо. Один еще недавно был вынужден оставить гимназию. Увидев меня, они заступили мне дорогу и закидали вопросами:

— Вас пропустили? Ну что? Правда, что с Савицким припадок? Вы видели его сестру?..

— Что такое? — ответил я с недоумением, глядя на их возбужденные лица.

— Хороший товарищ! — насмешливо сказал старший Перетяткевич. — Да где же вы были это время?

— В карцере.

— А! Это другое дело. Значит, вы не знаете, что Безак схватил Савицкого за ухо и швырнул в каталажку... Идите домой и зовите товарищей на улицу.

Рассказ прошел по мне электрической искрой. В памяти, как живая, встала простодушная фигура Савицкого в фуражке с большим козырем и с наивными глазами. Это воспоминание вызвало острое чувство жалости и еще что-то темное, смутное, спутанное и грозное. Товарищ... не в карцере, а в каталажке, больной, без помощи, одинокий... И посажен не инспектором... Другая сила, огромная и стихийная, будила теперь чувство товарищества, и сердце невольно замирало от этого вызова. Что делать?

Я побежал домой, бросил книги, не нашел братьев и опять опрометью кинулся на улицу. Перетяткевичей и Домарацких уже не было. Они, вероятно, ушли куда-нибудь совещаться. Но по площади бродили группы учеников, ошеломленных происшествием и не знавших, что делать. Полицейские не успевали их прогонять даже с Гимназической улицы... Разговаривали, спрашивали, переда-

вали в разных вариантах, что случилось. Сходились, расходились, не находя места. Несколько человек, особенно предприимчивых, пробрались к окну каталажки через забор соседнего двора и видели, что Савицкий лежит на лавке. Будочник покрыл его лицо темною тряпкой...

Трудно сказать, что могло бы из этого выйти, если бы Перетяткевичи успели выработать и предложить какой-нибудь определенный план: идти толпой к генерал-губернатору, пустить камнями в окна исправницкого дома... Может быть, и ничего бы не случилось, и мы разбрелись бы по домам, унося в молодых душах ядовитое сознание бессилия и ненависти. И только, быть может, ночью забренчали бы стекла в генерал-губернаторской комнате, давая повод к репрессиям против крамольной гимназии...

Но раньше, чем это успело определиться, произошло другое.

Из дома на той же улице, одетый по форме, важный, прямой, в треуголке и при шпаге, вышел директор Долгоногов. Он был недавно назначен, и мы его знали мало. Да, правду

сказать, и впоследствии не узнали ближе. Он был великоросс, и потому в нем не была обручительной злобы, справедлив — порой признавал неправым начальство в столкновениях с учениками — и строг. Но для нас это был все же чиновник педагогического ведомства, точный, добросовестный, формалист, требовательный к себе, к учителям и к ученикам... Как оказалось, кроме того — у него было сознание своего достоинства и достоинства того дела, которому он служит. Так представляется мне этот человек теперь, когда я вспоминаю его в этот знаменательный день.

В эту минуту во всей его фигуре было что-то твердое и сурово-спокойное. Он, очевидно, знал, что ему делать, и шел среди смятенных кучек гимназистов, как большой корабль среди маленьких лодок. Отвечая на поклоны, он говорил только:

— Расходитесь, дети, расходитесь.

И было в нем что-то, заставлявшее учеников чувствовать, что они действительно дети, и полагаться на этого спокойного, серьезного человека...

Так он вошел в дом, где остановился гене-

рал-губернатор. Минуты через три он вышел оттуда в сопровождении помощника исправника, который почтительно забегал перед ним сбоку, держа в руке свою фуражку, и оба пошли к каталажке. Помощник исправника открыл дверь, и директор вошел к ученику. Вслед за тем прибежал гимназический врач в сопровождении Дитяткевича, и другой надзиратель провел заплаканную и испуганную сестру Савицкого...

Было что-то ободряющее и торжественное в этом занятии полицейского двора людьми в мундирах министерства просвещения, и даже колченогий Дидонус, суетливо вбегавший и выбегавший из полиции, казался в это время своим, близким и хорошим. А когда другой надзиратель, большой рыжий Бутович, человек очень добродушный, но всегда несколько «в подпитии», вышел к воротам и сказал:

— Директор просит всех гимназистов разойтись по домам! — то через минуту около полицейского двора и исправницкого дома не осталось ни одного синего мундира...

В чиновничьих кругах передавали подробности сцены между генерал-губернатором и

директором. Когда директор вошел, Безак, весь раскаленный, как пушка, из которой долго палили по неприятелю, накинулся на него:

— Что тут у вас! Беспорядки! Непочтительность! Полячки не снимают перед начальством шапок!

— Ваше превосходительство, — сказал Долгоногов холодно и твердо, — в другое время я готов выслушать все, что вам будет угодно сказать. Теперь прежде всего я требую немедленного освобождения моего ученика, незаконно арестованного при полиции. О происшествии я уже послал телеграмму моему начальству...

Безак растерянно посмотрел на директора и... приказал тотчас же отпустить Савицкого.

В один из карточных вечеров у отца об этом случае заговорили чиновники. Все сочувствовали и немного удивлялись Долгоногову. Одни думали, что ему несдобровать, другие догадывались, что, должно быть, у этого Долгоногова есть «сильная рука» в Петербурге. Отец с обычной спокойной категоричностью сказал:

— А, толкуйте! Просто — действовал человек на законном основании, и баста!

— Но ведь — Безак!.. Назначен самим царем!

— Все мы назначены царем, — возразил отец. Достоевский в одном из своих «Дневников писателя»

рассказывал о впечатлении, какое в юности произвела на него встреча на почтовом тракте с фельдъегерем; фельдъегерь стоял в повозке и, не переставая, колотил ямщика по шее. Ямщик неистово хлестал кнутом лошадей, и тройка с смертельным ужасом в глазах мчалась по прямой дороге мимо полосатых столбов. Эта картина показалась юноше символом всей самодержавной России и, быть может, содействовала тому, что Достоевскому пришлось стоять у эшафота в ожидании казни... В моей памяти таким символическим пятном осталась фигура генерал-губернатора Безака. Цельное представление о «власти-стихии» дало сразу огромную трещину. На одной стороне оказался властный сатрап, хватающий за ухо испуганного мальчишку, на другой — закон, отделенный от власти, но воору-

жающий скромного директора на борьбу и победу.

Много ли русская школа знает таких выступлений за последние десятилетия, ознаменованные вторжением в нее «административного порядка» и бурными волнениями молодежи? Кто вместо нее проявлял гражданское мужество в защите законности, человечности и права?

Часть четвертая

В деревне

XXIII. Гарнолужское панство

Деревня для школьника-горожанина — это каникулы.

Когда мы переезжали из Житомира в Ровно, то оказалось, что Гарный Луг, деревня дяди-капитана, находится всего в пятидесяти или шестидесяти верстах от города. По семейному соглашению, сын капитана, Саня, жил у нас в Ровно весь учебный год, а мы всей семьей приезжали к ним на каникулы. Саня был мальчик длинный, худощавый, с деревенскими приемами, которые делали его

жертвой насмешек, с детски чистым сердцем и головой, слабоватой на учение. Мы все любили его, но порой довольно жестоко шутили над его деревенской простотой, которую он сохранил на всю жизнь, и сохранил еще что-то особенное: как будто противоречия жизни отпечатались бессознательно на слишком чуткой совести.

Деревня была своеобразная, одна из тех, в которых крепостное право еще до формального упразднения уже дошло до явной нелепости. Покойный Данилевский в беглом эскизе набросал картину деревни, носившей характерное название Стопановки. Так окрестили ее потому, что в ней было около сотни «помещиков», почти столько же, сколько крепостных. Таких деревень к концу крепостного права было, надо думать, немало. Поместное сословие множилось, разорялось, теряло черты барства божией милостью, выделяя все более и более паразитов, приживальщиков, владельцев одной или двух душ...

Гарный Луг представлял настоящее гнездо такого выродившегося «панства»: уже ко времени эмансипации в нем было около шести-

десяти крестьянских дворов и что-то около двух десятков шляхтичей-душевлладельцев. Капитану одному принадлежало около трети.

Как возникла эта странная «социальная структура», я не знаю. Всего вероятнее, что Гарный Луг был когда-то так называемым «за-стенком», а его «панство» представляло «за-стенную шляхту», ярко описанную Мицкевичем в «Пане Тадеуше», тяготевшую к какому-нибудь патрону. В черте капитанской усадьбы, на небольшом холмике над прудиком, высилось старинное темное здание с остроконечною крышей загадочного вида и назначения. Кругом, точно почетная стража, стояли семь пирамидальных тополей с опаленными вершинами, и издали всю эту группу можно было принять за старинную сторожевую башню. Но в действительности это был только «магазин», то есть кладовая. В нижнем ее помещении стояли бочки с квасом, огурцами, капустой. В среднем ссыпали в засеки хлеб, а в мезонине была жилая комната с балкончиком. На балкон нам воспрещалось выходить под опасением провала, и порой все это почтенное здание кряхтело и как

будто расседалось. Но капитан этого не признавал. Он очень гордился «магазином», который был виден далеко со своими тополями, занимая центральное господствующее положение... Кругом, точно под его покровительством, ютились соломенные крыши, сады, левады, колодцы с журавлями. Кое-где в одиночку, точно отбившиеся от центра, торчали отдельные тополи, обозначая «панские усадьбы». Лучшая из них — дом капитана, была тоже с соломенной крышей. Остальные почти уже ничем не отличались от мужицких.

По преданию — «магазин» был единственным остатком богатой панской усадьбы, служившей центром для гарнолужской шляхты. Капитан дорожил им как эмблемой. Самый крупный из «помещиков» Гарного Луга, хотя человек сравнительно новый, — он вместе с этой древней постройкой как бы наследовал первенствующее положение...

Прежний центр исчез навеки, а с ним исчез и смысл существования местной шляхты.

Капитан, как уже сказано, был отличный рассказчик и по временам, в длинные зимние вечера, любил изображать эпизоды гарно-

лужского прошлого с его удивительными нравами. Старая, отжившая шляхетская «воля», лишённая смысла и значения, выражалась в карикатурных формах. В деревне было две партии, продолжавшие из-за чего-то воевать, нападать друг на друга и тягаться в судах. Центром этой борьбы являлось право пропинации, то есть сдача в аренду шинка. Каждая партия считала это право за собой, и каждая выдвигала своего кандидата, поддерживая его вооружённой рукой. Шинок превращался порой в настоящую крепость. Паны Лохмановичи ставили караулы, чтобы защитить водворённого в шинке Янкеля, Банькевичи чинили нападения, чтобы водворить на его место Мошка. Темными ночами порой закипал бой. Паны во главе челяди лезли к корчме на приступ: трещали головы, лаяли собаки, вопили женщины и дети...

Когда водка вся выходила и приходилось покупать в городе новый запас — наступали самые драматические моменты этой гарнолужской илиады. Янкеля с бочкой сопровождал вооружённый отряд. Вперед проезжали благополучно. Но на обратном пути, около

мостики в овраге, устраивалась засада. В одной из таких экспедиций капитан, кажется, участвовал лично и с большим юмором рассказывал, как во время жаркого боя мужики вышибли у бочки дно. Обе стороны, забыв вражду, кинулись черпать водку шапками, ковшами, даже сапогами, у кого они были... Утро застало витязей вповалку на лесной мураве, друзей и врагов рядом.

Все это вело, конечно, к тяжбам, с наездами приказных, которые одни извлекали пользу из этих рыцарских столкновений...

В то время, когда мне пришлось познакомиться с Гарным Лугом, героические нравы отошли в область легенд. Панство еще до реформы окончательно опустилось и обнищало... Рассказывали, между прочим, что вследствие каких-то замысловатых семейно-наследственных комбинаций два шляхтича, женатые на родных сестрах, владели одной только крепостной хатой, и то спорной. Хуже всего при этом доставалось, конечно, злополучному предмету спора. Пока о «душе» Микиты в суде шла тяжба, оба пана отдавали ему приказания, и оба требовали покорности.

Несчастный мужик вечно находился под воздействием двух сил, тянувших в разные стороны. Не удивительно, что равнодействующая повлекла его в направлении, одинаково удаленном от обеих: он облюбовал себе место в шинке Янкеля... Положение между двумя воюющими и одной нейтральной державой развило в Миките дипломатические способности: порой он заключал союз с одним паном и вместе с ним тузил другого. Потом переходил на сторону противника и для восстановления политического равновесия добросовестно колотил недавнего союзника. Суда он не боялся, так как в обоих случаях исполнял панское приказание...

Бывало, конечно, и так, что оба пана приходили к сознанию своего, как теперь принято говорить, классового интереса и заключали временный союз против Микиты. Тогда Миките приходилось плохо, если только Янкель не успевал своевременно обеспечить ему убежище.

Вообще жизнь злополучного спорного мужика сложилась совсем не по-людски... Иметь одного, но «настоящего» пана было бы

для него счастьем. Поэтому он не раз приходил к капитану, прося купить его в нераздельное владение и обещая работать за троих. Работник он был хороший, и Янкель не имел оснований на него жаловаться. Но купить его было нельзя, так как не было известно, кто же, собственно, мог его продать. А разделить покупную сумму пополам стороны не соглашались: они лучше согласились бы рубить пополам самого Микиту.

— Хиба ж я таки ничего не стою? — спрашивал бедняга в отчаянии.

— Я тебя, бедный человек, не хую, — отвечал капитан. — Мужик ты стоящий, но с тобой приходится наживать тяжбу... Иди себе с богом...

Микита шел в корчму, напивался и становился страшен для обоих владельцев...

Самым старым из этой шляхты был пан Погорельский, живая летопись деревни, помнивший времена самостоятельной Польши. Он служил «панцирным товарищем» в хоругви какого-то пана Холевинского или Голембиовского и участвовал в конфедерации. Ему было что-то около сотни лет.

Мне приходит в голову странная мысль. Чуть не каждый год мы читаем в газетах, что в том или другом месте умер старик или старуха ста, ста десяти лет, а лет восемь или десять назад сибирские газеты сообщали о смерти поселенца 136 лет... Когда мы смотрим на горные склоны, покрытые лесом, то даже средняя гора кажется огромной по сравнению с деревьями: такая бесчисленная зеленая рать толпится по ее уступам. Но если бы выбрать столетние деревья и смирить гору по их росту, то оказалось бы, что десяток-другой таких деревьев уже измеряет всю высоту... Бесчисленные поколения людей, как мелко-лесье на горных склонах, уместились на расстоянии двадцати столетий, протекших с той ночи, когда на небе сияла хвостатая звезда и в вифлеемской пещере нашла приют семья плотника Иосифа, пришедшего из Назарета для переписи по указу Августа.

С тех пор, как пала Иудея, Римская империя разделилась и потонула в бесчисленных ордах варваров, основались новые царства, водворилась готическая тьма средневековья с гимнами небу и стонами еретиков; опять за-

сверкала из-под развалин античная жизнь, прошумела Реформация; целые поколения косила Тридцатилетняя война, ярким костром вспыхнула Великая революция и разлилась по Европе пламенем наполеоновских войн... И подумать только, что все это улеглось на расстоянии менее чем двадцати максимальных человеческих жизней. И все это время не было недостатка в 125-летних стариках, которые могли бы, «как очевидцы», передавать друг другу летопись веков.

Таких «очевидцев» до наших дней сменилось бы только... двадцать!..

Одного из таких старых дубов человеческого леса я видел в Гарном Луге в лице Погорельского. Он жил сознательную жизнь в семидесятых и восьмидесятых годах XVIII века. Если бы я сам тогда был умнее и любопытнее, то мог бы теперь людям двадцатого века рассказать *со слов очевидца* события времен упадка Польши за полтора столетия назад.

Но эти вопросы тогда интересовали меня мало.

Проходя за чем-то одним из закоулков Гарного Луга, я увидел за тыном, в огороде, высо-

кую, прямую фигуру с обнаженной лысой головой и с белыми, как молоко, седыми буклями у висков. Эта голова странно напоминала головку высохшего мака, около которой сохранились как бы два белых засохших лепестка. Проходя мимо, я поклонился.

Старик посмотрел на меня выцветшими, но еще живыми глазами и сказал:

— А чей ты, хлопче? Я что-то таких не видал.

Я ответил, что я племянник капитана, и мы разговорились. Он стоял за тыном, высокий, худой, весь из одних костей и сухожилий. На нем была черная «чамарка», вытертая и в пятнах. Застегивалась она рядом мелких пуговиц, но половины их не было, и изпод чамарки виднелось голое тело: у бедняги была одна рубаха, и, когда какая-нибудь добрая душа брала ее в стирку, старик обходился без белья.

— Да... Капитан... Знаю... Он купил двадцать душ у такого-то. Номо novus...[19] Прежних уже нет. Все пошло прахом. Потому что, видишь ли... было, например, два пана: пан Банькевич, Иосиф, и пан Лохманович,

Якуб. У пана Банькевича было три сына, и у пана Лохмановича, знаешь, тоже три сына. Это уже выходит шесть. А еще дочери... За одной Иосиф Банькевич дал пятнадцать дворов на вывод, до Подоля... А у тех опять пошли дети... У Банькевича: Стах, Франек, Фортунат, Юзеф...

Он сыпал генеалогическими разветвлениями, которые я, конечно, передаю здесь очень вольно, и потом заговорил о старых временах:

— Гей, гей!.. Скажу тебе, хлопче, правду: были люди— во времена «Речи Посполитой»... Когда, например, гусарский regiment [20] шел в атаку, то, понимаешь, как буря: потому что за плечами имели крылья... Кони летят, а в крыльях ветер, говорю тебе, как ураган в сосновом бору... Иисус, Мария, святой Иосиф...

Лицо старого панцирного товарища покраснело до лысой макушки, белые букли по сторонам поднялись, и в выцветших зрачках явилась колючая искорка.

Но вдруг он опять весь погас.

— А теперь... Га! Теперь — все покатилося

кверху тормашками на белом свете. Недавно еще... лет тридцать назад, вот в этом самом Гарном Луге была еще настоящая шляхта... Хлопов держали в страхе... Чуть что... А! сохрани боже! Били, секли, мордовали!.. Правду тебе скажу — даже бывало жалко... потому что не по-христиански... А теперь...

Он вытянул через тын свою сухую шею и заговорил мне в ухо тихим шепотом:

— Теперь мужик, клянусь богом и пресвятой девой, бьет родовитого шляхтича по морде... И что же?.. Га! Ничего... Да что тут и говорить: последние времена!

Было знойно и тихо. В огороде качались желтые подсолнухи. К ним, жужжа, липли пчелы. На кольях старого тына чернели опрокинутые горшки, жесткие листья кукурузы шелестели брюзгливо и сухо. Старые глаза озирались с наивным удивлением: что это тут кругом? Куда девались панцирные товарищи, пан Холевинский, его хоругвь, прежняя шляхта?..

В этом старце, давно пережившем свое время, было что-то детски тихое, трогательно-печальное. Нельзя сказать того же о дру-

гих представителях nobilitatis harnolusiensis [21] хотя и среди них попадались фигуры в своем роде довольно яркие.

Однажды у капитана случилась пропажа: кто-то ночью взломал окно в нижнем помещении «магазина» и утащил оттуда кадку масла и кадку меду. Первым сообщил о пропаже пан Лохманович.

Это был человек с очень живописной наружностью: широкоплечий, с тонкой талией, с прямым польским носом и окладистой бородой, красиво расстилавшейся по всей груди, — он представлял, вероятно, точную копию какого-нибудь воинственного предка, водившего в бой отряды... Теперь это была форма без содержания. Из всех качеств старопольского воинства в нем сохранилась только величавая осанка, богатырский аппетит и благородное влечение к тонким блюдам. «Пан Лохманович, — говорил про него капитан, — знает, чем пахнет дым из каждой печной трубы в Гарном Луге». К мужичью он питал нескрываемое презрение.

— Их дело, — говорил он уверенно, когда на пропажу собрались соседи. — Шляхтич на

это не пойдет. Имею немного, что имею — мое. А у хамов ни стыда, ни совести, ни страха божия...

Мужики угрюмо молчали и осматривали внимательно признаки взлома. Вдруг один из них разыскал следы под окном. Следы были сапожные, и правый давал ясный отпечаток сильно сбитого каблука... Мужики ходят в «постолах». Сапоги — обувь панская. И они недвусмысленно косились на правый каблук гордого пана... В этой щекотливой стадии расследования пан Лохманович незаметно ступевался. Поднялся шум. «Разнузданное хлопство», не стесняясь, кричало, что капитанский магазин обокрали паны, и с этим известием хлынуло на улицу. Достоинство гарнолужского панства жестоко страдало. Шляхта собралась у старика Погорельского, человека сведущего в вопросах чести, и на общем совете было решено отправить к Лохмановичу депутацию. Бывший панцирный товарищ стал во главе ее и обратился к «брату шляхтичу» с речью... Сам уважаемый собрат и благодетель видит, что обстоятельства исключительного рода: хлопство кидает злую «калюмнию» на

все благородное сословие Гарного Луга... Единственно для того, чтобы вогнать клевету обратно в хлопские пасти, шляхетство просит своего уважаемого собрата дозволить осмотр кладовых.

Пан Лохманович, величавый, как всегда, спокойно согласился.

— Pro forma, благодетель, pro forma, — говорил обрадованный Погорельский. — Только чтобы зажать рты низкой черни.

Обыск подходил к концу без всякого результата. «Имею мало... что имею — мое!» — повторял Лохманович. Собирались уже уходить, когда один из мужиков, допущенный в качестве депутата, разгреб в углу погреба кучу мякины: под ней оказались рядом обе кадушки...

Подхватив их тотчас же на плечи, мужики торжественно понесли находку к капитану, с криками торжества, с песнями, с «гвалтом и тумультом»...

Это был жестокий удар всему панству. Пан Погорельский плакал, как бобр, по выражению капитана, оплакивая порчу нравов, — *periculum in mores nobilitatis harnolusiensis*[22]

. Только сам Лохманович отнесся к неприятной случайности вполне философски. Дня через два, спокойный и величавый, как всегда, он явился к капитану.

— Не лучше ли, уважаемый собрат и сосед, бросить это грязное дело, — сказал он. — Ну случилось там... с кем не бывает... Стоит ли мешать судейских крючков в соседские дела?..

Капитан был человек вспыльчивый, но очень добродушный и умевший брать многое в жизни со стороны юмора. Кроме того, это было, кажется, незадолго до освобождения крестьян. Чувствовалась потребность единения... Капитан не только не начал дела, проотив «маленькую случайность», но впоследствии ни одно семейное событие в его доме, когда из трубы неслись разные вкусные запахи, не обходилось без присутствия живописной фигуры Лохмановича...

Но едва ли не самыми замечательными представителями этого измельчавшего шляхетства были два брата Банькевича. Один — «заведомый ябедник» (был в старину такой официальный термин), другой — увы! — ко-

нокрад.

Наружность у Антония (так звали ябедника) была необыкновенно сладостная. Круглая фигура, большой живот, маленькая лысая голова, сизый нос и добродушные глаза, светившиеся любовью к ближним. Когда он сидел в кресле, сложив пухлые руки на животе, вращая большими пальцами, и с тихой улыбкой глядел на собеседника, — его можно было бы принять за олицетворение спокойной совести. В действительности это был опасный хищник.

Ябедник, обладавший острым пером, знанием законов и судопроизводства, внушал среднему обывателю суеверный ужас. Это был злой волшебник, знающий магическое «слово», которое отдает в его руки чужую судьбу. Усадьба Антона Банькевича представляла нечто вроде заколдованного круга.

Если курица какого-нибудь пана Кунцевича попадала в огород Антония, она, во-первых, исчезала, а во-вторых, начинался иск о потраве. Если, наоборот, свинья Банькевича забиралась в соседский огород — это было еще хуже. Как бы почтительно ни выпрово-

дил ее бедный Кунцевич — все-таки оказывалось, что у нее перебита нога, проколот бок или каким иным способом она потерпела урон в своем здоровье, что влекло опять уголовные и гражданские иски. Соседи дрожали и откупались.

— А! Прошу вас, мой благодетель, — говорил с видом беспомощного отчаяния один из этих несчастных. — Ну как тут быть, когда человек не знает, какой статьей закона следует гнать из огорода гуся, а какой поросенка. А он загоняет себе чужих и ничего не боится.

Соседям казалось, что куры, индюки и телята Банькевича ограждены особым покровительством закона, а ябедник, стоя на крыльчке, целые дни озирает свои владения, высматривая источники дохода...

Слава Банькевича распространилась далеко за пределы Гарного Луга, и к нему, как к профессору этого дела, приезжали за советом все окрестные сутяги.

Появление в Гарном Луге капитана и независимое отношение нового владельца к опасному ябеднику грозили пошатнуть прочно установленный авторитет. Поэтому Баньке-

вич, наружно сохраняя наилучшие отношения к «уважаемому соседу и благодетелю», высматривал удобный случай для нападения... И вот на второй, кажется, год пребывания капитана в Гарном Луге Банькевич отправился на его ниву со своими людьми и сжал его хлеб.

Убыток был не очень большой, и запуганные обыватели советовали капитану плюнуть, не связываясь с опасным человеком. Но капитан был не из уступчивых. Он принял вызов и начал борьбу, о которой впоследствии рассказывал охотнее, чем о делах с неприятелем. Когда ему донесли о том, что его хлеб жнут работники Банькевича, хитрый капитан не показал и виду, что это его интересует... Жнецы связали хлеб в снопы, тотчас же убрали их, и на закате торжествующий ябедник шел впереди возов, нагруженных чужими снопами.

Дорога пролегла задами мимо капитанской усадьбы. Едва возы, скрипя, поравнялись с широкими воротами клуни, эти ворота внезапно открылись, капитан с людьми выскочил из засады и, подхватив лошадей и во-

лов, завернул возы в клуню. Их вводили в одни ворота, быстро выгружали и выпускали порожнем в другие. Атака произведена была так ошеломляюще быстро, что сторона Банькевича не оказала никакого сопротивления. Когда все было кончено, капитан, сняв фуражку, любезно благодарил доброго соседа за его помощь и приглашал откусать после трудов хлеба-соли.

Удар ябеднику был нанесен на глазах у всего Гарного Луга... Все понимали, что дело завязалось не на шутку: Банькевич отправился на «отпуск» к чудотворной иконе, что делал всегда в особенно серьезных случаях.

Когда он вернулся, из его окна всю ночь светился огонь на кусты жасмина, на бурьян и подсолнухи, а в избе виднелась фигура ябедника, то падавшего на колени перед иконой, когда иссякало вдохновение, то усиленно строчившего... На деревне пели уже петухи, когда окно Банькевича стукнуло и в нем появилось красное лицо со следами неостывшего еще вдохновения. С выражением торжества он поднял руку с листом бумаги и помаhal им в ту сторону, где высился темной кры-

шей с флашштоком «магазин» капитана, окруженный тополями.

Все эти подробности один из соседей тотчас же конфиденциально сообщил капитану.

Впоследствии капитан ознакомил нас с драматическими перипетиями этой борьбы. Надев роговые очки, подняв бумагу высоко кверху, он с чувством перечитывал ябеды Банькевича и свои ответы...

Писания Банькевича производили впечатление своеобразных, но, несомненно, талантливых произведений. Стиль был старинный русско-польский, кудреватый, запутанный, усеянный такими неожиданными оборотами, что порой чтение капитана прерывалось общим хохотом. Только сам чтец оставался серьезен. Было видно, что он отдавал дань искусству противника. Тут было действительно и знание законов, и выразительность, и своеобразный пафос, как будто рассчитанный на чувствительность судей. Себя автор называл не иначе, как «сиротой-дворянином», противника — «именующимся капитаном» (мой дядя был штабс-капитан в отставке), имя его называлось почему-то «незаконно приобре-

тенным», а рабочие — «безбожными»... «И как будучи те возы на дороге, пролегающей мимо незаконно приобретенного им, самозванцем Курцевичем, двора, то оный самозванный капитан со своей безбожною и законопротивною бандою, выскочив из засады с великим шумом, криком и тумультом, яко настоящий тать, разбойник и публичный грабитель, похватав за оброти собственных его сироты-дворянина Банькевича лошадей, а волов за ярма, — сопроводили оных в его, Курцевича, клуню и с великим поспехом покидали в скирды. О каковом публичном рабунке и явном разбое он, нижайший сирота-дворянин Антоний Фортунатов Банькевич, омочая сию бумагу горькими сиротскими слезами, просит произвести строжайшее следствие и дать суд по форме». В заключение приводились статьи, угрожавшие капитану чуть не ссылкой в каторжные работы, и список убытков, грозивший разорением.

На этих произведениях Банькевича я впервые знакомился с особенностями ябеднического стиля, но, конечно, мое изложение дает лишь отдаленное понятие об его красотах.

Особенно поражало обилие патетических мест. Старый ябедник, очевидно, не мог серьезно рассчитывать на судейскую чувствительность; это была бескорыстная дань эстетике, своего рода полет чистого творчества.

Пущенная по рукам жалоба читалась и перечитывалась. Газет в деревне не было. Книги почти отсутствовали, и с красотами писаного слова деревенские обыватели знакомились почти исключительно по таким произведениям. Все признавали, что ябеда написана пером острым и красноречивым и капитану придется «разгрызть твердый орех»... Банькевич упивался литературным успехом.

Капитан вооружился, в свою очередь, и вскоре тоже прочитал знакомым «в такой-то уездный суд корпуса лесничих отставного штабс-капитана Курцевича отзыв. А о чем оный отзыв» — тому следовали пункты.

Прежде всего он, проситель, не самозванец, а истинный государя своего штабс-капитан, на что имеет законные доказательства. Ибо участвовал в делах с мятежниками, причем понес ядерную контузию, имеет ордена. Выйдя в отставку, определился на службу по

корпусу лесничих, был производим в чины, по прошению уволен в отставку, в чине штабс-капитана с мундиром и пенсией. Из чего явствует, что именующий себя сиротой-дворянином Банькевич повинен не только в клеветническом оболгании его, Курцевича, но, сверх того, и в дерзостном пренебрежении высочайшего имени, на указах обозначенного.

Пафосу и чувствительности Банькевича капитан противопоставил язвительность и иронию. Он спрашивал: как сирота-дворянин очутился со снопами у его, Курцевича, клуни, когда всему свету известно, что собственное его, Банькевича, владение находится в другой стороне. «Слыхано и видано, — прибавлял капитан язвительно, — что сироты ходят с торбами, вымаливая куски хлеба у доброхотных дателей, — но чтобы сироты приезжали на чужое поле не с убогою торбиною, а с подводами, конно и людно, тому непохвальный пример являет собою лишь оный Антон Fortunатов Банькевич, что в благоустроенном государстве терпимо быть не может». А посему, за силою законов, капитан, в свою очередь,

требовал для Банькевича разных немилостивых наказаний.

Отзыв он повез в город лично. Прислуга вытащила из сундуков и принялась выколачивать военный мундир с эполетами, брюки с выпушками, сапоги со шпорами и каску с султаном. Развешанное на тыну, все это производило сильное впечатление, и в глазах смиренной публики шансы капитана сильно поднялись.

Тяжба тянулась долго, со всякими подходами, жалобами, отзывами и доносами. Вся слава ябедника шла прахом. Одолеть капитана стало задачей его жизни, но капитан стоял, как скала, отвечая на патетические ябеды язвительными отзывами, все расширявшими его литературную известность. Когда капитан читал свои произведения, слушатели хлопали себя по коленкам и громко хохотали, завидя такому необыкновенному «дару слова», а Банькевич изводился от зависти.

Едва ли самая злая газетная полемика так волнует теперь литературных противников, как волновала и самих участников, и местное общественное мнение эта борьба капитана с

злым ябедником, слава которого колебалась, как иная литературная репутация под ударами новой критики.

В конце концов Банькевич потерял самообладание и стал писать доносы в высшие инстанции на самих судей, чинящих одному Курцевичу толеранцию и потакательство, а ему, сироте-дворянину, — импертыненцию и несправедливость. Кроме того, он засыпал разные учреждения доносами на родственников и знакомых капитана и на знакомых этих знакомых. Стоило становому, проезжая по стороннему делу, завернуть к капитану — Банькевич писал донос на станового. Это была игра уже не на выигрыш, а отчаянная, слепая защита ябеднического самолюбия...

Суд, которому это надоело, собрал все писания Банькевича и отослал в сенат. Сенат применил к Банькевичу статью о «заведомых ябедниках», от коих всем присутственным местам и лицам воспрещается принимать жалобы и доносы. Решение это настигло Банькевича, как гром среди ясного неба. По предписанию нижнего земского суда в Гарный Луг явился становой пристав с волостными и

сельскими властями. Собрав гарнолужских понятых, он с злорадным торжеством явился к Антонию, отобрал у него всю бумагу, перья, чернила и потребовал у «заведомого ябедника» подписку о «неимении оных принадлежностей и на впредь будущие времена».

Банькевич был уничтожен. У злого волшебника отняли черную книгу, и он превратился сразу в обыкновенного смертного. Теперь самые смиренные из его соседей гоняли дрючками его свиней, нанося действительное членовредительство, а своих поросят, захваченных в заколдованных некогда пределах, отнимали силой. «Заведомый ябедник» был лишен покровительства законов.

Одной темной осенней ночью на дворе капитана завyla собака, за ней другая. Проснулся кто-то из работников, но сначала ничего особенного во дворе не заметил... Потом за клуней что-то засветилось. Пока он будил других работников и капитана, та самая клуня, с которой началась ссора, уже была вся в огне.

Эту ночь долго помнили в Гарном Луге. Хлеб уже был свезен, но только небольшая

часть обмолочена и зерно сложено в «магазине». Оставшиеся скирды и солома пылали так сильно, что невозможно было подступить; вверху над пожаром в кровавом отсвете вместе с искрами кружились голуби и падали в пламя, а огромные тополи около «магазина» стояли, точно сейчас отлитые из расплавленной меди. Поджог был сделан с расчетом — ветер дул на «магазин». Но вскоре он переменялся и подул в поле. Величавое дряхлое здание уцелело; только у некоторых тополей посохли верхушки и долго потом торчали сухими вениками над остальной буйной листвой, напоминая о страшной ночи.

Капитан в эту ночь посидел. Он хватался за пистолеты, и жене стоило много труда удерживать бешеные вспышки. А пан Антоний сидел утром на своем крылечке, по-прежнему сложив руки на круглом животе и крутя большими пальцами. Соседи видели, как он вышел из своей хаты в начале пожара, протирая глаза и не одетый. Улик, значит, не было. Но он не скрывал, что горячо молился пресвятой деве о своих обидах. И она дала ему понять, что его сиротские слезы не будут оставлены

без отщепенца... При этом масляные глазки «сироты-дворянина» сверкали радостным умилением, а на губах играла такая странная улыбка, что соседи опять начали низко кланяться Антонию...

Один раз успех как будто улыбнулся старому ябеднику и на любимом поприще. Подошло время восстания. Капитан был поляк, но патриот неважный, и опять брал события с юмористической стороны. Между прочим, он вздумал пошутить над Погорельским и стал уговаривать бывшего панцирного товарища поступить в банду. «Повстанцам недостает вождей, и человек, служивший в хоругви Холевинского, может стать во главе отряда». Бедный старик вздыхал, даже плакал, отбиваясь от соблазнителя: ни нога уже не годится для стремени, ни рука для сабли, — но капитан изо дня в день приходил к его хате, нашептывая одно и то же. В одном из этих разговоров он намекнул, что «до лясу» повезли целые возы окороков. Бедный оголодавший старик не выдержал и наутро после разговора — пришел записаться.

Судьба чуть не заставила капитана тяжело

расплатиться за эту жестокость. Банькевич подхватил его рассказ и послал донос, изложив довольно точно самые факты, только, конечно, лишив их юмористической окраски. Время было особенное, и капитану пришлось пережить несколько тяжелых минут. Только вид бедного старика, расплакавшегося, как ребенок, в комиссии, убедил даже жандарма, что такого вояку можно было вербовать разве для жестокой шутки и над ним, и над самым делом.

У ябедника Антония был брат Фортунат. Образ жизни он вел загадочный, часто куда-то отлучался и пропадал надолго с гарнолужского горизонта. Водился он с цыганами, греками и вообще сомнительными людьми «по лошадиной части». Порой к гарнолужскому табуну невесть откуда присоединялись дорогие статные лошади, которые так же таинственно исчезали. Многие качали при этом головами, но... пан Фортунат был человек обходительный и любезный со всеми...

Однажды он исчез и более в Гарном Луге не появлялся. Говорили, будто он сложил свою дворянскую голову где-то темною ночью

на промысле за чужими лошадьми. Но достоверно ничего не было известно.

XXIV. Деревенские отношения

Экзамены кончены. Предстоит два месяца свободы и поездка в Гарный Луг. Мать с сестрами и старший брат поедут через несколько дней на наемных лошадях, а за нами тремя пришлют «тройку» из Гарного Луга. Мы нетерпеливо ждем.

Наконец «тройка» является. Прежде всего на улице по направлению от заставы слышен шум. Бежит насмешливое еврейское юношество, крича, кривляясь, кидаясь грязью. В середине этой толпы виднеются три малорослые лошади: сивая кобыла, старый мерин, именуемый по прежнему владельцу Банькевичем, и третий — молодой конек, почти жеребенок, припрягаемый «на случай несчастья». В передний конец он бежит рядом с другими на оброти. На козлах сидит молодой парубок в бараньей шапке, лаптях и штанах с мотней... К нему подбегают насмешливые мишуресы, предлагая ясновельможному пану заехать к ним. Когда овации становятся слишком шумны и назойливы — «кучер»

приподымается и отмахивается кнутом, как от собак. Лицо его при этом совершенно деловито и серьезно. Почтенные рабочие лошади тоже относятся к шумной суетне совершенно серьезно: Банькевич только стрижет ухом, кобыла едва шевелит хвостом, и только юный жеребчик, к удовольствию толпы, становился поперек, высоко лягался и распускал хвост трубой.

Кучер Антось был парубок на удивление некрасивый: странной формы суженная кверху голова, несколько кривые, широко расставленные в бедрах ноги, точно ущипнутый нос и толстые губы. Все вместе производило впечатление, вызывавшее невольную улыбку. Впрочем, он и сам готов был посмеяться над собой. Даже выражение его смешных губ напоминало как будто не самое безобразие, а пародию на чье-то безобразие. И объяснялось это, кажется, глубокой иронией, с которою он относился к своей родной деревне, Гарному Лугу, и ко всему, что из него исходило, — значит, в том числе и к себе. Когда Саня выбежал навстречу и принимался с умилением целовать морды Банькевича и кобылы, Антось

смотрел на эти излияния с насмешливым презрением и без всякого повода вытягивал Банькевича кнутом.

В первый приезд, завернув лошадей к сараю и увидя Саню, он сказал ему просто:

— От я и приехал.

— Гы! А мы и не видим, — насмешливо заметил лакей отца, Павел, молодой человек с глуповатым лицом и отвислой нижней губой, но в сюртуке и грязной манишке. Горничная и кухарка подозрительно фыркнули.

Антось нимало не смутился. Скорчив невероятную рожу, он вытянул губы хоботом и так щелкнул в сторону Павла, что обе женщины расхохотались уже над Павлом. К вечеру он стал на кухне своим человеком и пользовался видимым успехом.

В городе он был тогда в первый раз и отнесся к его чудесам с почтительным вниманием. Запасшись кнутом на случай новых еврейских оваций, он весь день осматривал достопримечательности и долго стоял, задравши голову, перед старым замком на острове. Я застал его там: нескладная фигура терялась у подножия гигантского каменного рыцаря,

стоящего у подъезда. Глаза парубка с наивным изумлением бродили по стенам с фресками и проникали в зияющие впадины окон, откуда из таинственного полумрака поблескивала кое-где позолота карнизов и случайный луч света выхватывал уцелевшие на стенах фигуры нимф и амуров.

— Вот это видно, что паны когда-то жили, — сказал он, увидя меня. И, как-то особенно вздохнув, прибавил — Паны были настоящие...

Мне показалось, что в этом вздохе, вместе с почтением к настоящим панам, слышалась укоризна по адресу каких-то других, «не настоящих»...

Утром он поднял нас еще до рассвета, и мы по холодку проехали мимо заставы с сонным инвалидом.

Эти поездки с Антосем в Гарный Луг были для нас настоящим праздником; нельзя сказать, чтобы нам было особенно удобно в ободранной и тесной гарнолужской таратайке. Зато целый день перед нами мелькали леса, поля, перелески, реки. Стороной, около шоссе, тянулись вереницы богомольцев в Почаев;

ковылял старый еврей с мешком — разносчик своеобразной (впоследствии запрещенной) еврейской почты; тащила, шурша по щебню, балагула, затянута сверху пологом на обручах и набитая битком головами, плечами, ногами, перинами и подушками... На козлах еврей, живой и нервный, то и дело взмахивал кнутом, шевелил вожжами, головой, локтями, коленями и подбодрял лошадей отчаянным криком, не производившим на них ни малейшего впечатления.

Около двенадцати часов мы останавливались кормить в еврейском заезжем дворе, проехав только половину дороги, около тридцати верст. После этого мы оставляли шоссе и сворачивали на проселки.

Антось великодушно отдавал нам вожжи, а сам сидел боком и, свесив ноги, курил корешки в черешневой трубке, искусно сплевывая сквозь зубы.

— Вдарь Банькевича, вдарь! — командовал он и по временам брал кнут. Хлесткий удар влипал в спину злополучного мерина. Тройка встряхивала костистыми спинами, тележка катилась быстрее.

Порой в клубке пыли выкатывалась с проселка помещичья бричка. Антось окидывал ее внимательно критикующим взглядом и по большей части презрительно кривил губы, находя, вероятно, что упряжка не настоящая. Но вот на дорогу, как звери, выбежала из лесу пара серых, в краковских хомутах. На козлах сидел бравый кучер в шапочке с павлиньим пером и наборном поясе. В сиденье виднелся пан в полотняном плаще от пыли, кинувший на нас мимолетный усталый взгляд. Антось торопливо свернул с дороги и долго провожал видение восхищенным взглядом.

— Зализныцкий пан, — сказал он почти-тьельно. — Вот это кони... и кучер... Го-го!..

И бедному Банькевичу опять досталось вдоль спины за то, что он не настоящий панский конь, Антось не настоящий кучер и везет не настоящих паничей. В наших взаимных отношениях пробегало облако: мы чувствовали, что, в сущности, Антось презирает нас... правда, вместе с собою...

Солнце склонялось к закату, а наша «тройка» все еще устало месила пыль по проселкам, окруженная зноем и оводами. Казалось,

мы толчемся на одном месте. Некованные копыта мягко шлепали по земле; темнело; где-нибудь на дальнем болоте гудел «бугай», в придорожной ржи сонно ударял перепел, и нетопыри пролетали над головами, внезапно появляясь и исчезая в сумерках.

Становилось все тише, спокойнее и как будто печальнее. Мы приближались к цели; чувствовалась по знакомым признакам близость Гарного Луга, и вместе с радостью какой-то еще клубок странных ощущений катился за нами в пыльной сумеречной мгле. Головы отяжелели от жары, солнца и неудобного сиденья. Хотелось поскорей светлой комнаты, чаю, покоя. И из-за близости всего этого проглядывала смутная, неясная, неоформленная тревога, ожидание чего-то еще... чего-то неприятного, что въедет вместе с нами в деревню и останется на все время...

Мы долго молчим. Таратайка ныряет в лес. Антось, не говоря ни слова, берет вожжи и садится на козлы. Тройка бежит бодрее, стучат копыта, порой колесо звонко ударяет о корень, и треск отдается по темной чаще.

— Вот тут зимой за Антосем бежали два

волка, — задумчиво говорит Саня и прибавляет — Антось, правда?

Антось не отвечает. Лица его не видно, но мы чувствуем, что оно теперь недоброжелательно и угрюмо и что причина этого — близость Гарного Луга. Лес редееет. Песчаная дорога ведет к мостику, под которым сочится и журчит невидимая речка. Это здесь когда-то устраивались засады на Янкеля с бочкой... Тележка выкатывается на опушку.

Огромный звездный свод висит над широкой темной лощиной. На горизонте смутно рисуется группа тополей и темный массив «магазина». Кругом беспорядочно разбросаны огоньки.

Как хорошо... И как печально. Мне вспоминается детство и деревня Коляновских... Точно прекрасное облако на светлой заре лежит в глубине души это воспоминание... Тоже деревня, только совсем другая... И другие люди, и другие хаты, и как-то по-иному светились огни... Доброжелательно, ласково... А здесь...

Тележка останавливается и даже откатывается назад. Перед нами в темноте столбы скрипучего «коловорота» у въезда в деревню.

Кто-то отодвигает его перед нами. Налево, на холмике, светит открытая дверь кабака. В глубине видна стойка и тощая фигура шинкаря. Снаружи, на призьбе[23], маячит группа мужиков...

— Ты это, Антось? — несется оттуда вопрос

— А кто же?.. Я.

— Рано выехал?

— До ехид сонця...

— Отак... А приехал ночью...

— Добрые кони, — насмешливо отвечает Антось, и хлесткий удар звонко шлепает в мягкой тишине вечера.

— Что слышал?

— Ничего... Встретили зализныцького пана. Купил новую пару. Огонь! На кучере новая свита...

— Пан... настоящий...

Короткое молчание. Вспыхивают красные огоньки люлек. Один из мужиков подходит к тележке, заглядывает к нам и вежливо здоровается. Но от шинка опять несутся бесцеремонные замечания:

— Привез-таки?

— А привез, — отвечает Антось.

— Всех?

— А кто его знает: может, пару обронил по дороге. Пойдите, добрые люди, подберете — ваше.

— Своих довольно, свои осточертели до биса... В голосе слышна угрюмая вражда.

— Геть-геть... вьо-о!

Антось щелкает кнутом и принимает позу «настоящего» панского кучера, собирающегося лихо подкатить к крыльцу... Он делает вид, что с трудом удерживает лихую тройку, и даже отваливается корпусом назад. У кабака смеются. Тройка дергает вперед и заворачивает в переулок, где за ней увязываются собаки. Под этот лай, под хлопанье бича и кривлянье Антося мы подъезжаем к скромному дому капитана... И вместе с радостью прибытия, с предчувствием долгой свободы в душе стоит смутное сознание, что на эти два месяца мы становимся «гарнолужскими паничами». И над нами, как тень от невидимой тучи, простирается общее отношение этих убогих хат к своему панству... То есть инстинктивная вражда, как к панству вообще, и презрение, как к панству «не настоящему»...

Я уверен, что многие мои сверстники, выроставшие в условиях ликвидации крепостного строя, — в той или другой форме, в той или другой степени, вспомнят это особое сложное «деревенское впечатление»...

Один из работников капитана, молодой парубок Иван, не стесняясь нашим присутствием, по-своему объяснял социальную историю Гарного Луга. Черт нес над землей кошницу с панами и сеял их по свету. Пролетая над Гарным Лугом, проклятый чертяка ошибся и сыпнул семена гуще. От этого здесь панство закустилось, как бурьян на том месте, где случайно «ляпнула» корова. А настоящей траве, то есть мужикам, совсем не стало ходу...

Другие рабочие смеялись, мы... слушали.

Этот Иван был парубок молодой, смуглый, с глазами, горящими как угли. Из них глядела мрачная вражда, от которой по временам становилось жутко. Мы не могли тогда понять источника этой вражды и считали Ивана просто отвратительным человеком с дурным характером... Но в мрачном пламени его глаз было что-то незабываемое, беспредметно

гневное, стихийное. Казалось, он может без всякой причины кинуться на человека, зарубить топором, пропороть вилами. Однажды, когда мы вместе с рабочими возили с поля снопы, у Ивана вырвались лошади с порожней телегой, прибежали во двор с одним передком и в необъяснимом ужасе забились в тесный угол между плетнем и сараем. Иван прибежал за ними и, схватив большой дрюк, стал колотить напуганных животных по чем попало, бешено, исступленно, прямо безумно. Несколько человек едва справились с освирепевшим парубком, а лошади до самого вечера дрожали как в лихорадке непрерывающею мелкою дрожью. К рабочим он не выказывал никакой вражды, а только отмахивался и рвался опять к «проклятой панской скотине».

Капитан обыкновенно в случаях неисправностей ругал виновного на чем свет стоит так громко, что было слышно по всей деревне. Но на этот раз он не сказал ни слова. Только на следующее утро велел позвать Ивана.

Тот вошел, как всегда угрюмый, но смуглое лицо его было спокойно. Капитан пощелкал несколько минут на счетах и затем протянул

Ивану заработанные деньги. Тот взял, не интересуясь подробностями расчета, и молча вышел. Очевидно, оба понимали друг друга... Матери после этого случая на некоторое время запретили нам участвовать в возке снопов. Предлог был — дикость капитанских лошадей. Но чувствовалось не одно это.

Может быть, этот Иван был сын какого-нибудь спорного Микиты...

Была еще во дворе капитана характерная фигура, работник Карл, или, как его называли на польский лад, — Кароль. Это был не совсем заурядный крестьянин, а по виду и совсем не мужик. Самое имя его было не православное (кажется, он был из униатов). Черты лица были тонки, суховаты, заострены. Сеть морщинок около глаз оттеняла их странное выражение: то задумчиво спокойное, то какое-то колючее и горькое. Он был мастер на все руки: слесарь, столяр, плотник и даже механик. А так как капитан сам тоже обладал жилкой изобретателя-самоучки, то их соединяла как будто симпатия родственных натур. Они сообща построили водяную мельницу, шумевшую колесами на заднем конце пруда, а потом, ко-

гда воды оказалось мало для крупного помола, — конный привод. Часто их можно было видеть вместе: Кароль сидел на бревне или на мельничном приводе, с вечной люлькой в зубах и маленьким топориком в руках. Он постукивает топориком, курит, сплевывает, не говорит ни слова и внимательно слушает. А капитан, увлекаясь и жестикулируя, развивает какой-нибудь новый план. Фантазер и изобретатель, он эти свои планы излагал с увлечением, картинно, восторженно. А Кароль, усвоив их сущность, приводил в исполнение, самостоятельно исправляя недочеты замысла.

В эти минуты их можно было принять за двух неразлучных друзей. Но иной раз капитан за глаза говорил с горечью:

— А! Мужик, так мужик и есть! Как волка ни корми — все в лес глядит.

А Кароль иногда запивал, и тогда они старались не встречаться.

Как-то раз, на второй или на третий год наших приездов, мы узнали, что когда-то, незадолго до освобождения, капитан приказал обливать Кароля холодной водой на морозе...

Капитан был человек добрый, но время было тревожное, предрассветное, когда мрак как будто еще сгущается и призраки ночи мечутся в предчувствии скорого петушиного крика... Ходили темные слухи о воле, и в крестьянскую массу они проникали еще более смутные, неправдоподобные, фантастические...

В окрестностях появился гайдамак, называвший себя новым Кармелюком. Это был мужик из ближнего села, ходивший по лесу вместе с обнищавшим шляхтичем из местечка Корца и грабивший одних панов. Через некоторое время шляхтича нашли утопленным в колодце, а гайдамака выдал знакомый мужик. На него сделали облаву, в которой участвовали также помещики (капитан в их числе), — и сослали в Сибирь... Несколько лет об нем не было ни слуху ни духу, и вдруг он объявился опять. Мужик-доносчик косил на лужайке в лесу, когда перед ним неожиданно встал гайдамак. Доносчик считал себя погибшим; но тот заставил его сесть на пенек и... дочиста обрил бороду, усы и голову. В таком виде он отпустил его вестником к панам: новый

Кармелюк собирается в гости...

Однажды, на рождестве, Кароль с другим рабочим, возвращаясь из церкви лесной тропинкой, наткнулись в чаще на огонек. У костра сидели двое вооруженных людей. Они спросили у испуганных рабочих — чьи они? — угостили водкой и сообщили, что панам скоро конец.

Вернувшись, ни Кароль, ни его спутник ничего не сказали капитану о встрече, и он узнал об ней стороной. Он был человек храбрый. Угрозы не пугали его, но умолчание Кароля он затаил глубоко в душе как измену. В обычное время он с мужиками обращался лучше других, и мужики отчасти выделяли его из рядов ненавидимого и презираемого панства. Теперь он теснее сошелся с шляхтой и даже простил поджигателя Банькевича.

Однажды в какое-то неподходящее время Кароль запил, и запой длился дольше обыкновенного. Капитан вспылил и решил прибегнуть к экстренным мерам. На дворе у него был колодец с «журавлем» и желобом для поливки огорода. Он велел раздеть Кароля, положить под желоб на снег и пустить струю

холодной воды... Приказание было исполнено, несмотря на слезы и мольбы жены капитана. Послушные рабы истязали раба непокорного...

Об этой истории никто впоследствии не смел напомнить капитану, и когда, узнав о ней, я спросил у двоюродной сестры: правда ли это? — она вдруг побледнела и с расширенными глазами упавшим голосом сказала:

— Правда, но... ради бога, тише.

Эпизод этот залег в моей памяти каким-то странным противоречием, и порой, глядя, как капитан развивает перед Каролом какой-нибудь новый план, а тот слушает внимательно и спокойно, — я спрашивал себя: помнит ли Кароль или забыл? И если помнит, то винит ли капитана? Или себя? Или никого не винит, а просто носит в душе беспредметную горечь и злобу? Ничего нельзя было сказать, глядя на суховатое морщинистое лицо с колючей искоркой в глазах и с тонкими губами, сжатыми, точно от ощущения укуса и желчи...

Впрочем, и я, конечно, не разбирался и не суммировал своих впечатлений. Капитан человек добродушный... И он обливал человека

водой на морозе... Кароль с ним теперь как будто дружен... Но «как волка ни корми — он глядит в лес». И что-то неприятное примешивалось ко всем деревенским впечатлениям. Было хорошо иной раз отправиться в ночное с кучкой деревенских ребят, весело скакавших в сумерках на неоседланных лошадях. Приятно и жутко спать в саду под деревом, прислушиваясь к ночным шепотам и шорохам... Порой среди тихого бреда ночной природы срывалось отяжелевшее яблоко и, громко хлопая по листьям, падало на землю... Кричит дальний петух... Тявкает на деревне собака... Близко пролетает с торопливым звонким криком какая-то неутомная или напуганная птица... И вдруг в затихшем саду новые звуки: треснула ветка хвороста, шуршат кусты. Дерево дрожит слишком частой дрожью, яблоки стучат по земле, как град... Это *они* из деревни забрались в сад, и подходить к ним опасно. Мы втроем начинаем стучать по стволам и кричим в темноту чащи. Со двора бегут собаки. Неясные тени медленно исчезают в кустах...

Матери опять не хотят нас пускать ноче-

вать в саду. Бог знает, что у них на уме... Но те, что приходят «на двор» с просьбами, кланяются, целуют руки... А те, что работают у себя на полях, — кажутся такими умелыми и серьезными, но замкнутыми и недоступными...

Усадьба капитана была ограждена непроницаемыми кустами сирени, и наша жизнь постепенно все более замыкалась в ее пределах... Между нами и деревней стояла стена, и мы чувствовали себя людьми без собственной среды.

Правда, капитан жил теперь в мире с соседями, и гарнолужские «паны» часто посещали его приветливый дом. Лохманович, по-прежнему «маестатозный»[24], хотя надевший вместо «чамары» простую «сукману» из верблюжьей шерсти, не пропускал ни одного торжественного случая. Приходил, покашливая в передней, кланялся капитану, целовал руки у женщин и ждал «стола». Из всех остальных претензий он особенно сохранил претензии гастронома и уверял, будто может различать тончайшие оттенки вин. Пользуясь его слабостью, мы приготавливали порой невероятные смеси, создавая для них торже-

ственную обстановку. Бедный шляхтич смотрел на свет, смаковал, пил с удовольствием и хвалил. Только однажды, когда мы хватили через край и угостили смесью пива, вина и дрожжей, — он все-таки выпил всю бутылку, но на вопрос о качестве — ответил:

— Ну... скажу вам откровенно: обыкновенное столовое вино... не больше.

В особенно торжественных случаях являлся в капитанском доме даже «заведомый ябедник», сирота-дворянин Банькевич. Он сильно растолстел и ослаб. За ужином ел невероятно много, а затем садился поуютнее в кресле и, сложив на животе красные руки, глядел на танцующую или играющую молодежь благодушными глазками, пока не засыпал. Было известно, что в такие минуты с достойным шляхтичем бывают не совсем приличные случайности. Кавалеры хихикали, барышни краснели, а беспечный шляхтич просыпался, окидывал притихший зал светлым взглядом и спрашивал:

— А?.. Что такое?..

Порой приезжали более отдаленные соседи-помещики с семьями, но это бывало редко

и мимолетно. Приезжали, здоровались, говорили о погоде, молодежь слушала музыку, порой танцевала. Ужинали и разъезжались, чтобы не видаться опять месяцы. Никаких общих интересов не было, и мы опять оставались в черте точно заколдованной усадьбы.

Яркий солнечный день. Раскаленные лучи заливают круглую клумбу с цветами, темную зелень сирени, садовые аллеи. Где-то, как намазаное колесо, клекочет аист, в раскрытые окна из гостиной несутся звуки фортепиано. Это кухня играет пьесы из своего небогатого репертуара: «Песня без слов», «Молитва девы», «Полонез» Огинского, шумки и думки польско-украинских композиторов. Играет недурно... Звуки, полные то беспредметной страсти, то неоформленных исторических воспоминаний, то мечтательного томления, рвутся из комнаты, веют над цветами, вьются, носятся, гаснут над истомленным садом. Я слушаю их с наслаждением, странным, томительным, жутким. Они рождают в груди ощущение, которое ищет исхода, порывается куда-то далеко за этот круг цветов и сирени, куда-то вдаль... Порывается и не может взлететь

и носится все в том же тесном и знойном кругу... Я ухожу в темные уголки сада, сажусь там и даю волю воображению... В певучем рокоте фортепиано, смягченном расстоянием и зарослями, мне слышится звон чаш, лязг сабель, крики борьбы... И опять романтические призраки прошлого обступают меня кругом, овладевают душой, колышут, баюкают, нежат, уносят в неведомые края и неведомое время... Рыцари, знамена, пыль на степных широких шляхах... Скачка, погоня, сеча... С кем? За что? С какой целью? Во имя какой идеи? Этого не говорит ни этот звенящий рокот, ни раскаленное зноем воображение... А где-то там, за пределами усадьбы, идет своя трудовая жизнь, неведомая и чуждая... От нее веет в наши заколдованные пределы отчужденностью, презрением, враждой... И нет ничего, что бы связало жизнь воображения, мечты, порыва с этой суровой, но действительно жизнью труда и терпения...

.....

На третий, кажется, год мы приехали в Гарный Луг зимой, на святки, и здесь узнали, что Антось умер.

На меня это известие произвело такое впечатление, как будто все то неопределенное, чем веяло на нас с мужичьей деревни, вдруг сгустилось в темное облако и оттуда пал громовой удар.

Судьба некрасивого парубка была не совсем обыкновенна.

— Антось, может быть, не простой человек, — говорил нам со своим простодушно-печальным и задумчивым видом Саня.

Происхождение Антося было для нас окутано тайной. Впоследствии я узнал, что тайна эта не особенно сложна. В усадьбе капитана жил некоторое время молодой землемер, и была «покоёвая панна» (нечто почетнее обыкновенной горничной) из обнищавшей шляхты. Он был бедняк, но... это не помешало увлечению, а только свадьбе. За околицей, под купой больших осокорей, стояла хата старушки вдовы Гапки, и в этой хате Антось увидел свет. После этого землемер уехал искать доли, а панна, пока он не найдет эту долю, тоже уехала куда-то на место... Антось остался у Гапки, а потом, в ожидании, пока его потребуют родители, — его взяли к капитану.

Но «доля» так и не далась молодому землемеру. Родители больше уже не встретились ни друг с другом, ни со своим ребенком...

Такова была простая история появления Антося на белом свете вообще и в частности в Гарном Луге. Но так как старшие неохотно раскрывали перед нами черты этого «неприличного» эпизода, то в наших умах из отдельных черточек сложилась более романтическая легенда. Мы почему-то думали, что мать Антося приехала в Гарный Луг в карете, что время родов застигло ее у Гапкиной хаты, что ее высадили какие-то таинственные господа, которые затем увезли ее дальше, оставив Гапке Антося, денег на его содержание и разные обещания. Потом таинственные господа исчезли в широком свете, Гапка умерла, и капитан по своей доброте взял покинутого сироту к себе на кухню.

Так оно, наверное, и было: когда капитан решил оставить у себя сиротку, то, без сомнения, слушался только своего доброго сердца, а не расчета. Остальное пришло как награда за доброе дело, и случилось естественно и просто: мальчик сначала бегал по всем комна-

там; им, вероятно, забавлялись и ласкали; потом, естественным образом, местом его постоянного пребывания стала кухня, где его, походя, толкали и кормили. Говорил он, разумеется, «по-мужицки» и вообще вырастал маленьким «мужиком», некрасивым, вихрастым, глядевшим искоса, «зызом». А так как естественное состояние мужиков в то время было «кршацтво», то никто и не заметил, как в лице приемыша Антося подрастал капитану крепостной работник.

В этом положении мы и застали Антося. Это не казалось нам в то время предосудительным или несправедливым, и мы приняли факт так же непосредственно, как и все факты жизни, естественно выроставшие из почвы... Антошь был такой же работник из бывших крепостных, как и другие. Только работал за более дешевую плату, и капитан ругал его иной раз байстрюком и неблагодарным. Если можно за это осуждать кого-нибудь, то только таинственных родителей. Но они для нас просто романтические фантомы. Появились, исчезли, Антошь остался... И все... Факт вырос в жизни, как в лесу вырастает

или сохнет дерево...

Знал ли сам Антось «простую» историю своего рождения или нет?.. Вероятно, знал, но так же вероятно, что эта история не казалась ему простой... Мне вспоминается как будто особое выражение на лице Антося, когда во время возки снопов мы с ним проезжали мимо Галкиной хаты. Хата пустовала, окна давно были забиты досками, стены облупились и покосились... И над нею шумели высокие деревья, еще гуще и буйнее разросшиеся с тех пор, как под ними явилась новая жизнь... Какие чувства рождал в душе Антося этот шум?

Нужно сказать, что некрасивая фигура парубка не возбуждала идеи о «благородном происхождении». Может быть, он был посеян розой, но по странной игре природы вырос чертополохом. Только немногие черты выделяли его из остальной дворни: между прочим, он был страстный музыкант.

Мои двоюродные сестры учились у гувернанток игре на фортепиано, и одна играла недурно. Когда в гостиной рокотали клавиши и звуки неслись в открытые окна, Антось останавливался над своей работой, а иногда

пробирался в кусты и жадно слушал. Иной раз, когда не было капитана, добродушные кузины позволяли ему подходить к инструменту и наигрывали нравившиеся ему мотивы. Кроме того, по воскресеньям у шинка две скрипицы и контрабас наяривали плясовые мотивы, под которые на утоптанной площадке парубки и дивчата плясали казачка... Антось ловил звуки и присматривался к инструментам.

Однажды он смастерил простым ножом грубое подобие скрипки и стал пиликать в конюшне плясовые напевы, а порой передразнивал «Полонез» Огинского или «Молитву девы». Сначала к этому относились как к курьезу, но потом капитану показали оскорбительными эти конюшенные пародии на благородную музыку, или он нашел, что музыкальное баловство мешает работе, — только однажды он страшно вспылил и разбил скрипку вдребезги. Антось сделал другую, лучшую, и с этих пор между Антосем и капитаном началась своеобразная война: Антось прятал скрипки, капитан находил и ломал их. Мы все, молодежь, сочувствовали Антосю

и вместе с ним придумывали новые тайники, но и это было только непосредственное чувство: мы готовы были укрыть Антося от капитанского гнева, как укрыли бы от грозы, не рассуждая о том, права эта гроза или нет...

И еще в одном заметно было влияние «непростого происхождения» Антося. Это — в необыкновенном почтении к «настоящим панам»... Эта черта была и в других гарнолужанах, и она понятна. Если уж нужны на свете «господа», то пусть будут «настоящие». Около них и кормиться легче, и подчиняться не так обидно. Но у Антося чувство это достигало размеров какого-то культа... Может быть, он представлял себе, что где-нибудь в неведомом свете стали настоящими господами и те двое людей, которые бросили его в жизни и забыли... А вдруг вспомнят... И он станет тоже «настоящим» и поднимется над презирающими его и презираемыми не настоящими гарнолужскими панами...

Смерть покончила и с этими мечтами, и с этой судьбой... И была она тоже стихийно проста и бессмысленна.

Несмотря на экстренно некрасивую на-

ружность, годам к двадцати Антось выработался в настоящего деревенского ловеласа. Из самого своего безобразия он сделал орудие своеобразного грубоватого юмора. Кроме того, женское сердце чутко, и деревенские красавицы разгадали, вероятно, сердце артиста под грубой оболочкой. Как бы то ни было, со своими шутками и скрипичей Антось стал душой общества на вечерницах.

Однажды, захватив скрипку, он тайно ушел со двора и наутро вернулся, еле волоча ноги. На расспросы, что с ним, он не говорил ничего: «нездужаю» — и только. Было еще довольно тепло, только по утрам становились заморозки, и Антось, с инстинктом дикого животного, удалился из людской и устроил себе пристанище на чердаке брошенной водяной мельницы, в конце пруда, совершенно заросшего зеленой ряской. Туда редко кто ходил; там было тихо, пустынно. В полдень, разогретые солнцем, квакали засыпающие на зиму лягушки, и однотонно звенела вода, просачиваясь в старые шлюзы. Изредка наведывавшиеся товарищи слышали, как Антось временами стонет на своей вышке. Но когда

подходили, он смолкал и говорил, что ему лучше.

О медицинской помощи, о вызове доктора к заболевшему работнику, тогда, конечно, никому не приходило в голову. Так Антось лежал и тихо стонал в своей норе несколько дней и ночей. Однажды старик сторож, пришедший проведать больного, не получил отклика. Старик сообщил об этом на кухне, и Антося сразу стали бояться. Подняли капитана, пошли к мельнице скопом. Антось лежал на соломе и уже не стонал. На бледном лице осел иней...

Приехал становой с уездным врачом, и Антося потрошили. По вскрытии оказалось, что Антось страшно избит и умер от перелома ребер... Говорили, что парубки, недовольные его успехами на вечерницах и его победами, застигли его ночью где-то под тыном и «били дрючками». Но ни сам Антось и никто в деревне ни единым словом не обмолвился о предполагаемых виновниках.

Как умершего без покаяния и «потрошенного», его схоронили за оградой кладбища, а мимо мельницы никто не решался проходить

в сумерки. По ночам от «магазина», который был недалеко от мельницы, неслись отчаянные звуки трещотки. Старик сторож жаловался, что Антось продолжает стонать на своей вышке. Трещоткой он заглушал эти стоны. Вероятно, ночной ветер доносил с того угла тягучий звон воды в старых шлюзах...

К тому времени мы уже видели немало смертей. И, однако, редкая из них производила на нас такое огромное впечатление. В сущности... все было опять в порядке вещей. Капитан пророчил давно, что скрипка не доведет до добра. Из дому Антось ушел тайно... Если тут была вина, то, конечно, всего более и прямее были виновны неведомые парубки, то есть деревня... Но и они, наверное, не желали убить... Темная ночь, слишком тяжелый дрючок, неосторожный удар...

И тем не менее было что-то подавляюще-тревожное, мрачное, почти угрожающее в этой нелепой гибели... В зимние вечера от мельницы несло безотчетным ужасом. И вместе что-то тянуло туда. Дверка вышки была сорвана с одной петли, и перед нею намело снегу. На чердаке было темно, пусто, вяло

жуткой тайной и холодом...

Однажды на этих святках старшие уехали куда-то, а мы остались дома одни. Зима была снежная, завалило крыши, клумбы, оголенные кусты сирени, узкие дорожки сада. К вечеру поднялась метель, закрывая белыми хлопьями черные стекла. Мы сидели, сгрудившись в одной комнате, у камина, и разговаривали об Антосе, об его полулегендарном для нас происхождении, об его скрипках. Над разговорами этими носилось невысказываемое, может быть, даже несознанное ощущение чьей-то вины, какой-то крупной неправды... А темная ночь глухо гудела за стенами, над садом, над усадьбой, над мельницей.

Вдруг за стеной в саду послышался лай. Собаки от метели скрылись у садового крыльца, где было тише, и теперь, сорвавшись разом, бешеным клубком понеслись в аллею. И так же внезапно лай стих... С минуту несло только шипение и вой метели, потом совсем близко послышался пугливый визг, что-то кинулось к наружной двери... Дверь, неплотно запертая, соскочила с задвижки... В сени проникла возня, жалобный визг собак и громкий,

торжествующий свист ветра. Казалось, кто-то ворвался в дом и слепо стучится к нам в двери, не находя входа...

Мы переглянулись. Лица были бледны.
— Волк, — сказал кто-то. — Надо выйти.

Выходить было жутко, но мы, мальчики, взяли фонарь, сняли со стены два ружья, старый заряженный пистолет и вышли. Дверь в сенях была открыта, и уже успело накидать снегу. Ободренные нашим присутствием, собаки опять яростно залаяли и понеслись в аллею. За ними ничего не было видно, только в свете фонаря неслись в неистовой пляске белые хлопья, а где-то в невидимом ночном просторе слышался непрерывный протяжный шум, свист, гудение. И еще выделялся глубокий, тревожный гул тополей, а на старой крыше «магазина» железные листы гремели, как будто кто трогал их или пробегал тяжелыми торопливыми шагами. Казалось, будто этой странной ночью все живет особенной жизнью: кто-то огромный мечется среди метели, плачет, грозит и проклинаяет, а все остальное несется, налетает, отступает, шипит, гудит, грохочет, грозит или трясется от

страха...

Собаки опять затихли, и нам было слышно, как они, спутанным клубком, перескакивая друг через друга, опять убегают от кого-то, жалко визжа от ужаса. Мы поспешно вбежали в сени и плотно закрыли дверь... Последнее ощущение, которое я уносил с собой снаружи, был кусок наружной стены, по которой скользнул луч фонаря... Стена осталась там под порывами вихря. И казалось, ей тоже страшно. Собаки жались к дверям и жалобно, трусливо скулили...

В комнате, освещенной огнем камина, некоторое время стояла тишина.

— Это — Антось... — сказала одна из сестер упавшим голосом.

Это было глупо, но в этот вечер все мы были не очень умны. Наша маленькая усадьба казалась такой ничтожной под налетами бурной ночи, и в бесновании метели слышалось столько сознательной угрозы... Мы не были суеверны и *знали*, что это только снег и ветер. Но в их разнообразных голосах слышалось что-то, чему навстречу подымалось в душе неясное, неоформленное, тяжелое ощущение...

ние... В этой усадьбе началась и погибла жизнь... И, как стоны погибшей жизни, плачет и жалуется вьюга...

Поздно ночью, занесенные снегом, вернулись старшие. Капитан молча выслушал наш рассказ. Он был «вольтерианец» и скептик, но только днем. По вечерам он молился, верил вообще в явления духов и с увлечением занимался спиритизмом... Одна из дочерей, веселая и плутоватая, легко «засыпала» под его «пассами» и поражала старика замечательными откровениями. При сеансах с стукающим столом он вызывал мертвецов... Сомнительно, однако, решился ли бы он вызвать для беседы тень Антося...

На следующий день метель стихла, над наметанными за ночь сугробами ярко светило солнце, с крыш и ветвей срывались белые комочки снега... Мы решили, что, наверное, собаки вчера испугались забежавшего из лесу волка...

.....

XXV. Смерть отца

Мы были на летних каникулах в Гарном Луге, когда мать, остававшаяся это лето в

городе, прислала известие, чтобы мы все приезжали. Отцу плохо.

Последние годы он все слабел. Уже давно он оставил все свои фантазии, изучение языков, философию, ветеринарию и тому подобные неожиданности, которыми прежде выражались не стихавшие порывы его молодости. Впрочем, уже в самые последние годы жизни он производил еще один опыт. Брился он всегда сам, и так как это становилось для него все труднее, то он задумал более радикальное средство: завел тонкие стальные щипчики и выщипывал волосок за волоском. «Облагодетельствую всех чиновников, — говорил он с трогательным отблеском прежнего тихого юмора, — брейся три раза в неделю, — ведь это мука. А так — выщипал раз — и кончено».

На щеках у него в это время можно было видеть выщипанные плешинки, которые, однако, скоро зарастали. Он выщипывал вторично, думая таким образом истощить рост волос, но результаты были те же... Пришлось признать, что проект облагодетельствования чиновного рода не удастся...

Ему оставалось немного дослужить до пен-

сии. В период молодой неудовлетворенности он дважды бросал службу, и эти два-три года теперь недоставали до срока. Это заставляло его сильно страдать: дотянуть во что бы то ни стало, оставить пенсию семье — было теперь последней задачей его жизни.

Казалось, на этом сосредоточились все оставшиеся его силы. Он уже не глядел по сторонам жизненной дороги — не устраивал даже левинных карточных вечеров, не вмешивался в хозяйственные дела, не спрашивал нас об успехах в гимназии. Встав утром, он заставлял лакея обтирать себя холодной водой, пил молча чай, надевал мундир и отправлялся через наш дворик в суд. В суде держал себя все время так, чтобы никто не мог заметить его слабости. Когда однажды мать послала меня зачем-то экстренно к отцу в эти деловые часы, я был удивлен его видом. Он сидел на своем месте важный и бодрый, принимал доклады и отдавал ясные, точные приказы. Было видно, что все нити управления судом он держал твердо в своих слабевших руках.

Правда, в это время у него был хороший помощник: недавно присланный новый «под-

судок» Попов, человек отцовских взглядов на службу, добрый, деловитый и честный. Отец относился к нему с уважением и доверием.

Возвращаясь домой, отец сразу слабел и, едва пообедав, ложился спать. По вечерам опять занимался, а затем ходил, по совету врача, полчаса по комнате, с трудом волоча ноги и постукивая палкой. Дослужить... дослужить во что бы то ни стало остающиеся несколько месяцев... На эту задачу свелась теперь вся жизненная энергия этого не совсем заурядного человека!

Когда еврей-посыльный принес к нам в деревню письмо матери, оно застало нас в разгаре молодого веселья, которое сразу упало. В тот же день мы выехали на гарнолужских лошадях до первой почтовой станции. Пока на станции запрягали перекладных, я с младшим братом вышел в переулок у шоссе. Был необыкновенно светлый осенний вечер, когда сумерки угасают незаметно, а сверху, почти с середины неба, уже светит полная луна. Это опять была минута, которая во всех мелочах запала на всю жизнь в мою память. Вся природа показалась мне проникнутой ка-

кой-то особенной, мягкой и печальной сознательностью. Тихо шептались листья орешника и ольхи, ветер обвевал лицо, с почтового двора доносилось потренькивание подвязываемого к дышлу колокольчика — и мне казалось, что все эти сдержанные шумы, говор леса, поля и почтового двора говорят по-своему об одном: о конце жизни, о торжественном значении смерти...

Двоюродный брат, только что выпущенный из училища офицер, тихо подошел к нам и дружески обнял обоих.

— Может быть, выздоровеет, — сказал он.

Но я сознавал, что надежды нет, что все кончено. Я чувствовал это по глубокой печали, разлитой кругом, и удивлялся, что еще вчера я мог этого не чувствовать, а еще сегодня веселился так беспечно... И в первый раз встал перед сознанием вопрос: что же теперь будет с матерью, болезненной и слабой, и с нами?..

Колокольчик забился сильнее, заворчали колеса, и через минуту мы ехали по белой ленте шоссе, уходившей в ночную мглу, к сумрачным пятнам дальних перелесков, таким

же неясным и смутным, как наше будущее, но все-таки озаренным, как молодость...

Отца мы застали живым. Когда мы здоровались с ним, он не мог говорить и только смотрел глазами, в которых виднелись страдание и нежность. Мне хотелось чем-нибудь выразить ему, как глубоко я люблю его за всю его жизнь и как чувствую его горе. Поэтому, когда все вышли, я подошел к его постели, взял его руку и прильнул к ней губами, глядя в его лицо. Губы его зашевелились, он что-то хотел сказать. Я наклонился к нему и услышал два слова:

— Не мучь...

На следующий день судьи не стало. За его гробом шло очень много народа, в том числе много бедноты, мещан и евреев. Военский начальник прислал оркестр, и под звуки похоронного марша, под плеск ветра в хоругвях, сдержанный шепот толпы гроб понесли на кладбище. Старый инвалид высоко поднял бревно шлагбаума, из окон тюрьмы глядели бледные лица арестантов, хорошо знавших этого человека, лежавшего в гробу с бледным лицом и в мундире... «Вечная память»... Стук

земли о крышку гроба, заглушённые рыдания матери, на ровенском кладбище вырос новый холмик под стеной скромной деревянной церкви.

Матери пришлось сразу взять на себя бремя оставшейся семьи. Отец все-таки не дослужил несколько месяцев, и потому пришлось много хлопотать, чтобы добиться хоть маленькой пенсии. За тридцать с лишком лет службы вдова судьи, известной своей исключительной честностью в те темные времена, получила что-то около двенадцати рублей вдовой пенсией. Вместе с детьми это составляло около семнадцати рублей в месяц, и это благодаря усиленным стараниям двух-трех добрых людей, которые чтит память отца и помогали матери советом... Чтобы кое-как довести до конца наше учение, мать тотчас после похорон стала хлопотать о разрешении держать ученическую квартиру, и с этих пор, больная, слабая и одинокая, она с истинно женским героизмом отстаивала наше будущее... Судья мог спать спокойно в своей скромной могиле под убогой кладбищенской церковью: жена, насколько могла и даже бо-

лее, выполнила задачу, которая так мучила перед концом его страдающую душу...

Жизнь ее изменилась сразу и резко. Из «жены судьи», одного из первых людей в городишке, она превратилась в бедную вдову с кучей детей и без средств (пенсию удалось выхлопотать только через год). Ей пришлось являться просительницей перед людьми, еще недавно считавшими за честь ее знакомство, а в качестве «содержательницы ученической квартиры» она зависела от гимназического начальства. Правда, за очень редкими исключениями, я не могу припомнить случаев, когда бы обыватели города резко дали ей почувствовать эту перемену, и, наоборот, были случаи трогательной доброты и помощи.

Могила отца была обнесена решеткой и заросла травой. Над ней стоял деревянный крест, и краткая надпись передавала кратчайшее содержание жизни: родился тогда-то, был судьей, умер тогда-то... На камень не было денег у осиротевшей семьи. Пока мы были в городе, мать и сестра каждую весну приносили на могилу венки из цветов. Потом нас всех разнесло по широкому свету. Могила сто-

яла одинокая, и теперь, наверное, от нее не осталось следа...

Что осталось от жизни, от ее ошибок и ее страданий?..

Я тогда еще верил по-отцовски и думал, что счета отца сведены благополучно: он был человек религиозный, всю жизнь молился, исполнял долг, посильно защищал слабых против сильных и честно служил «закону». Бог признает это — и, конечно, ему теперь хорошо.

Впоследствии «простая» вера разлетелась, и в моем воображении вставала скромная могила: жил, надеялся, стремился, страдал и умер с мукой в душе за участь семьи... Какое значение имеет теперь его жизнь, его стремления и его «преждевременная» честность?..

— Чудак был, — решали не раз благодушные обыватели. — А что вышло: умер, оставил нищих.

И говорили это тоже люди «простодушной веры» в бога и в его законы. Никогда ни у матери, ни у всей семьи нашей не возникало и тени таких сомнений.

Часть пятая

Новые веяния

XXVI. «Новые»

Кажется, я был в пятом классе, когда у нас появились сразу несколько новых молодых учителей, проходивших курс гимназии в попечительство Пирогова и только что вышедших из университета.

Одним из первых появился Владимир Васильевич Игнатович — учитель химии. Это был молодой человек, только что с университетской скамьи, с чуть заметными усиками, маленького роста, с пухлыми розовыми щеками, в золотых очках. У нас были ученики, выглядевшие старше своего учителя. Говорил он тонким голосом, в котором будто сохранились детские нотки. В классе несколько робел, и лицо его часто заливал застенчивый румянец. Обращался он с нами вежливо, преподавал старательно, заданное спрашивал редко, к отметкам выказывал пренебрежение, уроки объяснял, как профессор читает лекцию. Голос у него был тоже нетвердый,

нежный... Хотелось, чтобы он взял хоть нотой ниже и крепче...

Первым результатом его системы было то, что класс почти перестал учиться. Вторым, что ему порой начали слегка грубить. Бедный юноша, приступавший к нам с идеальными ожиданиями, платился за общую систему, которая вносила грубость и цинизм. Впрочем, это было недолго. Однажды, когда класс шумели Игнатович напрасно надрывал свой мягкий голосок, одному из нас показалось, будто он назвал нас стадом баранов. Другие учителя очень часто называли нас стадом баранов, а порой и хуже. Но то были другие. Они были привычно грубы, а мы привычно покорны. Игнатович сам приохотил нас к другому обращению... Один из учеников, Заруцкий, очень хороший, в сущности, малый, но легко поддававшийся настроениям, встал среди шумевшего класса.

— Господин учитель, — сказал он громко, весь красный и дерзкий. — Вы, кажется, сказали, что мы стадо баранов. Позвольте вам ответить, что... в таком случае...

Класс вдруг затих так, что можно было

слышать пролетевшую муху.

— Что в таком случае... вы сами баран...

Стеклянная колбочка, которую держал в руках Игнатович, звякнула о реторту. Он весь покраснел, лицо его как-то беспомощно дрогнуло от обиды и гнева... В первую минуту он растерялся, но затем ответил окрепшим голосом:

— Я этого не говорил... Вы ошиблись... Простой ответ озадачил. В классе поднялся ропот, значение которого сразу разобрать было трудно, и в ту же минуту прозвенел звонок. Учитель вышел; Заруцкого окружили. Он стоял среди товарищей, упрямо потупившись и чувствуя, что настроение класса не за него. Сказать дерзость учителю, вообще говоря, считалось подвигом, и если бы он так же прямо назвал бараном одного из «старых» — Кранца, Самаревича, Егорова, то совет бы его исключил, а ученики проводили бы его горячим сочувствием. Теперь настроение было недоумело-тяжелое, неприятное...

— Свинство, брат, — сказал кто-то.

— Пусть жалуется в совет, — угрюмо ответил Заруцкий.

Для него в этой жалобе был своего рода нравственный выход: это бы сразу поставило нового учителя в ряд со старыми и оправдало бы грубую выходку.

— И пожалуется... — сказал кто-то.

— Конечно. Думаешь — спустит?

— Нет, не пожалуется.

— Пожалуется.

Этот вопрос стал центром в разыгравшемся столкновении. Прошло два дня, о жалобе ничего не было слышно. Если бы она была — Заруцкого прежде всего вызвал бы инспектор Руцевич для обычного громового внушения, а может быть, даже прямо приказал бы уходить домой до решения совета. Мы ждали... Прошел день совета... Признаков жалобы не было.

Наступил урок химии. Игнатович явился несколько взволнованный; лицо его было серьезно, глаза чаще потуплялись, и голос срывался. Видно было, что он старается овладеть положением и не вполне уверен, что это ему удастся. Сквозь серьезность учителя проглядывала обида юноши, урок шел среди тягостного напряжения. Минут через десять Заруц-

кий, с потемневшим лицом, поднялся с места. Казалось, что при этом на своих плечах он поднимает тяжесть, давление которой чувствовалось всем классом.

— Господин учитель... — с усилием выговорил он среди общей тишины. Веки у молодого учителя дрогнули под очками, лицо все покраснело. Напряжение в классе достигло высшего предела.

— Я... прошлый раз... — начал Заруцкий глухо и затем, с внезапной резкостью, закончил — Я извиняюсь.

И сел с таким видом, точно сказал новую дерзость. Лицо у Игнатовича посветлело, хотя краска залила его до самых ушей. Он сказал просто и свободно:

— Я говорил уже, господа, что баранами никого не называл.

Инцидент был исчерпан. В первый еще раз *такое* столкновение разрешилось *таким* образом. «Новый учитель» выдержал испытание. Мы были довольны и им и — почти бессознательно — собою, потому что также в первый раз не воспользовались слабостью этого юноши, как воспользовались бы слабо-

стью кого-нибудь из «старых». Самый эпизод скоро изгладился из памяти, но какая-то ниточка своеобразной симпатии, завязавшейся между новым учителем и классом, осталась.

Вскоре Игнатович уехал в отпуск, из которого через две недели вернулся с молоденькой женой. Во втором дворе гимназии было одноэтажное здание, одну половину которого занимала химическая лаборатория. Другая половина стояла пустая; в ней жил только сторож, который называл себя «лабораторщиком» (от слова «лабораторня»). Теперь эту половину отделали и отвели под квартиру учителя химии. Тут и водворилась молодая чета.

Жена Игнатовича была выше его ростом, худенькая, смуглая, не особенно красивая. Но, на наш взгляд, в ней было что-то необыкновенно привлекательное, вернее — было что-то привлекательное в них обоих вместе и в том, что свое гнездышко они устроили в самом центре гимназической сутолоки и шума. Каждую перемену через двор неслись вереницы сорванцов, направляясь в помещение, где можно было тайком затянуться папиросой. По звонку все это несло обратно, налетая

друг на друга, сшибаясь, крича, вступая на скорую руку в короткие драки. Порой в большую перемену во втором дворе устраивались игры в мяч, и ученики, подталкивая друг друга локтями, указывали на смуглое личико, мелькавшее в окнах. Некоторые из старших были даже почтительно влюблены, и из ученической квартиры, заглядывавшей вторым этажом из-за ограды в гимназический двор, порой глядели на лабораторию в бинокли. Иной раз живой и бурный поток, после уроков стремившийся к калитке, вдруг останавливался, пропуская худенькую фигурку, проходившую сквозь толпу с приветливой улыбкой, и тот, кому она кланялась как знакомому, считал себя польщенным и счастливым. Игнатович изредка приглашал того или другого ученика к себе. Жена его тоже выходила, знакомилась, разговаривала, расспрашивала. Было в этом что-то хорошее, теплое, действовавшее на толпу сорванцов уже тем, что юный учитель был для нас не только машиной, задающей уроки, но и человеком, в маленьком счастье которого мы принимали как бы некоторое участие. Я сначала запустил бы-

ло химию, но в первые же каникулы вызубрил весь учебник Вюрца назубок; я иногда ходил к Игнатовичу с рисунками приборов, и мне не хотелось, чтобы Марья Степановна сказала как-нибудь при встрече:

— А вы почему же это не учите химию? Вам не нравится? Да?

Одновременно с Игнатовичем приехал Комаров, «украинофил-этнограф». Мы плохо понимали, что это за «труды по этнографии», но чувствовали, что это какой-то интерес высшего порядка, выходящий за пределы казенного преподавания.

Было и еще два-три молодых учителя, которых я не знал. Чувствовалось, что в гимназии появилась группа новых людей, и общий тон поднялся. Кое-кто из лучших, прежних, чувствовавших себя одинокими, теперь ожили, и до нас долетали отголоски споров и разногласий в совете. В том общем хоре, где до сих пор над голосами среднего тембра и регистра господствовали резкие фальцеты автоматов и маниаков, — стала заметна новая нотка...

А затем явился и еще один человек, на вос-

поминании о котором мне хочется остановиться подольше.

XXVII. Вениамин Васильевич Авдиев

Наш прежний словесник, Митрофан Александрович Андриевский, успел как-то жениться и «по семейным обстоятельствам» перевелся в другую гимназию. Мы проводили его с сожалением, так как любили его добродушие, мягкую улыбку, порой меткие словечки и трогательную преданность «Слову о полку Игореве». На некоторое время «кафедра словесности» осталась незанятой. На уроки приходил Степан Яковлевич Руцевич, который вздумал учить нас выразительному чтению. Сам он читал как-то грузно, массивным голосом, с чувством, толком и расстановкой, но с совершенно неосновательными претензиями на выразительность. Он требовал, чтобы мы точно подражали его интонациям, а нам это было «совестно» и казалось кривлянием. Между тем словесность всегда по какой-то традиции считалась в гимназии самым интересным и самым «умным» предметом. С тем большим нетерпением ждали мы нового словесника.

Однажды пронесся слух, что он уже приехал. Зовут Авдиевым, молодой. Кто-то уже видел его в городе и рассказывал о своей встрече как раз перед началом урока, который, как мы думали, на этот раз проведет еще инспектор. Но почти вместе с звонком дверь класса отворилась, и на пороге появился незнакомый учитель. Он на мгновение остановился, спокойно глядя, как мы, застигнутые врасплох, быстро рассаживались по местам — потом прошел к кафедре, кивнув нам на ходу головой. Так как это был первый урок, то он молча стал ждать, пока дежурный прочтет обычную молитву; затем сел и раскрыл журнал. Лицо у него было слегка хмурое, переключку он делал недовольным голосом, порой останавливаясь над какой-нибудь фамилией и вглядываясь в ее обладателя. Кончив это, он сошел с кафедры и неторопливо прошелся вдоль скамей по классу, думая о чем-то, как будто совсем не имеющем отношения к данной минуте и к тому, что на него устремлено полсотни глаз, внимательных, любопытных, изучающих каждое его движение.

Это был молодой человек, пожалуй, толь-

ко года на три старше Игнатовича, но более возмужалый и солидный. Лицо у него было не совсем обыкновенное: правильные черты с греческим профилем, большие выразительные глаза, полные губы, тонкие усы и небольшая русая бородка. Все это было довольно красиво, но почему-то на первый взгляд классу не понравилось. Кроме того, на нем были узкие брюки и сапоги с низкими каблуками, а мы считали верхом щегольства брюки по-казацки широкие и высокие каблуки. Узкие брюки носили у нас только заведомые модники и франты в шестом и седьмом классе.

Все это мы успели заметить и оценить до последней пуговицы и до слишком широких лацканов синего фрака — пока новый учитель ходил по классу. Нам казалось странным и немного дерзким то обстоятельство, что он ведет себя так бесцеремонно, точно нас, целого класса, здесь вовсе не существует.

Пройдя, таким образом, несколько раз взад и вперед, он остановился, точно прогоняя из головы занимавшие его сторонние мысли, и опять внимательно посмотрел на класс.

— Чем вы занимались в последнее вре-

мя? — спросил он.

Мы переглянулись.

— В последнее время Степан Яковлевич читал нам...

— Что?

— Басни Крылова.

Брови нового учителя чуть приподнялись.

— Зачем? — спросил он.

Вопрос показался нам странным. Об этом нужно бы спросить у самого инспектора. Но кто-то догадался:

— Чтобы занять пустые уроки.

— А!.. И вас тоже заставлял читать?

— Да.

— Так. Кто у вас хорошо читает?

Класс молчал. Все мы умели читать громко, иные бегло, но хорошего чтения не слышали никогда, а «выразительное чтение» Степана Яковлевича казалось нам искусственным.

— Ну, что же? — сказал он нетерпеливо, поведя плечом. — Что же вы молчите?

— Все мы читаем одинаково, — с досадой вырвалось у меня, но я сказал это слишком тихо. Учитель повернулся ко мне и спросил в упор:

— Вы читаете хорошо?

— Нет, — ответил я, покраснев. — Я этого не говорил.

— А я именно об этом спрашивал. Читайте вы! — сказал он ученику, перед которым лежала книжка басен.

Тот встал и, раскрыв наудачу, стал читать. Учитель недовольно морщился.

— Плохо, — сказал он. — И все так? И нет никого, кто бы умел читать?.. Ну, а что вы проходили раньше?

— Теорию словесности... По Минину, — ответило несколько голосов.

— А что такое словесность? Молчание.

— Происходит от «слово»... — сказал кто-то.

— Положим, а что такое «слово»?

— Выражение мысли.

— Не всегда... Можно наговорить много слов, и все-таки выйдет бессмыслица... А что такое мысль?

Молчание.

Он посмотрел на нас с комической гримасой и сказал:

— Подумайте каждый про себя и скажите:

вы когда-нибудь в своей жизни *мыслили*?

Это была обида. В классе поднялся легкий ропот.

— Все, — сказал кто-то.

— Что все?

— Все думаем, то есть мыслим, — ответило несколько голосов задорно. Учитель начинал раздражать.

— «Думаете», — передразнил он, поведя плечом. — Вы вот думаете: скоро ли звонок?.. И тоже *думаете*, что это-то и значит мыслить. Но вы ошибаетесь. «Мыслить» — понимаете: не думать только, а мыслить — это значит совсем другое. Берите тетради. Записывайте.

И, медленно расхаживая по классу, он начал с простейших определений. Сначала в его глазах и в морщине между бровями виднелось то же хмурое недовольство. Но развитие темы, видимо, его захватывало. На смуглом лице пробился густой румянец. Говорил он медленно, вдумчиво и свободно. Урок, очевидно, не был заучен: слова рождались, выплывали тут же и летели к нам еще не остывшие. По временам он останавливался

на ходу и делал паузу, подыскивая наиболее удачную форму, ловил нужное слово и опять шел дальше, все более и более довольный. Записывать за ним было трудновато. Он говорил медленно, но не ждал, пока мы за ним поспеем. А записать хотелось. Остальная часть урока прошла в этом занятии. Когда ударил звонок, я удивился, что урок кончился так скоро.

Авдиев закончил, взял журнал и, кивнув головой, вышел. В классе поднялся оживленный говор. Впечатление было неблагоприятное.

- Вот так птица! — говорил один.
- У этого братцы, держись...
- И откуда выкопали такого черта?
- А ведь он нас, господа, оскорбил?..

За такими разговорами застал нас звонок ко второму уроку. Вошел, помнится, учитель истории Андрусский. Это был тоже «новый», поступивший за несколько месяцев до Авдиева, молодой человек невысокого роста с умным, энергичным лицом. В классе он держал себя по-учительски, суховато, но все-таки симпатично. Час урока был у него точно рас-

пределен на две неравные части. В первой он вызывал, спрашивал и ставил отметки. Когда он опускал перо в чернильницу, чтобы поставить балл, лицо его делалось задумчиво и серьезно. Было видно, что он тщательно взвешивает в уме все за и против, и, когда после этого твердым почерком вносил в журнал ту или иную цифру, чувствовалось, что она поставлена обдуманно и справедливо. За двадцать минут до конца урока он придвигал к себе учебник и, раскрыв его, начинал объяснение неизменной фразой:

— Ну-с, так вот... Мы остановились на том-то. Теперь будем продолжать.

И, поглядывая в книгу, он излагал содержание следующего урока добросовестно, обстоятельно и сухо. Мы знали, что в совете он так же обстоятельно излагал свое мнение. Оно было всегда снисходительно и непоколебимо. Мы его уважали как человека и добросовестно готовили ему уроки, но история представлялась нам предметом изрядно скучным. Через некоторое время так же честно и справедливо он взвесил свою педагогическую работу — поставил себе неодобрительный

балл и переменял род занятий.

Теперь я с удовольствием, как всегда, смотрел на его энергичное квадратное лицо, но за монотонными звуками его речи мне слышался грудной голос нового словесника, и в ушах стояли его язвительные речи. «Думать» и «мыслить»... Да, это правда... Разница теперь понятна. А все-таки есть в нем что-то раздражающее. Что-то будет дальше?..

Вынув тихонько тетрадь, я стал читать под партой записанный урок словесности, рискуя вызвать замечание Андрусского. Урок был красив и интересен.

Дня через три в гимназию пришла из города весть: нового учителя видели пьяным... Меня что-то кольнуло в сердце. Следующий урок он пропустил. Одни говорили язвительно: «с похмелья», другие — что устраивается на квартире. Как бы то ни было, у всех шевельнулось чувство разочарования, когда на пороге, с журналом в руках, явился опять Степан Яковлевич для «выразительного» чтения.

Еще дня через два в класс упало, как петарда, новое сенсационное известие. Был у нас ученик Доманевич, великовозрастный моло-

дой человек, засидевшийся в гимназии и казавшийся среди мелюзги совсем взрослым. Он был добрый малый и хороший товарищ, но держал себя высокомерно, как профессор, случайно усевшийся на одну парту с малышами.

В этот день он явился в класс с видом особенно величавым и надменным. С небрежностью, сквозь которую, однако, просвечивало самодовольство, он рассказал, что он с новым учителем уже «приятели». Знакомство произошло при особенных обстоятельствах. Вчера, лунным вечером, Доманевич возвращался от знакомых. На углу Тополевой улицы и шоссе он увидел какого-то господина, который сидел на штабеле бревен, покачивался из стороны в сторону, обменивался шутками с удивленными прохожими и запевал малорусские песни.

— Голос, я вам скажу, замечательный! — прибавил рассказчик с некоторой гордостью за нового приятеля.

Когда Доманевич, не узнав в веселом господине нового учителя, проходил мимо, тот его окликнул:

— Господин ученик! Подойдите сюда! Тот подошел, узнал, поклонился.

— Как ваша фамилия?

Доманевич, «признаться, немного струсил». Было уже поздно, вечером выходить с квартир запрещено, а этот новый, кажется, строг. Сам пьян, а директору донесет. Тем не менее скрепя сердце фамилию назвал.

— Очень приятно, — вежливо сказал учитель, протягивая руку. — А я Авдиев, Вениамин Васильевич, учитель словесности. В настоящую минуту, как видите, несколько пьян.

При этом он захохотал («смех у него удивительно веселый и заразительный») и, крепко опершись на руку ученика, поднялся на ноги и попросил проводить его до дому, так как еще не ознакомился с городом.

— Черт знает, — говорил он, смеясь, — улицы у вас какие-то несообразные, а вино у Вайнтрауба крепкое... Не успел оглянуться — уже за шлагбаумом... Пошел назад... тут бревна какие-то под ноги лезут... Ха-ха-ха... Голова у меня всегда свежа, а ноги, черт их возьми, пьянеют...

Доманевич проводил учителя на его квар-

тиру над прудом, причем всю дорогу дружески поддерживал его под руку. Дома у себя Авдиев был очень мил, предложил папиросу и маленький стаканчик красного вина, но при этом, однако, уговаривал его никогда не напиваться и не влюбляться в женщин. Первое — вредно, второе... не стоит...

Рассказ вызвал в классе сенсацию. «Что же это такое?» — думал я с ощущением щемящей душевной боли, тем более странной, что Авдиев казался мне теперь еще менее симпатичным.

— Ну, брат, — сделал кто-то практический вывод, — теперь можешь круглый год не учить словесность...

— Что мне учить ее, — ответил Доманевич небрежно, — я с прошлого года знаю все, что он диктовал... Я, брат, «мыслю» еще с первого класса. — И, окинув нас обычным, несколько пренебрежительным взглядом, Доманевич медленно проследовал к своему месту. Теперь у него явилось новое преимущество: едва ли к кому-нибудь из мелюзги учитель мог обратиться за *такой* услугой...

Пробил звонок. Дверь открылась. Вошел

Авдиев и легкой беззаботной походкой прошел к кафедре.

Все взгляды впились в учителя, о котором известно, что вчера он был пьян и что его Доманевич вел под руку до квартиры. Но на красивом лице не было видно ни малейшего смущения. Оно было свежо, глаза блестели, на губах играла тонкая улыбка. Вглядевшись теперь в это лицо, я вдруг почувствовал, что оно вовсе не антипатично, а наоборот — умно и красиво... Но... все-таки вчера он был пьян... Авдиев раскрыл журнал и стал делать переключку.

— Варденский... Заботин... Доманевич...

— Здесь, — ответил Доманевич, лениво чуть-чуть подымаясь с места. Авдиев на мгновение остановился, посмотрел на него искрящимися глазами, как бы припоминая что-то, и продолжал переключку. Затем, отодвинув журнал, он облокотился обеими руками на кафедру и спросил:

— Вы прошлый раз успели всё записать, что я рассказывал?

— Успели.

— И, конечно, выучили? Да? Ну-с... Госпо-

дин Доманевич.

Фамилия Доманевича пробежала в классе электрической искрой. Головы повернулись к нему. Бедняга недоумело и беспомощно оглядывался, как бы не отдавая себе отчета в происходящем. В классе порхнул по скамьям невольный смешок. Лицо учителя было серьезно.

— Итак, господин Доманевич расскажет нам содержание первого урока... Как мы подошли к определению предмета? Слушаем.

Доманевич поднялся, постоял полминуты, потупясь, и потом сказал растерянно:

— Я, господин учитель...

— Что именно?

— Сегодня не успел приготовить.

— Сегодня? А вчера? А третьего дня?

— Я вообще...

— Вообще?.. Напрасно, господин Доманевич, напрасно. Уроки задаются затем, чтобы их готовить. На это было три дня. У вас была основательная причина?

Доманевич молчал.

— Жаль, но... — Он взял перо и раскрыл журнал. — С величайшим сожалением вы-

нужден поставить вам... единицу...

Проведя в журнале черту, он взглянул на бедного Доманевича. Вид у нашего патриарха был такой растерянный и комично обиженный, что Авдиев внезапно засмеялся, слегка откинув голову. Смех у него был действительно какой-то особенный, переливчатый, заразительный и звонкий, причем красиво сверкали из-под тонких усов ровные белые зубы... У нас вообще не было принято смеяться над бедой товарища — но на этот раз засмеялся и сам Доманевич. Махнув рукой, он уселся на место.

Осложнение сразу разрешилось. Мы поняли, что из вчерашнего происшествия решительно никаких последствий собственно для учения не вытекает и что авторитет учителя установлен сразу и прочно. А к концу этого второго урока мы были уже целиком в его власти. Продиктовав, как и в первый раз, красиво и свободно дальнейшее объяснение, он затем вошел на кафедру и, раскрыв принесенную с собой толстую книгу в новом изящном переплете, сказал:

— Теперь, господа, отдохнем. Я вам гово-

рил уже, что значит мыслить понятиями. А вот сейчас вы услышите, как иные люди мыслят и объясняют самые сложные явления образами. Вы знаете уже Тургенева?

К стыду нашему, Тургенева многие знали только по имени. Книгами мы пользовались или за умеренную плату у любителя-еврея, снабжавшего нас истрепанными романами Дюма, Монтепена и Габорио, или из гимназической библиотеки. Раз в неделю мы вваливались под вечер в темные гулкие коридоры, казавшиеся таинственными и незнакомыми при сомнительном свете сального огарка, который нес впереди Андриевский, и поднимались по лестницам, обмениваясь с добродушным словесником шутками и остротами. Каждый раз он долго подбирал ключ к замку библиотечной двери, потом звонко щелкал и открывал вход в большую комнату, уставленную по стенам огромными шкафами. Содержимое шкафов было чрезвычайно скудно: тут были преимущественно душеспасительные поучения, «Воскресный досуг», почему-то еще «Солдатское чтение» и «Всемирный путешественник». Мы роптали, а Андриевский отшу-

чивался, порой очень остроумно, возбуждая общий хохот. В конце концов приходилось все-таки просить для чтения путешествие Ливингстона, за ним путешествие Кука, затем путешествие Араго, путешествие Беккера-паши. Раз я принес домой даже путешествие на Афон. Кажется, это были «Письма Святогорца», из которых, впрочем, несмотря на тогдашнее мое религиозное настроение, я запомнил только одно красивое описание бури и восхищение автора перед тем, как святитель Николай заушил на соборе еретика Ария. Святогорец стоит перед иконой, изображающей этот сильный аргумент богословской полемики, и ему чудится, что «отзвук святительского заушения еще носится под сводами безмолвного храма»...

Как бы то ни было, но даже я, читавший сравнительно много, хотя беспорядочно и случайно, знавший уже «Трех мушкетеров», «Графа Монте-Кристо» и даже «Вечного Жида» Евгения Сю, — Гоголя, Тургенева, Достоевского, Гончарова и Писемского знал лишь по некоторым, случайно попадавшимся рассказам. Мое чтение того времени было просто

развлечением и приучало смотреть на беллетристику как на занимательные описания того, чего, в сущности, не бывает. Порой я прикидывал поступки и разговоры книжных героев к условиям окружавшей меня жизни и находил, что никто и никогда так не говорит и не поступает. Светлым пятнышком выступало воспоминание о «Фоме из Сандомира» и еще двух-трех произведениях польских писателей, прочитанных ранее. Это было ближе к жизни. Где-то, может быть, недалеко и не очень давно, люди *могли* так говорить и поступать, но все-таки теперь не говорят и не поступают...

Помню, в один светлый осенний вечер я шел по тихой Тополевой улице и свернул через пустырь в узенький переулок. Улица была в тени, но за огородами, между двумя черными крышами, поднималась луна, и на ней резко обрисовывались черные ветки дерева, уже обнаженного от листьев. Я остановился, невольно пораженный красивой простотой этого несложного пейзажа. Я любил рисовать, ограничиваясь рабским копированием, но теперь мне страстно хотелось передать эту кар-

тину вот так же просто, с ровной темнотой этих крыш, кольями плетня, врезавшимися в посветлевшее от месяца небо, со всей глубиной влажных теней, в которых чувствуется так много утонувших во тьме предметов, чувствуется даже недавно выпавший дождь...

Потом мысль моя перешла к книгам, и мне пришла в голову идея: что, если бы описать просто мальчика, вроде меня, жившего сначала в Житомире, потом переехавшего вот сюда, в Ровно; описать все, что он чувствовал, описать людей, которые его окружали, и даже вот эту минуту, когда он стоит на пустой улице и меряет свой теперешний духовный рост со своим прошлым и настоящим. Вот в этой слитой влажной тьме, беспорядочно усеянной огоньками, за этими светящимися окошками живут люди. Теперь они пьют чай или ужинают, разговаривают, ссорятся, смеются. И никогда они не оглядываются на себя и на природу, никогда не примеривают своего я ко всему, что их окружает. Быть может, во всем городе я один стою вот здесь, вглядываясь в эти огни и тени, один думаю о них, один желал бы изобразить и эту природу, и этих лю-

дей так, чтобы все было правда и чтобы каждый нашел здесь свое место.

Не этими словами, но думал я именно это. И во мне было немного гордости и много неудовлетворения.

Я только думал, что можно бы изобразить все в той простоте и правде, как я теперь это вижу, и что история мальчика, подобного мне, и людей, его окружающих, могла бы быть интереснее и умнее графа Монте-Кристо. Но, в сущности, я ничего не умел: учитель Стахорский считал меня даровитым рисовальщиком, но требовал тщательной «штриховки». В штриховке я достиг больших успехов, но с ней не мог нарисовать самого простого пейзажа с натуры. Порой, отвязав нашу лодку, я подплывал к острову, ставил ее среди кувшинок и ряски и принимался с залива рисовать старый замок с пустыми окнами, с высокими тополями и обомшелыми каменными рыцарями. Рисунки мои производили фурор, но я чувствовал, что это только черты, контуры, штриховка... Нет ни задумчивой массивности старой руины, ни глубины в зияющих окнах, ни высоты в тополях с

шумящими вершинами, ни воздуха в высоком небе, ни прозрачности в воде. С ощущением бессилия и душевной безвкусицы я клал карандаши и альбом на скамейку лодки и подолгу сидел без движения, глядя, как вокруг, шевеля застоявшуюся сверкающую воду, бегали долгоногие водяные комары с светлыми чашечками на концах лапок, как в тине тихо и томно проплывали разомлевшие лягушки или раки вспахивали хвостами мутное дно. Через некоторое время душевная пустота, веявшая от мертвой жизни мертвого городка, начинала наполняться: из-за нее выходили тени прошлого. Пустой остров заселялся, замок оживал. На широком балконе появлялись группы красавиц, и одна из них держала кубок, а молодой рыцарь (может быть, это даже был я) въезжал на коне по лестницам и переходам и брал этот кубок из руки дамы... Кругом гремели крики, выстрелы, звон шпор и ржание коней.

Или иначе: на замок нападают казаки и гайдамаки, весь остров в белом дыму... Вообще в это время под влиянием легенд старого замка и отрывочного чтения (в списках) «Гай-

дамаков» Шевченка романтизм старой Украины опять врывался в мою душу, заполняя ее призраками отошедшей казацкой жизни, такими же мертвыми, как и польские рыцари и их прекрасные дамы... Что может быть интересного в жизни обыкновенного мальчика и его соседей? Интересны только дикие степи, бешеная погоня, нападения, приключения, подвиги, разумеется, с благополучным окончанием... Одно время я даже заинтересовался географией с той точки зрения, где можно бы в наше прозаическое время найти уголок для восстановления Запорожской Сечи, и очень обрадовался, услышав, что Садык-паша Чайковский ищет того же романтического прошлого на Дунае, в Анатолии и в Сирии... Мечты бесплодно распаляли воображение, обессиливали волю. Когда приходило время возвращаться с этих неудачных художественных сеансов, я лениво брал весла, и моя лодка протягивала за собой медлительный след, тихо заплывавший ряской, водорослями и тиной.

Растущая душа стремилась пристроить куда-то избыток силы, не уходящей на «арифметики и грамматики», и вслед за жгучими ис-

торическими фантазиями в нее порой опять врывался религиозный экстаз. Он был такой же беспочвенный и еще более мучительный.

8 глубине души, еще не созданные, начинали роиться сомнения, а навстречу им поднималась жажда религиозного подвига, полетов души ввысь, молитвенных экстазов.

Однажды в таком настроении я шел в гимназию.

Путь лежал через базарную площадь, центр местной торговой жизни. Кругом нее зияли ворота заезжих домов; вся она была заставлена возами, заполнена шумом, гоготанием продаваемой птицы, ржанием лошадей, звонкими криками торговки.

И вдруг мой взгляд упал на фигуру мадонны, стоявшей на своей колонне высоко в воздухе. Это была местная святыня, одинаково для католиков и православных. По вечерам будочник, лицо официальное, вставлял в фонарь огарок свечи и поднимал его на блок. Огонек звездочкой висел в темном небе, и над ним красиво, таинственно, неясно рисовалась раскрашенная фигура.

Говорили, что протоиерей-обручитель воз-

будил уже вопрос о снятии богородицы-католички... Теперь опальная статуя, освещенная утренними лучами, реяла над шумной и пестрой бестолочью базара. Было в ней что-то такое, отчего я сразу остановился, а через минуту стоял на коленях, без шапки, и крестился, поднимая глаза на мадонну.

Потом я поднялся и пошел в классы, не обращая внимания на удивленные взгляды.

В следующий раз, проходя опять тем же местом, я вспомнил вчерашнюю молитву. Настроение было другое, но... кто-то как будто упрекнул меня: «Ты стыдишься молиться, стыдишься признать свою веру только потому, что это не принято...» Я опять положил книги на панель и стал на колени...

Теперь толпы не было, и фигура гимназиста на коленях выделялась яснее. На меня обратили внимание еврей-факторы, прохожие, чиновники, шедшие в казначейство... Вдали на деревянных тротуарах мелькали синие гимназические мундиры. Мне хотелось, чтобы меня не заметили...

С этих пор на некоторое время у меня явилась навязчивая идея: молиться как следует я

не мог — не было непосредственно молитвенного настроения, но мысль, что я «стыжусь», звучала упреком. Я все-таки становился на колени, недовольный собой, и, недовольный, подымался. Товарищи заговорили об этом как о странном чудачестве. На вопросы я молчал... Душевная борьба в пустоте была мучительна и бесплодна...

.....

В таком настроении застало меня появление нового учителя...

Закончив объяснение урока, Авдиев раскрыл книгу в новеньком изящном переплете и начал читать таким простым голосом, точно продолжает самую обыденную беседу:

«Мардарий Аполлонович Стегунов — старичок низенький, пухленький, лысый, с двойным подбородком, мягкими ручками и порядочным брюшком. Он большой хлебосол и балагур... Зимой и лето ходит в полосатом шлафроке на вате... Дом у него старинной постройки: в передней, как следует, пахнет квасом, сальными свечами и кожей...»

Это — «Два помещика» из «Записок охотника». Рассказчик — еще молодой человек,

тронутый «новыми взглядами», гостит у Мардария Аполлоновича. Они пообедали и пьют на балконе чай. Вечерний воздух затих. «Лишь изредка ветер набегал струями и, в последний раз замирая около дома, донес до слуха звук мерных и частых ударов, раздававшихся в направлении конюшни». Мардарий Аполлонович, только что поднесший ко рту блюдечко с чаем, останавливается, кивает головой и с доброй улыбкой начинает вторить ударам:

— Чюки-чюки-чюк! Чюки-чюк! Чюки-чюк!

Оказывается, на конюшне секут «шалунишку» буфетчика, человека с большими бакенбардами, недавно еще в долгополом сюртуке прислуживавшего за столом... Лицо у Мардария Аполлоновича доброе. «Самое лютое негодование не устояло бы против его ясного и кроткого взора...» А на выезде из деревни рассказчик встречает и самого «шалунишку»: он идет по улице, лушит семечки и на вопрос, за что его наказали, отвечает просто:

— А поделом, батюшка, поделом! У нас по пустякам не наказывают... У нас барин... такого барина во всей губернии не сыщешь...

Среди глубочайшей тишины Авдиев дочитал последнюю фразу: «Вот она — старая-то Русь!..» Затем он сказал несколько опять очень простых слов о крепостном праве и об ужасе «порядка», при котором возможно это двустороннее равнодушие. Звонок Савелия в первый раз прозвучал для нас неожиданно и неприятно.

В этот день я уносил из гимназии огромное и новое впечатление. Меня точно осияло. Вот они, те «простые» слова, которые дают настоящую, неприкрашенную «правду» и все-таки сразу поднимают над серенькой жизнью, открывая ее шири и дали. И в этих ширях и далях вдруг встают, и толпятся, и движутся знакомые фигуры, обыденные эпизоды, будничные сцены, озаренные особенным светом.

Когда после урока я шел домой, мне вспомнился дядя-капитан, Гарный Луг, «помещики», Кароль, Антось... И прежнего противоречия, бессмысленной несвязанности этих явлений как не бывало... «Чюки-чю-ки-чюк... Что вы, молодой человек, что вы? Да разве я злодей, что вы на меня так уставились?..» Я понял стихийную непосредственность этого

восклицания... Капитан тоже не злодей. Он гораздо умнее, симпатичнее Мардария. И, однако... он, несомненно, обливал Кароля водой на морозе. И Кароль с этим примирился, а во мне кипело негодование. Оно относилось к «крепостному праву», которое уже отошло. Но... все-таки представление о нравственности лиц и о нравственности — учреждений, строя жизни уже отделялись друг от друга как различные категории.

С этого дня художественная литература перестала быть в моих глазах только развлечением, а стала увлекательным и серьезным делом. Авдиев сумел зажечь и раздуть эти душевные эмоции в яркое пламя. У него было инстинктивное чутье юности и — талант. Все, что он читал, говорил и делал, приобретало в наших глазах особенное значение. История литературы, с поучениями Мономаха и письмами Заточника, выступала из своего туманного отдаления как предмет значительный и важный, органически подготавливавший грядущие откровения. Коротенькие дивертисменты в конце уроков, когда Авдиев раскрывал принесенную с собой книгу и прочитывал от-

рывок, сцену, стихотворение, — стали для нас потребностью. В его чтении никогда не чувствовалось искусственности. Начиналось оно всегда просто, и мы не замечали, как, где, в каком месте Авдиев переходил к пафосу, потрясавшему нас как ряд электрических ударов, или к комизму, веявшему на класс вихрем хохота. Он прочитал сцену из «Мертвых душ», и мы кинулись на Гоголя. Особенно любил он Некрасова, и впоследствии я уже никогда не слышал такого чтения.

Вскоре между Авдиевым и нами завязались простые и близкие отношения. Он приглашал нас к себе, угощал чаем за своим холостым столом и всегда держал себя просто, дружески и весело. Никогда не чувствовалось преднамеренности и дидактизма; легкая шутка и вопрос о только что прочитанной кем-нибудь из нас повести Тургенева, Писемского, Гончарова, Помяловского, стихотворении Некрасова, Никитина или Шевченка сплетались незаметно, непринужденно... До сих пор в душе моей, как аромат цветка, сохранилось особое ощущение, которое я уносил с собой из квартиры Авдиева, ощущение любви, уваже-

ния, молодой радости раскрывающего ума и благодарности за эту радость...

Однажды, возвращаясь под такими впечатлениями к себе, часов около девяти вечера, я вдруг наткнулся на инспектора, который в переулке резко осветил мое лицо потайным фонариком. На мгновение меня обдало точно кипятком. Но я не испугался, не пытался увернуться и убежать, хотя мог бы, так как передо мной заранее рисовалась в темноте высокая, точно длинный столб, фигура приближавшегося Степана Яковлевича... Помню, что мне было странно и досадно, точно я до этого мгновения все еще оставался в светлой комнате, а теперь неожиданно очутился в грязном и темном переулке перед назойливым выходцем из другого мира. По-видимому, в выражении моего лица было что-то удивившее инспектора. Он ближе придвинул фонарик, внимательно всмотрелся в меня и спросил:

— Что вы?

— Ничего, Степан Яковлевич.

— Откуда?

— От Вениамина Васильевича. Относил

книгу.

— А!

И он ушел, оставляя во мне впечатление мимолетного сонного призрака.

Никогда от Авдиева мы не слышали ни одного намека на нашу «систему» или на ненормальности гимназического строя. Но он вызывал совершенно особый душевный строй, который непреднамеренным контрастом оттенял и подчеркивал обычный строй гимназической жизни. И это было сильнее прямой критики.

По временам он продолжал пить. Однажды его вывели из клуба, где он начал говорить посетителям — очень веселые, правда — дерзости. Это вызвало негодование, и Авдиева выпроводили; но и при этом он вел себя так забавно, что и старшины; и публика хохотали, а на следующий день, как стая птиц, разлетелись по городу его характеристики и каламбуры... А еще через несколько дней, в ближайший клубный вечер, он опять явился как ни в чем не бывало, изящный, умный, серьезный, и никто не посмел напомнить о недавнем скандале... На гуляньях в ясные

дни, когда «весь город» выходил на шоссе, чинно прогуливаясь «за шлагбаумом», Авдиев переходил от одной группы к другой, и всюду его встречали приветливо, как общего фаворита. Дамы все были от него в восторге: в отношении к ним он никогда не забывался, даже пьяный, — а мужчины старались забыть его выходки.

— Что делать! Человек с сатирическим направлением ума, — сказал про него воинский начальник, и провинциальный город принял эту сентенцию как своего рода патент, узаконивший поведение интересного учителя. Другим, конечно, спустить того, что спускалось Авдиеву, было бы невозможно. Человеку с «сатирическим направлением ума» это как бы полагалось по штату...

Все это, разумеется, доходило до гимназистов. Ученики передавали о скандалах по рассказам клубных очевидцев и с удовольствием повторяли остроты и каламбуры своего любимца. Мне тоже порой казалось, что это занимательно и красиво, и иной раз я даже мечтал о том, что когда-нибудь и я буду таким же уездным сатириком, которого одни

боятся, другие любят, и все, в сущности, уважают за то, что он никого сам не боится и своими выходками шевелит дремлющее болото. Но я все-таки не мог примириться с мыслью, что Авдиева «выводили из клуба» и многие считают себя вправе называть его пьяницей.

Однажды он дал мне читать Писемского. Есть у этого писателя одна повесть, менее других упоминаемая критикой и забытая читающей публикой. Называется она «Monsieur Батманов» и изображает человека с «широкой натурой», красивого, эксцентричного, остроумного, не признающего условностей. Он попадает из столицы в небольшой губернский город, очаровывает все общество, которое сам открыто презирает, говорит дерзости губернским магнатам и производит более или менее забавные дебоши. Его любит умная и красивая женщина. Он как будто любит ее также, но все-таки они расходятся навсегда: мосье Батманов не может подумать без отвращения о законном браке и любви по обязанности...

У меня замирало сердце, когда я читал последнее объяснение Батманова с любимой

женщиной где-то, кажется в театральной ложе. За обликом Батманова я подставил в воображении оригинальное лицо Авдиева, с его тонкой улыбкой, заразительным смехом и порой едким, но чаще благодушно-красивым остроумием. Как и Батманов, он выделялся резким пятном на тусклом провинциальном фоне, головой выше всех окружающих. Как и Батманов, не боялся общего мнения; наконец, как и у Батманова, мне чудилась за всем этим какая-то драма, душевная боль, непонятный отказ от счастья из-за неясных, но, конечно, возвышенных побуждений...

Кончается повесть Писемского неожиданной сценкой. В каком-то сибирском городке местные купцы-золотопромышленники встречают приезжего сановника. Впереди депутации с хлебом-солью стоит дородный красивый человек, с широкой бородой, в сибирке из тонкого сукна и в высоких сапогах бураками. Сановник с некоторым удивлением узнает в нем старого знакомого — мосье Батманова. «Да, чем только не кончалось русское разочарование!» — замечает в заключение Писемский. Обаяние фигуры Батманова было

так велико, что я как-то совершенно не обратил внимания на это сатирическое заключение.

Однажды, когда я принес Авдиеву прочитанную книгу, он остановил меня, и мы разговорились как-то особенно задушевно. Вообще, я уже стал тогда одним из любимых его учеников, и порой наши беседы принимали оттенок своеобразной дружбы взрослого человека и юноши, почти мальчика. Он спросил, не случается ли мне встречать в литературе знакомых лиц. Я сказал о том, как Мардарий Аполлонович Стегунов заставил меня вспомнить о моем дяде-капитане, хотя, в сущности, они друг на друга не похожи. Он выслушал эту параллель с интересом и вдруг предложил вопрос:

— Ну, а я похож на кого-нибудь из этих господ?

— Вы... — ответил я несколько застенчиво, — у Писемского: мосье Батманов.

Авдиев удивленно повернулся на кресле и сказал с недоумением:

— Бат-ма-нов? Странно. В чем же сходство? Я был в затруднении. Что сказать, в самом

деле, на этот вопрос: в скандалах и остроумных каламбурах? Заметив мое затруднение и сконфуженность, он засмеялся и спросил:

— А Батманов этот вам нравится?

— Да.

Он протянул руку, взял со стола книгу и, развертывая ее, спросил:

— Да вы дочитали до конца?

— Дочитал. Что ж, конец... По-моему, можно бы закончить иначе...

— Вы думаете? Ну нет. Здесь художественная правда. *Иначе* было бы опять в том же роде.

Он прочел заключительную сценку вплоть до иронического восклицания о русском разочаровании и сказал:

— И что только вам понравилось? Печоринствующий бездельник из дворян... Но с Печоринскими, батюшка, дело давно покончено. Из литературной гвардии они уже разжалованы в инвалидную команду — и теперь разве гарнизонные офицеры прельщают уездных барышень печоринским «разочарованием». Вам вот конец не понравился... Это значит, что и у вас, господа гимназисты, вкусы

еще немного... гарнизонные...

Я сильно покраснел. Авдиев заметил это и вдруг, откинув голову, залился своим звенящим смехом.

— А! Вот оно что! Кажется, понимаю, — сказал он. — Ну ничего, ничего, не краснейте! Но ведь это сходство только поверхностное. Батманов прежде всего барин, скучающий от безделья. Ну, а я разночинец и работник. И, кажется...

Он опять взглянул на меня и прибавил серьезным тоном:

— И, кажется, работник в своем деле недурной.

Он несколько времени молча покачивался в кресле-качалке, глядя перед собой. Затем опять протянул руку к полке с книгами.

— «Затишье» вы читали? — спросил он.

— Читал.

Он раскрыл Тургенева и, перекинув несколько листков, прочел громко:

«Марья Павловна опять взглянула на него.

— Вы уверяете, что слушаетесь меня?

— Конечно, слушаюсь.

— Слушаетесь? А вот сколько раз я вас про-

сила... не пить вина.

Он засмеялся.

— Эх, Маша, Маша! И вы туда же... Да, во-первых, я вовсе не пьяница, а во-вторых, знаете ли, для чего я пью? Посмотрите-ка вот на эту ласточку... Видите, как она смело распоряжается своим маленьким телом, куда хочет, туда его и бросит... Вот взвилась, вон удари-лась книзу, даже взвизгнула от радости, слышите? Так вот я для чего пью, Маша, чтобы испытать те самые ощущения, которые испытывает эта ласточка... Швыряй себя, куда хочешь, лети, куда вздумается...»

— Веретьев! — сказал я радостно. Веретьев мне тоже очень нравился и тоже отчасти напоминал Авдиева: превосходно читал стихи, говорил пошляку Астахову неприятную правду в глаза и так красиво «швырял себя, подобно ласточке». Но на этот раз я тотчас же вспомнил конец и сказал довольно уныло:

— А кончается тоже плохо.

— Очень плохо, — сказал Авдиев. — Ласточка, ласточка, а затем... господин в поношенном испанском плаще, со слегка оплывшими глазами и крашеными усами. Знаете

что — никогда не пейте, и главное — не начинайте. Ни из удальства, ни для того, чтобы быть ласточкой. Запомните вы этот мой совет, когда станете студентом?

— Запомню, Вениамин Васильевич, — ответил А с волнением и затем, по внезапному побуждению, поднял на него глаза, но не решился высказать вставший в уме вопрос. Он, вероятно, понял, потянулся в кресле и быстро встал на ноги.

— Да, — сказал он, — «ласточка» — это у Тургенева замечательно верно; но крашенные усы... бррр. И вообще скверность. Эти полеты нужно уметь остановить вовремя...

Он прошелся по комнате, потом опять сел и закачался, смеясь, а я, ободренный этим, решился еще на один вопрос:

— Правда... вы женитесь?

Он с улыбкою искоса взглянул на меня и спросил в свою очередь:

— На ком?

— На Л.

— А вы бы мне этого желали?

— Да, очень...

— Искренно?

— Искренно, — ответил я с убеждением.

Он захохотал как-то совсем по-детски и потом сказал:

— Очень тронут... но... Да будет вам краснеть-то! Нет, не женюсь...

Я действительно покраснел, должно быть, до корня волос. В городе начали поговаривать как о предполагаемой невесте Авдиева о той самой девушке, в которую, в числе других, был влюблен и я. Слух этот сначала больно поразил мое сердце, но затем я примирился с мыслью, что она будет женой Авдиева и что тогда он бросит пить. Мое довольно подвижное воображение рисовало мне на этом фоне разные более или менее красивые картины. Через много лет я, пожилой и одинокий, так как остался верен своему чувству, посещаю после разных бурных скитаний по свету их счастливую семью. И только тогда он узнает тайну моей любви и моего самоотвержения и то, какую огромную жертву принес ему горячо любивший его ученик...

Переливчатый смех Авдиева спугнул эти фантазии. На этот раз я покраснел от того, что почувствовал их ребячество, и... вспомнил

сразу, что, в сущности, великодушие мое было довольно дешевого свойства, так как и без Авдиева мои шансы были довольно плохи... Реализм отвоевывал место у сентиментально-фантастической драмы...

Русских писателей я брал у Авдиева одного за другим и читал запоем. Часто мне казалось, что все это, в сущности, только вскрывает и освещает мысли и образы, которые давно уже толпились в глубине моего собственного мозга. Каждый урок словесности являлся светлым промежутком на тусклом фоне обязательной гимназической рутины, часом отдыха, наслаждения, неожиданных и ярких впечатлений. Часто я даже по утрам просыпался с ощущением какой-то радости. А, это — сегодня урок словесности! Весь педагогический хор с голосами среднего регистра и выкрикиваниями маниаков покрывался теперь звучными и яркими молодыми голосами. И ярче всех звучал баритон Авдиева: хор в целом приобретал как будто новое значительное выражение.

Однажды на улице, вечером, я встретил Авдиева. Он шел под руку с каким-то моло-

дым человеком, несколько старше меня, с южным профилем и черными кудрявыми волосами. Я уже видел его раньше. Это был Гаврило Жданов, впоследствии мой приятель, недавно приехавший в наш город, чтобы поступить в один из старших классов гимназии. Он приходился родственником учителю Тысу и держался запросто в учительской компании. Это делало его в моих глазах чем-то высшим, чем мы, бедняги ученики в застегнутых мундирах, с вечной опаской перед начальством. Встретив меня у одинокого фонаря на углу, Авдиев остановился и сказал:

— А! Это вы. Хотите ко мне пить чай? Вот, кстати, познакомьтесь: Жданов, ваш будущий товарищ, если только не срежется на экзамене, — что, однако, весьма вероятно. Мы вам споем малорусскую песню. Чи може ви наших шсень цураэтесь? — спросил он по-малорусски. — А коли не цураэтесь — идем.

Вечер весь прошел в пении. У Авдиева был глубокий и свободный баритон. Жданов подтягивал небольшой, но приятной октавой. Я сидел у открытого окна и слушал. В окно виднелся пруд, остров, тополи и замок. Над даль-

ними камышами, почти еще не светя, подымалась во мгле задумчивая красная луна, а небольшая комната, освещенная мягким светом лампы, вся звенела мечтательной, красивой тоской украинской песни. Никогда впоследствии я не испытывал таких сильных ощущений от пения, как в подобные вечера у Авдиева. После двух-трех знакомых песен Авдиев сказал:

— Ну, Жданов, — теперь давайте ту, новую... И взяв тон, он запел песню «про бурлаку».

*Бурлак робить заробляэ,
А хозяш пьэ, гуляэ,
Гей-гей! Яром за товаром,
Та горами за волами...
Тяжко жити з ворогами.*

Несомненно, в песне есть свои краски и формы. Нужно только, чтобы в центре стал ясный образ, а уже за ним в туманные глубины воображения, в бесконечную даль непознанного, неведомого в природе и жизни, потянутся свои живые отголоски и будут уходить, дрожа, вспыхивая, плача, угасая. Я живо помню, как в этот вечер в замирающих тонах

глубокого голоса Авдиева, когда я закрывал глаза или глядел на смутную гладь камышей, мне *виделась* степь, залитая мечтательным сиянием, колышущаяся буйной травой, изрезанная молчаливыми ярами. А басовая октава Жданова расстилалась под изгибами высокого и светлого баритона, как ночные тени в этих ярах и долинах... И среди этой озаренной степи стоял и оглядывался сиротина-бурлак и кричал: гей-гей! на затерявшихся волов и на свою одинокую долю...

Эта песня безотчетно понравилась мне тогда больше всех остальных. Авдиев своим чтением и пением вновь разбудил во мне украинский романтизм, и я опять чувствовал себя во власти этой поэтической дали степей и дали времен...

*Гетьмани, гетьмани! Якби то ви
встали,
Встали, подивились на свий Чигирин,
Що ви будували, де ви панували!..*

.....

*У труби затрубили,
У дзвони задзвонили,*

*Вдалили з гармати...
Знаменами, бунчуками
Гетьмана у крили...*

И я грустил, что это ушло, что этого уже
нельзя встретить на этом скучном свете, что
уже

*Не вернется козаччина,
Не встануть гетьмани,
Не покриють Україну
Червоні жупани.*

Теперь под влиянием Авдиева это настро-
ение, казалось, должно вспыхнуть еще силь-
нее... Но... в сущности этого не было, и не бы-
ло потому, что та самая рука, которая откры-
вала для меня этот призрачный мир, — еще
шире распахнула окно родственной русской
литературы, в которое хлынули потоками
простые, ясные образы и мысли. Без моего со-
знания и ведома в душе происходила чисто
стихийная борьба настроений. И теперь на
вопрос Авдиева, понравилась ли мне песня
«про бурлаку», я ответил, что понравилась
больше всех. На вопрос — почему больше
всех, я несколько замялся.

— Потому что... напоминает Некрасова. — И я опять покраснел, чувствуя, что, в сущности, сходства нет, а между тем мой отзыв все-таки выражал что-то действительное.

— Вы хотите, вероятно, сказать, что тут речь идет не о прошлом, а о настоящем? — сказал Авдиев. — Что за современный бурлак и современный хозяин? У Шевченка тоже есть такие мотивы. Он часто осуждал прошлое...

И он прочел несколько отрывков. Я тогда согласился, но в глубине сознания все-таки стояло какое-то различие; такие мотивы были:

*Варшавське сміття ваші пани,
Ясновольможні гетьмани!*

Но основной, господствующей нотой все-таки была глубокая тоска об этом прошлом, разрешавшаяся беспредметной мечтой о чем-то смутном, как говор степного ветра на казацкой могиле...

Это я теперь раскрываю скобки, а тогда в душе уживались оба настроения, только одно становилось все живее и громче. В это время

я стал бредить литературой и порой, собрав двух-трех охочих слушателей, иногда даже довольствуясь одним, — готов был целыми часами громко читать Некрасова, Никитина, Тургенева, комедии Островского... Однажды, в воскресенье, я залучил таким образом товарища-еврея Симху. У него были художественные наклонности, и я охотно слушал его игру на скрипке. В свою очередь, я угостил его чтением «Гайдамаков». Читал я на этот раз недурно, голос мой стал гибким, выразительным, глубоким. Однако вскоре почувствовал, что живая связь между мной и слушателем оборвалась и не восстанавливается. Я взглянул в симпатичное лицо моего приятеля и понял: я читал *еврею* о том, как герой шевченковской поэмы, Галайда, кричит в Лисянке: «Дайте ляха, дайте жида, мало мет, мало!..» Как гайдамаки точат кровь «жидівочек» в воду и так далее... Это, конечно, была «история», но от этой поэтической истории моему приятелю стало больно. А затем кое-где из красивого тумана, в котором гениальной кистью украинского поэта были разбросаны полные жизни и движения картины бесчеловечной борь-

бы, стало проглядывать кое-что затронувшее уже и меня лично. Гонта, служа в уманьском замке начальником реестровых казаков, женился на польке, и у него было двое детей. Когда гайдамаки под предводительством того же Гонты взяли замок, иезуит приводит к ватажку его детей-католиков. Гонта уносит и режет обоих «свяченным ножом», а гайдамаки зарывают живьем в колодце школяров из семинарии, где учились дети Гонты.

У Добролюбова я прочел восторженный отзыв об этом произведении малороссийского поэта: Шевченко, сам украинец, потомок тех самых гайдамаков, «с полной объективностью и глубоким проникновением» рисует настроение своего народа. Я тогда принял это объяснение, но под этим согласием просачивалась струйка глухого протеста... В поэме ничего не говорится о судьбе матери зарезанных детей. Гонта ее проклинаят:

*Будь проклята мати,
Та проклята католичка,
Що вас породила!
Чом вона вас до схід сонця
Була не втопила?..*

Думалось невольно: ведь он на ней женился, зная, что она католичка, как мой отец женился на моей матери... Я не мог разделять жгучей тоски о том, что теперь...

*Не заріже батько сина,
Свозі дитини
За честь, славу, за братерство,
За волю України...*

Это четырехстишие глубоко застряло у меня в мозгу. Вероятно, именно потому, что очарование националистского романтизма уже встречалось с другим течением, более родственным моей душе.

Однажды Авдиев, чтобы заинтересовать нас Добролюбовым, прочитал у себя в квартире отрывки из его статей и, между прочим, «Размышления гимназиста». Я вдруг с удивлением услышал давно знакомое стихотворение, которое мы когда-то списывали в свои альбомы... Так вот кто писал это? Вот кто говорил обо мне, об Янкевиче, о Крыштановиче, об Ольшанском? На наше положение прямо и ясно указывала литература и затем уже сопровождала каждый наш жизненный шаг... Это сразу роднило с нею. Статьи Добролюбо-

ва, поэзия Некрасова и повести Тургенева несли с собой что-то прямо бравшее нас на том месте, где заставало. Казак Шевченка, его гайдамак, его мужик и дивчина представлялись для меня, например, красивой отвлеченностью. Мужика Некрасова я никогда не видел, но чувствовал его больше. Всегда за непосредственным образом некрасовского «народа» стоял интеллигентный человек, с своей совестью и своими запросами... вернее — с *моей* совестью и *моими* запросами...

Эта струя литературы того времени, этот особенный двусторонний тон ее — взяли к себе мою разноплеменную душу... Я нашел тогда свою родину, и этой родиной стала прежде всего русская литература...[25]

.....

Однажды Авдиев явился в класс серьезный и недовольный.

— У нас требуют присылки четвертных сочинений для просмотра в округ, — сказал он с особенной значительностью. — По ним будут судить не только о вашем изложении, но и об образе ваших мыслей. Я хочу вам напомнить, что наша программа кончается Пушкиным.

Все, что я вам читал из Лермонтова, Тургенева, особенно Некрасова, не говоря о Шевченке, в программу не входит.

Ничего больше он нам не сказал, и мы не спрашивали... Чтение новых писателей продолжалось, но мы понимали, что все то, что будило в нас столько новых чувств и мыслей, кто-то хочет отнять от нас; кому-то нужно закрыть окно, в которое лилось столько света и воздуха, освежавшего застоявшуюся гимназическую атмосферу...

— А я от вас, кажется, скоро уеду, — сказал вскоре после этого Авдиев с мягкой грустью, когда я зашел к нему.

— Отчего? — спросил я упавшим голосом.

— Долго рассказывать, да, может быть, и не к чему, — ответил он. — Просто пришелся не ко двору...

К нам приехал новый директор, Долгоногов, о котором я уже говорил выше. Все, начиная с огромного инспектора и кончая Дитяткевичем, сразу почувствовали над собой авторитетную руку. Долгоногова боялись, уважали, особенно после случая с Безаком, но... не знали. Он был от нас как-то далек по своему

положению.

Можно было легко угадать, что Авдиеву будет трудно ужиться с этим неуклонным человеком. А Авдиев вдобавок ни в чем не менял своего поведения. По-прежнему читал нам в классах новейших писателей; по-прежнему мы собирались у него группами на дому; по-прежнему порой в городе рассказывали об его выходках...

Я почувствовал, без объяснений Авдиева, в чем дело... и прямая фигура Долгоногова стала мне теперь неприятной. Однажды при встрече с ним на деревянных мостках я уступил ему дорогу, но поклонился запоздало и небрежно. Он повернулся, но, увидя, что я все-таки поклонился, тотчас же проследовал дальше своей твердой размеренной походкой. Он не был мелочен и не обращал внимания на оттенки.

Вскоре в город приехал киевский попечитель Антонович. Это был скромный старик, в мундире отставного военного, с очень простыми и симпатичными повадками. Приехал он как-то тихо, без всякой помпы и в гимназию пришел пешком, по звонку, вместе с учи-

телями. На уроки он тоже приходил в самом начале, сидел до конца, и об его присутствии почти забывали. Говорили, что он был когда-то разжалован в солдаты по одному делу с Костомаровым и Шевченком и опять возвысился при Александре II. Он остался очень доволен уроками Авдиева. Пробыл он в нашем городе несколько дней, и в течение этого времени распространилось известие, что его переводят попечителем учебного округа на Кавказ.

Однажды на Гимназической улице, когда я с охапкой книг шел с последнего урока, меня обогнал Авдиев.

— Что это у вас за походка?.. — сказал он, весело смеясь, — с развальцем... Подтянулись бы немного. А вот еще хуже: отчего вы не занимаетесь математикой?

— Я, Вениамин Васильевич, неспособен...

— Пустяки. Никто не требует от вас математических откровений, а в гимназических пределах — способен всякий. Нельзя быть образованным человеком без математической дисциплины...

В это время на противоположной стороне

из директорского дома показалась фигура Антоновича. Поклонившись провожавшему его до выхода директору, он перешел через улицу и пошел несколько впереди нас.

— Ну вот, — сказал тихо Авдиев, — сейчас дело мое и решится. — Кивнув мне приветливо головой, он быстро догнал попечителя и, приподняв шляпу, сказал своим открытым приятным голосом: — У меня к вам, ваше превосходительство, большая просьба. Учитель Авдиев, преподаю словесность.

— Знаю, — сказал старый генерал с неопределенным выражением в голосе. — Какая просьба?

— Говорят, вы переводитесь на Кавказ. Если это правда... возьмите меня с собой.

— Это почему?

Авдиев улыбнулся и сказал:

— Раз вы меня запомнили, то позвольте думать, что вам известны также причины, почему мне здесь оставаться... не рука.

Старый кирилло-мефодиевец остановился на мгновение и взглянул в лицо так свободно обратившемуся к нему молодому учителю. Потом зашагал опять, и я услышал, как он

сказал негромко и спокойно:

— Ну что ж. Пожалуй.

Мне было неловко подслушивать, и я отстал. В конце улицы Антонович попрощался и пошел направо, а я опять догнал Авдиева, насвистывавшего какой-то веселый мотив.

— Ну вот, дело сделано, — сказал он. — Я знал, что с ним можно говорить по-человечески. В Тифлисе, говорят, ученики приходят в гимназию с кинжалами, тем менее оснований придираться к мелочам. Ну, не поминайте лихом!

— Разве уже... так скоро? — спросил я.

— Да, недели через три...

Через три недели он уехал... Первое время мне показалось, что в гимназии точно сразу потемнело... Помня наш разговор на улице, я подправил, как мог, свои математические познания и... старался подтянуть свою походку...

XXVIII. Балмашевский

На место Авдиева был назначен Сергей Тимофеевич Балмашевский. Это был высокий, худощавый молодой человек, с несколько впалой грудью и слегка сутулый. Лицо у

него было приятное, с доброй улыбкой на тонких губах, но его портили глаза, близорукые, с красными, припухшими веками. Говорили, что он страшно много работал, отчего спина у него согнулась, грудь впала, а на веках образовались ячмени, да так и не сходят...

На одном из первых уроков он заставил меня читать «Песнь о вещем Олеге».

*Ковши круговые, запенясь, кипят
На тризне печальной Олега.
Князь Игорь и Ольга на холме сидят,
Дружина пирует у берега...*

Когда я прочел предпоследний стих, новый учитель перебил меня:

— На холме сидят... Нужно читать на холме! Я с недоумением взглянул на него.

— Размер не выйдет, — сказал я.

— Нужно читать на холме, — упрямо повторил он. Из-за кафедры на меня глядело добродушное лицо,

с несколько деревянным выражением и припухшими веками. «Вечный труженик, а мастер никогда!» — быстро, точно кем-то подсказанный, промелькнул у меня в голове от-

зыв Петра Великого о Тредьяковском.

Блеска у него не было, новые для нас мысли, неожиданные, яркие, то и дело вспыхивавшие на уроках Авдиева, — погасли. Балмашевский добросовестно объяснял: такое-то произведение разделяется на столько-то частей. В части первой, или вступлении, говорится о таком-то предмете... При этом автор прибегает к такому-то удачному сравнению... «Словесность» стала опять только отдельным предметом. Лучи, которые она еще так недавно кидала во все стороны, исчезли... Центра для наших чувств и мыслей в ровенской реальной гимназии опять не было... И опять над голосами среднего регистра резко выделялись выкрикивания желто-красного попугая.

Вскоре, однако, случился эпизод, поднявший в наших глазах нового словесника...

Гаврило Жданов, после отъезда Авдиева поступивший таки в гимназию, часто приходил ко мне, и, лежа долгими зимними сумерками на постели в темной комнате, мы вели с ним тихие беседы. Порой он заводил вполголоса те самые песни, которые пел с Авдие-

вым. В темноте звучал один только басок, но в моем воображении над ним вился и звенел бархатный баритон, так свободно взлетающий на высокие ноты... И сумерки наполнялись ощутительными видениями...

Однажды у нас исключили двух или трех бедняков за невзнос платы. Мы с Гаврилой беспечно шли в гимназию, когда навстречу нам попался один из исключенных, отосланный домой. На наш вопрос, почему он идет из гимназии не в урочное время, он угрюмо отвернулся. На глазах у него были слезы...

В тот же день после уроков Гаврило явился ко мне, и по общем обсуждении мы выработали некий план: решили обложить данью ежедневное потребление пирожков в большую перемену. Сделав приблизительный подсчет, мы нашли, что при известной фискальной энергии нужную сумму можно собрать довольно быстро. Я составил нечто вроде краткого воззвания, которое мы с Гаврилой переписали в нескольких экземплярах и пустили по классам. Воззвание имело успех, и на следующий же день Гаврило во время большой перемены самым серьезным образом распо-

ложился на крыльце гимназии, рядом с еврейкой Сурой и другими продавцами пирожков, колбас и яблок, и при каждой покупке предъявлял требования:

— Два пирожка... Давай копейку... У тебя что? Колбаса на три копейки? Тоже копейку.

Дело пошло. Некоторые откупались за несколько дней, и мы подумывали уже о том, чтобы завести записи и бухгалтерию, как наши финансовые операции были замечены надзирателем Дитяткевичем...

— Это что такое? Что вы делаете?

Чувствуя свою правоту, мы откровенно изложили свой план и его цели. Дидонус, несколько озадаченный, тотчас же поковылял к директору.

Долгоногова в то время уже не было. Его перевели вскоре после Авдиева, и директором был назначен Степан Яковлевич. Через несколько минут Дидонус вернулся оживленный, торжествующий и злорадный. Узнав от директора, что мы совершили нечто в высокой степени предосудительное, он радостно повлек нас в учительскую, расталкивая шумную толпу гимназистов.

Степан Яковлевич, откинувшись на стуле, измерил нас обоих взглядом и, подержав с полминуты под угрозой вспышки, заговорил низким, хрипловатым голосом:

— Вы что это затеяли? Прокламации какие-то?.. Тайные, незаконные сборы?..

— Мы... Степан Яковлевич... — начал было изумленный Таврило, но директор кинул на него суровый взгляд и сказал:

— Молчать... Я говорю: тайные сборы, потому что вы о них ничего не сказали мне, вашему директору... Я говорю: незаконные, потому... — он выпрямился на стуле и продолжал торжественно — что на-ло-ги устанавливаются только Государственным советом... Знаете ли вы, что если бы я дал официальный ход этому делу, то вы не только были бы исключены из гимназии, но... и отданы под суд...

Красивые глаза Гаврилы застыли в выражении величайшего, почти сверхъестественного изумления. Я тоже был удивлен таким неожиданным освещением нашей затеи, хотя чувствовал, что законодательные права Государственного совета тут ни при чем.

В это время взгляд мой случайно упал на фигуру Балмашевского. Он подошел в самом начале разговора и теперь, стоя у стола, перелистывал журнал. На его тонких губах играла легкая улыбка. Глаза были, как всегда, занавешены тяжелыми припухшими веками — но я ясно прочел в выражении его лица сочувственную поддержку и одобрение. Степан Яковлевич спустил тон и сказал:

— Пока — ступайте в класс.

В тот же день при выходе из гимназии меня окликнул Балмашевский и сказал, улыбаясь:

— Что? Досталось? Ну ничего! Никаких последствий из этого, разумеется, не будет. Но вы, господа, действительно принялись не так. Зайдите сегодня ко мне с Ждановым...

В тот же вечер мы зашли с Гаврилой в холостую квартиру учителя. Он принял нас приветливо и просто изложил свой план: мы соберем факты и случаи крайней нужды в среде наших товарищей и изложим их в форме записки в совет. Он подаст ее от себя, а учителя выработают устав «Общества вспомоществования учащимся города Ровно».

Вышли мы от него тронутые и с чувством благодарности.

— Не Авдиев, а малый все-таки славный, — сказал на улице мой приятель. — И, знаешь, он тоже не дурно поет. Я слышал на именинах у Тысса.

Записку мы составили. Мне далось очень трудно это первое произведение в деловом стиле, и Балмашевскому пришлось исправлять его. Молодые учителя поддержали доклад, и проект устава был отослан в министерство, а пока сделали единовременный сбор и уплатили за исключенных. Вследствие обычной волокиты устав был утвержден только года через три, когда ни нас с Гаврилой, ни Балмашевского в Ровно уже не было. Но все же у меня осталось по окончании гимназии хорошее, теплое воспоминание об этом неблестящем молодом учителе, с впалой грудью и припухшими от усиленных занятий веками...

Прошло еще лет десять. «Система» в гимназиях определилась окончательно. В 1888 или 1889 году появился памятный циркуляр «о кухаркиных детях», которые напрасно

учатся в гимназиях. У директоров потребовали особую статистику, в которой было бы точно отмечено состояние родителей учащихся, число занимаемых ими комнат, количество прислуги. Даже в то глухое и смиренное время этот циркуляр выжившего из ума старика Делянова, слишком наивно подслуживавшегося кому-то и поставившего точки над *i*, вызвал общее возмущение: не все директора даже исполнили требование о статистике, а публика просто накидывалась на людей в синих мундирах «народного просвещения», выражая даже на улицах чувство общего негодования...

В это время мне довелось быть в одном из городов нашего юга, и здесь я услышал знакомую фамилию. Балмашевский был в этом городе директором гимназии. У меня сразу ожили воспоминания о нашем с Гаврилой посягательстве на права Государственного совета, о симпатичном вмешательстве Балмашевского, и мне захотелось повидать его. Но мои знакомые, которым я рассказал об этом эпизоде, выражали сомнение: «Нет, не может быть! Это, наверное, другой!»

Оказалось, что это был тот же самый Бал-

машевский, но... возмущивший всех циркуляр он принялся применять не только за страх, но и за совесть: призывал детей, опрашивал, записывал «число комнат и прислуги»... Дети уходили испуганные, со слезами и недобрыми предчувствиями, а за ними исполнительный директор стал призывать беднейших родителей и на точном основании циркуляра убеждал их, что воспитывать детей в гимназиях им трудно и нецелесообразно. По городу ходила его выразительная фраза:

— Да что вы ко мне пристаёте? Я чиновник. Прикажут вешать десятого... Приходите в гимназию: так и будут висеть рядышком, как галки на огороде... Адресуйтесь к высшему начальству...

Мне опять вспомнился тургеневский Мардарий.

Балмашевские, конечно, тоже не злодеи. Они выступали на свою дорогу с добрыми чувствами, и, если бы эти чувства требовались по штату, поощрялись или хоть терпелись — они бы их старательно развивали. Но жестокий, тусклый режим школы требовал другого и производил в течение десятилетий

систематический отбор...

Старательный Балмашевский сделал карьеру, а Авдиев умер незаметным провинциальным преподавателем словесности на окраине.

XXIX. Мой старший брат делается писателем

Старший брат был года на два старше меня. Казалось, он унаследовал некоторые черты отцовского характера. Был, как отец, вспыльчив, но быстро остывал, и, как у отца, у него сменялись разные увлечения. Одно время он стал клеить из бумаги сначала дома, потом корабли и достиг в этом бесполезном строительстве значительного совершенства: миниатюрные фрегаты были оснащены по всем правилам искусства, с мачтами, реями и даже маленькими пушками, глядевшими из люков. Потом он внезапно бросал и принимался за что-нибудь новое.

Особенно он увлекался чтением. Часто его можно было видеть где-нибудь на диване или на кровати в самой неизящной позе: на четвереньках, упершись на локтях, с глазами, устремленными в книгу. Рядом на стуле стоял

стакан воды и кусок хлеба, густо посыпанный солью. Так он проводил целые дни, забывая об обеде и чае, а о гимназических уроках и подавно.

Сначала это чтение было чрезвычайно беспорядочно: «Вечный Жид», «Три мушкетера», «Двадцать пять лет спустя», «Королева Марго», «Граф Монте-Кристо», «Тайны мадридского двора», «Рокамболь» и т. д. Книги он брал в маленьких еврейских книжных лавчонках и иной раз посылал меня менять их. На ходу я развертывал книгу и жадно поглощал страницу за страницей. Но брат никогда не давал мне дочитывать, находя, что я «еще мал для романов». Так многое из этой литературы и доныне осталось в моей памяти в виде ярких, но бессвязных обрывков...

Однажды — брат был в это время в пятом классе ро-венской гимназии — старый фантазер Лемпи предложил желающим перевести русскими стихами французское стихотворение:

*De ta tige detachee,
Pauvre feuille dessechee,
Ou vas-tu? — Je ne sais rien...[26]*

Весь класс отказался, согласились двое. Это был некто Пачковский и мой брат. Последний кинулся на стихи так же страстно, как недавно на выклейку фрегатов, и ему удалось в конце концов передать изрядным стихом меланхолические размышления о листочке, уносимом потоком в неведомые пределы. О стихах заговорили и товарищи и учителя. Брат прослыл «поэтом» и с этих пор целые дни проводил, подбирая рифмы. Мы смеялись, глядя, как он левой рукой выстукивал по столу число стоп и слогов, а правой строчил, перемарывал и опять строчил. Когда наш смех достигал до его слуха, он на время отрывался от вдохновенного творчества, грозил нам кулаком и опять погружался в свое занятие.

Так как французские стихи перевел также и Пачковский, то сначала в классе говорили: «У нас два поэта». Пачковский, сын бедной вдовы, содержавшей ученическую квартиру, был юноша довольно великовозрастный, с угреватым лицом, широкий в кости, медвежеватый и неуклюжий. Перевод его был плох, но все же заслужил некоторое поощрение.

После этого Пачковский стал как-то иначе ходить, иначе носил голову, втягивая ее между поднятых плеч и слегка откидывая назад, и говорил, цедя сквозь зубы. Успех брата не давал ему покоя. Он решился затмить соперника, для чего выступил одновременно с «оригинальной поэмой» и сатирой. Сатира имела форму «послания к товарищу-поэту», и в ней под видом лукавого признания чужого первенства скрывался яд. Поэма изображала страдания юной гречанки, которая собирается кинуться с утеса в море по причине безнадежной любви к младому итальянцу. Поэт напрасно взывает к ее благоразумию, убеждая не губить молодой жизни. Гречанка приводит в исполнение пагубное свое намерение и кидается в пучину. Но и жестокосердый итальянец не избег своей участи: «волны выкинули гречанкино тело на берег крутой» именно в том месте, где жил итальянец молодой. Поэма кончалась убедительным двустишием:

*И он не смог того пережить
И должен был себя жизни лишить.*

Брат пустил по рукам стихотворную басенку о «Пачкуне, поэте народном». Эта кличка так и осталась за Пачковским.

Этот маленький полемический эпизод всколыхнул литературные интересы в гимназической среде, и из него могло бы, пожалуй, возникнуть серьезное течение, вроде того, какое было некогда в Царскосельском лицее или Нежинской гимназии времен Гоголя. Но словесник Андриевский был весь поглощен «Словом о полку Игореве», а затем вскоре появились циркуляры, запрещающие всякие внеклассные собрания и рефераты. Д. А. Толстой заботился, чтобы умственные интересы в гимназической среде не били ключом, а смиренно и анемично журчали в русле казенных программ.

Пачковский принял тон непризнанного гения: с печатью отвержения на челе он продолжал кропать длинные и вялые творения. Когда однажды Андриевский спросил его на уроке что-то по теории словесности, он полунасмешливо, полувеличаво поднялся с места и сказал:

— Для человека с кастальским источником

в душе мертвящие теории излишни.

Андриевский ответил обычным удивленно-протяжным «а-а-а!» — и поставил поэту единицу.

К концу года Пачковский бросил гимназию и поступил в телеграф. Брат продолжал одиноко взбираться на Парнас, без руководителя, темными и запутанными тропами: целые часы он барабанил пальцами стопы, переводил, сочинял, подыскивал рифмы, затеял даже словарь рифм... Классные занятия шли все хуже и хуже. Уроки, к огорчению матери, он пропускал постоянно. —

Однажды, прочитав проспект какого-то эфемерного журнальчика, он послал туда стихотворение. Оно было принято и даже, кажется, напечатано, но журнальчик исчез, не выслав поэту ни гонорара, ни даже печатного экземпляра стихов. Ободренный все-таки этим сомнительным «успехом», брат выбрал несколько своих творений, заставил меня тщательно переписать их и отослал... самому Некрасову в «Отечественные записки».

Недели через две или три в глухой городишко пришел ответ от «самого» Некрасова.

Правда, ответ не особенно утешительный: Некрасов нашел, что стихи у брата гладки, приличны, литературны; вероятно, от времени до времени их будут печатать, но... это все-таки только версификация, а не поэзия. Автору следует учиться, много читать и потом, быть может, попытаться использовать свои литературные способности в других отраслях литературы.

Брат сначала огорчился, но затем перестал выстукивать стопы и принялся за серьезное чтение: Сеченов, Молешотт, Шлоссер, Льюис, Добролюбов, Бокль и Дарвин. Читал он опять с увлечением, делал большие выписки и порой, как когда-то отец, кидал мне мимоходом какую-нибудь поразившую его мысль, характерный афоризм, меткое двустишие, еще, так сказать, теплые, только что выхваченные из новой книги. Материал для этого чтения он получал теперь из баталионной библиотеки, в которой была вся передовая литература.

— Га! Помяните мое слово: из этого хлопца выйдет ученый или писатель, — глубокомысленно предсказал дядя-капитан.

Репутация будущего «писателя» установ-

ливалась за братом, так сказать, в кредит и в городе. Письмо Некрасова стало известно какими-то неведомыми путями и придавало брату особое значение.

Из гимназии ему пришлось уйти. Предполагалось, что он будет держать экстерном, но вместо подготовки к экзамену он поглощал книги, делал выписки, обдумывал планы каких-то работ. Иногда, за неимением лучшего слушателя, брат прочитывал мне отрывки изложения. Но тут подвернулось новое увлечение.

На этот раз причиной его явился известный тогда издатель господин Трубников. В то время он только что поставил газету «Биржевые ведомости», которую обещал сделать органом провинции, и его рекламы, заманчивые, яркие и вкусные, производили на провинциального читателя сильное впечатление. «Выписал я, знаете, газету Трубникова...» Или «Об этом надо бы написать Трубникову...» — говорили друг другу обыватели, и «Биржевые ведомости» замелькали в городе, вытесняя традиционный «Сын отечества» и успешно соперничая с «Голосом».

Однажды брату принесли конверт со штемпелем редакции. Он вскрыл его, и на лице его выразилось радостное изумление. В конверте было письмо от самого Трубникова. Правда, текст письма был печатный, но вначале стояло имя и отчество брата... Откуда юркий издатель узнал об его существовании и литературных склонностях, сказать трудно. В письме говорилось о важных «в наше время» задачах печати, и брат приглашался содействовать пробуждению общественной мысли в провинции присылкой корреспонденции, заметок и статей, касающихся вопросов местной жизни.

Брат на время забросил даже чтение. Он достал у кого-то несколько номеров трубниковской газеты, перечитал их от доски до доски, затем запасся почтовой бумагой, обдумывал, строчил, перемарывал, считал буквы и строчки, чтобы втиснуть написанное в рамки газетной корреспонденции, и через несколько дней упорной работы мне пришлось переписывать новое произведение брата. Начиналось оно словами:

Гор. РОВНО (от нашего корреспондента)

та).

За этим следовала бойко набросанная характеристика маленького городка с его спячкой, пересудами, сплетнями и низменными интересами. Общими беглыми чертами были зарисованы провинциальные типы, кое-где красиво выделялись литературные обороты и цитаты, обнаруживавшие начитанность автора. Мне казалось только, что речь идет как будто о каком-то городке вообще, а не о нашем именно, типы же взяты были скорее из книг, чем из нашей жизни. Это мое замечание нимало не смутило автора. Так и нужно. Это ведь «литература»... Всегда немного иначе, чем в жизни.

Корреспонденция была отослана. Дней через десять старик почталион, сопровождаемый лаем собак, от которых он отбивался коротенькой сабелькой, принес брату номер газеты и новое письмо со штемпелем редакции. Брат тотчас схватился за газету и просиял. На третьей странице, выведенная жирным шрифтом и курсивом, стояла знакомая фраза:

Гор. РОВНО (от нашего корреспондента)

та).

Мне показалось это почти чудом. Так еще недавно я выводил эти самые слова неинтересным почерком на неинтересной почтовой бумаге, и вот они вернулись из неведомой, таинственной «редакции» отпечатанными на газетном листе и вошли сразу в несколько домов, и их теперь читают, перечитывают, обсуждают, выхватывают лист друг у друга... Я перечитал корреспонденцию, и мне показалось, что на огромном сером листе она выделяется чуть не огненными буквами. Критика моя перед печатным текстом почтительно смолкла. Это — «литература», то есть нечто гораздо интереснее нашего тусклого городишка, с его заросшими прудами и сонными лачугами... Листок с столбцом бойких строчек, набросанных рукою брата, упал сюда как камень в застоявшуюся воду... Точно вдруг над сонным городом склонился таинственный и величавый фантом: сам господин Трубников из своего прекрасного далека заглядывает в него умным и насмешливым взглядом... И городок начинает копошиться, точно внезапно раскрытый муравейник.

Городок действительно закопошился. Номер ходил по рукам, о таинственном корреспонденте строились догадки, в общих характеристиках узнавали живых лиц, ловили намеки. А так как корреспондент в заключение обещал вскрыть на этом фоне «разные эпизоды повседневного обывательского прозябания», то у Трубникова опять прибыло в нашем городе несколько подписчиков.

Этот эпизод в значительной степени ослабил благотворное действие некрасовского письма. Брат почувствовал себя чем-то вроде Атласа, державшего на плечах ровенское небо. В то время, когда в городе старались угадать автора, — автор сидел за столом, покачивался на стуле с опасностью опрокинуться, глядел в потолок и придумывал новые темы. Он был весь поглощен этим занятием. Корреспонденция летела за корреспонденцией, и хотя печатались не все, но некоторые все же печатались, а однажды почталион принес повестку на 18 рублей 70 копеек. Эта сумма в то время, когда штатные чиновники суда получали по три и по пяти рублей в месяц, казалась целым богатством. Правда, вялый горо-

док доставлял мало тем, но брат был на этот счет изобретателен. Наибольшее волнение в городе было вызвано его письмом о вечере в местном клубе, куда были допущены гимназисты. Корреспондент изобразил их успех несколько преувеличенными красками. «Питомцы Минервы (гимназисты) решительно оттеснили сынов Марса (гарнизонные и стрелковые офицеры), и прелестная богиня любви, до тех пор благосклонная к усам и эполетам, с стыдливой улыбкой поощрения протянула ручку безусым юношам в синих мундирах». Офицеры обиделись и заговорили об «оскорблении военной чести». Полковник ездил объясняться с директором... Городок долго не мог успокоиться... В качестве практического результата — гимназистам посещение танцевальных вечеров было воспрещено...

К экзаменам брат так и не приступал. Он отпустил усики и бородку, стал носить пенсне, и в нем вдруг проснулись инстинкты щеголя. Вместо прежнего увальня, сидевшего целые дни над книгами, он представлял теперь что-то вроде щеголеватого денди, в плетеных манишках и лакированных сапогах.

«Мне нужно бывать в обществе, — говаривал он, — это необходимо для моей работы». Он посещал клубы, стал отличным танцором и имел «светский» успех... Всем давно уже было известно, что он «сотрудник Трубникова», «литератор».

Однажды он коснулся темы более «серьезной». В городе обокрали какого-то обывателя, и брат очень картинно изобразил беспомощный городишко в темные осенние ночи, без освещения, со стражами, благополучно спящими по своим углам... Помощник исправника, представлявший из себя, за окончательной дряхлостью исправника Гоца, высшую фактическую полицейскую власть в городе, пригласил брата «для некоторого секретного разговора». Любезно предложив папиросу, высший представитель полицейской власти приступил к дипломатическому объяснению: он хорошо знал и глубоко уважал отца. Кроме того, он питает уважение к литературе. Он находит, что описание вечера было очень остроумно и мило. Но в последнее время газета Трубникова стала уже касаться некоторым образом «деятельности правительства».

Брат выразил удивление: о правительстве, кажется, ничего не было. «Да, не прямо. Но было о ночной страже и бездействии, так сказать, власти. Участились грабежи... А кто, по воле спросить, обязан за этим наблюдать?» Полиция! Полиция есть орган правительства. И если впредь корреспонденции будут касаться деятельности правительственной власти, то он, помощник исправника, при всем уважении к отцу, а также к литературе, будет вынужден произвести секретное дознание о вредной деятельности корреспондента и даже... ему неприятно говорить об этом... ходатайствовать перед губернатором о высылке господина литератора из города...

Затем он вежливо попрощался, уверяя, что очень уважает печать, восхищается острым пером неизвестного ему, в сущности, корреспондента и ничего не имеет против обличения нравов. Лишь бы не подрывали власть.

Брат вернулся домой несколько озабоченный, но вместе польщенный. Он — сила, с которою приходится считаться правительству. Вечером, расхаживая при лунном свете по нашему небольшому саду, он рассказал мне в

подробностях разговор с помощником исправника и прибавил:

— Да, вот неприятная сторона известности... А скажи: думал ли ты, что твой брат так скоро станет руководителем общественного мнения?

— Ну-у... — протянул я скептически. — Это уж слишком громко.

Он остановился в аллейке, пронизанной пятнами лунного света, и сказал с некоторым раздражением (мое сомнение врывалось диссонансом в его настроение):

— Ты еще глуп. А я тебе по всем правилам логики докажу, что это так. Посылка: печать руководит общественным мнением! Отвечай: да или нет?

— Ну, положим, да!

— А я теперь писатель?..

— Д-да, — протянул я менее решительно.

— Несомненно, так как человек, печатающий свои статьи, есть писатель. Отсюда вывод: я тоже руководитель общественного мнения. Советую: почитай логику Милля, тогда не будешь делать глупых возражений.

Я не возражал более, а он смягчился и, про-

должая ходить по аллейке, развивал свои планы.

Читатель отнесется снисходительно к маленьким преувеличениям брата, если примет в соображение, что ему было тогда лет семнадцать или восемнадцать, что он только что избавился от скучной школьной ферулы и что, в сущности, у него были налицо все признаки так называемой литературной известности.

Что такое, в самом деле, литературная известность? Золя в своих воспоминаниях, рассуждая об этом предмете, рисует юмористическую картинку: однажды его, уже «всемирно известного писателя», один из почитателей просил сделать ему честь быть свидетелем со стороны невесты на бракосочетании его дочери. Дело происходило в небольшой деревенской коммуне близ Парижа. Записывая свидетелей, мэр, местный торговец, услышав фамилию Золя, поднял голову от своей книги и с большим интересом спросил:

— Мосье Золя? Шляпный магазин на такой-то улице?

— Нет, писатель.

— А! — произнес мэр равнодушно и записал фамилию.

За писателем последовал какой-то мосье Мишель. Мэр опять поднял голову:

— Мосье Мишель... Магазин белья на такой-то улице?

— Да.

Мэр засуетился:

— Стул господину Мишелю... Покорно прошу садиться. Очень польщен...

Этот маленький эпизод, который я передаю по памяти, довольно верно рисует пределы самой громкой «всемирной известности». Известность — это значит, что имя человека распространяется по свету известными тропками. Знают там, где читают, — это в лучшем случае. А читают вообще на этом свете мало. Читающее человечество — это приблизительно поверхность рек по отношению ко всему пространству материков. Капитан, плавающий по данной части реки, весьма известен в этой части. Но стоит ему отъехать на несколько верст в сторону от берега... Там другой мир: широкие долины, леса, разбросанные по ним деревни... Над всем этим проносятся с

шумом ветры и грозы, идет своя жизнь, и ни разу еще к обычным звукам этой жизни не примешалась фамилия нашего капитана или «всемирно известного» писателя.

Зато в своей среде, на своей линии — брат стал действительно известен.

С ним считалось «правительство», его знало «образованное общество», чиновники, торговцы-евреи — народ, питающий большое уважение к интеллекту.

В погожие сумерки «весь город» выходил на улицу, и вся его жизнь в эти часы переливалась пестрыми волнами между тюрьмой на одной стороне и почтовой станцией — на другой. Обыватели степенно прохаживались, месся ногами пыль, встречались, здоровались, делились редкими новостями. Порой среди примелькавшихся лиц появлялся заезжий магнат, граф Плятер, князь Вишневецкий или «столичный чиновник», едущий на таинственную «ревизию». И все взгляды обращались за ними, а толпа около них густела... Порой показывался директор гимназии, судья, помощник исправника, казначей... Все это составляло своего рода аристократию... Но бы-

ли известности неофициальные. Чиновник Михаловский, недавно приехавший из столицы, носил пестрые пиджаки и галстуки и необыкновенно узкие брюки. О нем говорили, что по утрам он вскакивает в них со стола, как принц д'Артуа по рассказу Карлейля, а по вечерам дюжий лакей вытряхивает его прямо на кровать... Все это было смешно, но... инициалы его совпадали с именем и отчеством известного в то время поэта-переводчика, и потому, когда в дымке золотистой пыли, поднимаемой ногами гуляющих, появлялась пестрая вертлявая фигурка — то за ней оглядывались и шептали друг другу:

— Господин Михаловский... Поэт. Знаете?... В «Деле»...

— Как же, как же... читал.

И только когда недоразумение разъяснилось — престиж приезжего упал. Остались лишь пестрые брюки и смешные анекдоты.

Однажды на таком гулянии появился молодой человек, одетый щеголем, худощавый, подвижной и веселый. Он пожимал руки направо и налево, перекидываясь шутками. И за ним говорили:

— Арепа, Арепа... Сотрудник «Искры». Свалил губернатора Бессе...

Арепа окончил нашу гимназию и служил в Житомире, кажется письмоводителем стряпчего. Однажды в «Искре» появился фельетон, озаглавленный: «Разговор Чемодана Ивановича с Самоваром Никифоровичем». В Чемодане Ивановиче узнавали губернатора, а в Самоваре Никифоровиче — купца Журавлева. Разговор касался взятки при сдаче почтовой гоньбы. Пошли толки. Положение губернатора пошатнулось. Однажды в клубе он увидел в биллиардной Арепу и, вероятно, желая вырвать у него покаянное отречение, сразу подошел к нему и сказал:

— Вы, молодой человек... Я слышал... Распустили грязную сплетню.

Арепа вытянулся и, прикидываясь испуганным, дрожа и заикаясь, сказал:

— Смею спросить, ваше-ство... что именно? Генерал ободрился. При разговоре присутствовали

посетители, чиновники, виднелся даже синий жандармский мундир...

— Ну, там... — продолжал губернатор с ве-

личавым пренебрежением, — будто с Журавлева... каких-то там пять тысяч...

— Клевета-с, ваше-ство, — говорил Арёпа, и его фигура изображала самое жалкое раболепие... — Враги, ваше-ство... хотят меня погубить в ваших глазах...

И вдруг, выпрямившись, он прибавил:

— Десять тысяч, ваше-ство... Я говорил: десять тысяч...

Губернатора чуть не хватил удар, и вскоре он «по домашним обстоятельствам» подал в отставку...

Так рассказывали эту историю обыватели. Факт состоял в том, что губернатор после корреспонденции ушел, а обличитель остался жив и теперь, приехав на время к отцу, наслаждался в родном городе своей славой...

Он промелькнул метеором и исчез, оставив по себе великое почтение к званию корреспондента. Свалить губернатора — это не шутка. Брат мой был тоже корреспондент. И хотя ни одного губернатора еще не свалил, но все знали, что это именно его перо сотрясает время от времени наш мирок, волнуя то чиновников, то ночную стражу, то офицерство.

На него обращали внимание. Его приглашали на вечера, солидные обыватели брали его под руку и, уведя в сторонку, рассыпались в похвалах его «таланту» и просили продернуть того или другого...

Мудрено ли, что некоторое время брат мой плавал в атмосфере этой «известности», не замечая, что вращается в пустом пространстве и что его потрясающие корреспонденции производят бесплодное волнение, ничего никуда не подвигающее...

Во мне эти «литературные успехи» брата оставили особый след. Они как будто перекинули живой мостик между литературой и будничной жизнью: при мне слова были брошены на бумагу и вернулись из столицы напечатанными.

Уже раньше, прочитав книгу, я сравнивал порой прочитанную книгу с впечатлениями самой жизни, и меня занимал вопрос: почему в книге всегда как будто «иначе». У брата было тоже иначе. Когда первое преклонение перед печатной строкой прошло, я опять чувствовал это как недостаток, и мне стало интересно искать таких слов, которые бы всего

ближе подходили к явлениям жизни. Все, что меня поражало, я старался перелить в слова, которые бы схватывали внутренний характер явления. На главной нашей улице стояла маленькая избушка, нижние венцы которой подгнили и осели. Стены ее стали ниже человеческого роста... Проходя мимо нее, я говорил себе: она нахмуренная... нахлобученная... прижмурившаяся... обиженная... печальная... И когда из нее, нагнувшись, выходил пьяненький чиновник Красуский, я искал слов для чиновника...

Это входило у меня в привычку. Когда же, после Тургенева и других русских писателей, я прочел Диккенса и «Историю одного города» Щедрина — мне показалось, что юмористическая манера должна как раз охватить и внешние явления окружающей жизни, и их внутренний характер. Чиновников, учителей, Степана Яковлевича, Дидонуса я стал переживать то в диккенсовских, то в щедринских персонажах.

Выходило все-таки «не то»... И странно: порой, когда я не делал намеренных усилий, в уме пробежали стихи и рифмы, мелькали ка-

кие-то периоды, плавные и красивые... Но они пробегали произвольно и не захватывали ничего из жизни... Форма как будто рождалась особо от содержания и упархивала, когда я старался охватить ею что-нибудь определенное.

Только во сне я читал иной раз собственные стихи или рассказы. Они были уже напечатаны, и в них было все, что мне было нужно: наш городок, застава, улицы, лавки, чиновники, учителя, торговцы, вечерние гуляния. Все было живое, и над всем было что-то еще, уже не от этой действительности, что освещало будничные картины не будничным светом. Я с восхищением перечитывал страницу за страницей.

Но... когда просыпался — все улетало, какстая птиц, испуганных приближением охотника. А те концы, которые мне удавалось порой задержать в памяти, оказывались совершенно плохи: в стихах не было размера, в прозе часто недоставало даже грамматического смысла, а слова стояли с не своим, чуждым значением...

Это опять было брожение в пустоте без от-

кликков... Толчок ему дал Авдиев и отчасти корреспонденции брата. Авдиев уехал. Вкус корреспонденции притуплялся.

Запрещение гимназистам посещать клуб было, кажется, их единственным практическим результатом. Впрочем, однажды, в самом центре города, у моста, починили фонарь. Несколько раз в темные вечера в честь гласности горел огонек... Это было все-таки торжество. Каждый, кто проходил мимо этого фонаря глухою ночью, думал: «А! пробрал их трубниковский корреспондент».

Но скоро и этот одинокий огонек погас...

XXX. Дух времени в Гарном Луге

Изолированные факты отдельной жизни сами по себе далеко не определяют и не уясняют душевного роста. То, что разлито кругом, что проникает одним общим тоном многоголосый хор жизни — невольно, незаметно просачивается в каждую душу и заливают ее, подхватывает, уносит своим потоком. Оглядываясь назад, можно отметить вехами только начало наводнения... Потом это уже сплошное, ровное течение, в котором давно исчезли первые отдельные ручьи.

Настроение, или как тогда говорили, «дух времени», просачиваясь во все уголки жизни, заглянул и в Гарный Луг.

В одно время здесь собралась группа молодежи. Тут был, во-первых, сын капитана, молодой артиллерийский офицер. Мы помнили его еще кадетом, потом юнкером артиллерийского училища. Года два он не приезжал, а потом явился новоиспеченным поручиком, в свежем с иголки мундире, в блестящих эполетах и сам весь свежий, радостно сияющий новизной своего положения, какими-то обещаниями и ожиданиями на пороге новой жизни.

Затем мой брат, еще недавно плохо учившийся гимназист, теперь явился в качестве «писателя». Капитан не то в шутку, не то по незнанию литературных отношений называл его «редактором» и так, не без гордости, рекомендовал соседям.

Но еще большее почтение питал он к киевскому студенту Брониславу Янковскому. Отец его недавно поселился в Гарном Луге, арендуя соседние земли. Это был человек старого закала, отличный хозяин, очень авторитетный

в семье. Студент с ним не особенно ладил и больше тяготел к семье капитана. Каждый день чуть не с утра, в очках, с книгой и зонтиком под мышкой, он приходил к нам и оставался до вечера, серьезный, сосредоточенный, молчаливый. Оживлялся он только во время споров.

Эта маленькая группа молодежи сразу заняла в усадьбе центральное положение. Когда теперь я оглядываюсь на тогдашние впечатления, то мне кажется, будто эти молодые люди, еще недавно казавшиеся совершенно заурядными, теперь вдруг засияли и заблестали, точно эти года два покрыли их блестящим лаком.

Двоюродный брат был еще недавно веселым мальчиком в кургузом и некрасивом юнкерском мундире. Теперь он артиллерийский офицер, говорит об ученых книгах и умных людях, которых называют «личностями», и имеет собственного денщика, с которым собирается установить особые, «не рутинно-начальственные» отношения.

Янковский был, правда, первым учеником в нашей гимназии, но... мы никогда не пре-

клонялись перед первыми учениками и медалистами. Теперь он студент, «подающий блестящие надежды». «Голова, — говорил о нем капитан почтительно. — Будущий Пирогов, по меньшей мере».

У капитана были три дочери, две из них уже невесты. Старшая — веселая, недурная собой хохотушка, хорошо играла на фортепиано и любила танцы. Средняя — смуглая, некрасивая, с большими задумчивыми и печальными глазами. Женских гимназий тогда почти не было, и девушки учились у гувернанток чему-нибудь и как-нибудь. Теперь молодежь принялась их «развивать». Со старшей дело шло не особенно успешно; средняя жадно накинулась на новые книги, которые, впрочем, бедняжка без подготовки понимала с трудом. Студент обратил на нее особенное внимание. Нередко их можно было видеть вдвоем. Студент поучал, девушка слушала. Иногда студент шагал вокруг клумбы перед домом и, держа в руках свежесорванный цветок, объяснял его устройство с важным спокойствием молодого профессора. Если бы это сделал кто-нибудь другой, капитан поднял бы целую бу-

рю. Студент безжалостно вытаскивал с корнями лучшие цветы, и капитан только проводил их невольными вздохами. Однажды на деревне пришлось сделать перевязку запущенной раны на руке жницы. Студент промывал и перевязывал, девушка благоговейно подавала бинты и корпии. Когда то же самое делал фельдшер, — и, вероятно, делал лучше, — это выходило далеко не так интересно. У студента было интересно. Походило даже на священнодействие.

У капитана была давняя слабость к «науке» и «литературе». Теперь он гордился, что под соломенной крышей его усадьбы есть и «литература» (мой брат), и «наука» (студент), и вообще — умная новая молодежь. Его огорчало только, что умная молодежь как будто не признает его и жизнь ее идет особой струей, к которой ему трудно примкнуть.

Правда, его рассказы о гарнолужском панстве пользовались успехом и вызывали комментарии об «отжившем сословии». Но вот однажды после анекдотов о панах последовал веселый рассказ о мужике.

Относился он ко времени «эмансипации».

Крестьян только что освободили. Был праздник. Мужики нарядными толпами шли из церкви и с базара; много было пьяных. Капитан с женой и детьми в коляске возвращался из костела. Вдруг лошади стали... Что такое? Оказалось, что на дороге, раскинувшись поперек в самой беспечной позе, лежал один из новых «свободных граждан». Кучер кричит: «Пошел с дороги, такой-сякой! Паны едут». Свободный гражданин приподнимает пьяную голову и отвечает, что теперь воля, что он хочет вот так себе лежать на дороге, а на панов ему... И он выразился самым дерзким и неприличным образом.

Капитана это, разумеется, взорвало, но вдруг его мысли приняли юмористическое направление. А! Дорога для всех! Теперь воля! Хорошо! Пусть так. Он приказал жене и дочерям отвернуться и, став над пьяным, проделал то, что некогда Гулливер проделал над лилипутами. «Панская шутка» вызвала веселье среди празднично настроенного народа, собравшегося вокруг этой сценки и ожидавшего, как-то пан выйдет из щекотливого положения. «Свободный гражданин», озадачен-

ный и огорченный, только поворачивал лицо, сплевывал и говорил с укоризной заплетающимся языком:

— Э! Пане, пане! Не робить бо кепства...[27]

И затем, вдруг собравшись с силами, быстро пополз под общий хохот с дороги в канаву.

Этот рассказ мы слышали много раз, и каждый раз он казался нам очень смешным. Теперь, еще не досказав до конца, капитан почувствовал, что не попадает в настроение. Закончил он уже, видимо, не в ударе. Все молчали. Сын, весь покраснев и виновато глядя на студента, сказал:

— Папа... Ведь это... поругание личности.

— Д-да, — прибавил «редактор», — унижение человеческого достоинства.

Студент, молча, с обычным серьезным видом и сжатыми губами глядевший в синие очки, не сказал ни слова, но... встал и вышел из комнаты.

Это было внушительнее всякого осуждения.

В комнате водворилось неловкое, тягостное молчание. Жена капитана смотрела на него испуганным взглядом. Дочери сидели,

потупясь и ожидая грозы. Капитан тоже встал, хлопнул дверью, и через минуту со двора донесся его звонкий голос: он неистово ругал первого попавшего на глаза работника.

Скоро, однако, умный и лукавый старик нашел средство примириться с «новым направлением». Начались религиозные споры, и в капитанской усадьбе резко обозначились два настроения. Женщины — моя мать и жена капитана — были на одной стороне, мой старший брат, офицер и студент — на другой.

Я решительно примкнул к женщинам; младшие братья и сестры составляли публику.

Особенно памятен мне один такой спор. Речь коснулась знаменитой в свое время полемики между Пуше и Пастером. Первый отстаивал самозарождение микроорганизмов, второй критиковал и опровергал его опыты. Писарев со своим молодым задором накинулся на Пастера. Самозарождение было нужно: оно кидало мост между миром организмов и мертвой природой, расширяло пределы эволюционной теории и, как тогда казалось, доставляло победу материализму.

Писарева я тогда еще не читал, о Дарвине у меня почти только и было воспоминание из разговоров отца: старый чудак, которому почему-то хочется доказать, что человек произошел от обезьяны. И оба теперь стучались в дверь, которую я еще в детстве запер наглухо своим обетом: никогда не отступить от «веры». Спор велся шумно и страстно. Ну хорошо: микроорганизмы зародились в воде или, по Геккелю, на неизмеримой глубине океана. А вода, а океан откуда? Из облаков? А облака? Из водорода и кислорода. А водород и кислород?

В середине спора со двора вошел капитан. Некоторое время он молча слушал, затем... неожиданно для обеих сторон — примкнул к «материалистам».

— Га! — сказал он решительно. — Я давно говорю, что пора бросить эти бабьи сказки. Философия и наука что-нибудь значат... А Священное писание? Его писали люди, не имевшие понятия о науке. Вот, например, Иисус Навин... «Стой, солнце, и не движись, луна»...

Я вдруг вспомнил далекий день моего дет-

ства... Капитан опять стоял среди комнаты, высокий, седой, красивый в своем одушевлении, и развивал те же соображения о мирах, солнцах, планетах, «круговращении естества» и пылинке Навине, который, не зная астрономии, останавливает все мироздание... Я вспомнил также отца с его уверенностью и смехом...

Молодежь радостно встретила нового союзника. Артиллерист прибавил, что ядро, остановленное в своем полете, развивает огромную теплоту. При остановке земли даже алмазы мгновенно обратились бы в пары... Мир с треском расплылся бы в междупланетном пространстве... И все из-за слова одного человека в незаметном уголке мира...

Вечер закончился торжеством «материализма». Капитан затронул воображение. Сбитые с позиции, мы молчали, а старик, довольный тем, что его приняла философия и наука, — изощрялся в сарказмах и анекдотах...

Было поздно, когда студент стал прощаться. Молодежь с девицами его провожала. Они удалились веселой гурьбой по переулку, смеясь, перебивая друг друга, делясь новыми ар-

гументами, радостно упраздняя бога и бессмертие. И долго этот шумливый комок двигался, удаляясь по спящей улице, сопровождаемый лаем деревенских собак.

Я не пошел с ними. Мое самолюбие было оскорблено: меня третировали, как мальчика. Кроме того, я был взволнован и задет самой сущностью спора и теперь, расхаживая вокруг клумбы, на которой чуть светились цветы ранней осени, вспоминал аргументы отца и придумывал новые.

Ночь была тихая, звездная. Из-за старого «магазина» еще не поднялась луна, но очертания остроконечной крыши и силуэты тополей, казалось, плавали в загорающемся сиянии. Младший брат и Саня уже спали на сеновале. Я прошел туда же, нашел в темноте лестницу и поднялся к ним, стараясь потише шуршать душистым сеном. Было темно, только в одном месте свет вливался через прореху в соломенной крыше. Я улегся под ней, уставившись в клочок ночного неба, усеянного звездами. Одна из них, самая большая, пока я думал, передвинулась с одной стороны прорехи к другой, точно проплыла по синему пруду. И

я ясно представил себе огромный свод, тоже тихо совершающий свое вращательное движение... Вернее, это движется земля... Одну землю остановить легче, чем весь этот свод. Но... все-таки трудно. Правда, бог всемогущ. Он мог остановить землю и приказать, чтобы не было от этого дурных последствий. И даже еще иначе. Солнце зашло, а в вышине все еще играют его лучи... Если светлое облако, как экран, отразило эти лучи на землю, Иисусу Навину было светло еще час-другой... И, значит, цель молитвы достигнута...

А в прорехе появлялись новые звезды и опять проплывали, точно по синему пруду... Я вспомнил звездную ночь, когда я просил себе крыльев... Вспомнил также спокойную веру отца... Мой мир в этот вечер все-таки остался на своих устоях, но теперешнее мое звездное небо было уже не то, что в тот вечер. Воображение охватывало его теперь иначе. А воображение и творит, и подтачивает веру часто гораздо сильнее, чем логика...

Тем не менее на следующий день я кинулся в полемику уже с космографическими соображениями, и споры закипели с новой си-

лой...

Так шло дело до конца каникул. Капитан оставался верным союзником «материалистов», и порой его кощунственные шутки заходили довольно далеко. Однако по мере того как вечера становились дольше и темнее, его задор несколько остывал.

Однажды засиделись поздно. Снаружи в открытые окна глядела темная мгlistая ночь, в которой шелестела листва, и чувствовалось на небе бесформенное движение облаков. В комнате тревожно и часто звонил невидимый сверчок.

В этот вечер капитан несколько перехватил в своем острословии. Жена была им недовольна; кажется, и он был недоволен собою. Лицо его как-то увяло, усы опустились книзу.

— Ну, будет, — сказала тетка. — Пора спать. Капитан тяжело поднялся с места и, окинув взглядом своих союзников, сказал неожиданно:

— Э! Так-то оно так. И наука, и все такое... А все-таки, знаете, стану ложиться в постель — перекрещусь на всякий случай. Как-то спокойнее... Что нет там ничего — это вер-

но... Ну, а вдруг оно есть...

Под конец он спохватился и придал голосу полуюмористическую нотку. Но жена просто-душно пояснила:

— Эх, старый! Кошунствует целый вечер, а потом крестится, вздыхает, боится темноты и будит меня, чтобы я его перекрестила...

— Ну, ну! — остановил ее недовольный муж.

Этот маленький эпизод доставил мне минуту иронического торжества, восстановив воспоминание о вере отца и легкомысленном отрицании капитана. Но все же основы моего мировоззрения вздрагивали. И не столько от прямой полемики, сколько под косвенным влиянием какого-то особого веяния от нового мирозерцания.

Я все еще не знал ни Писарева, ни Дарвина, ни физиологии и ловил только отрывки, вылетающие, как искры, из рассуждений и споров старшей молодежи. Борьба за свободу ирландцев против англичан не имела успеха потому, что ирландцы питаются картофелем, а англичане — ростбифами... Это из Бокля. Между тем мешок картофеля прибавляет

меньше крови, чем один фунт мяса. Это, кажется, из Бюхнера. Тэн объясняет сильные страсти шекспировских героев, их пламенные монологи и неистово грубые ругательства тем, что предки Шекспира — англосаксы — набивали животы сырыми ростбифами и пивом... «Мысль, — говорит Фохт, — есть выделение мозга, как желчь есть выделение печени». «Материя» и «сила», простейший атом и его механические свойства, слагаясь, дают все, что мы чувствуем как душевные процессы. Разложите на составные части вдохновенный порыв — останется такое-то количество атомов с их тяготением, и ничего больше... Человек — машина и химический препарат вместе. Так его и следует изучать. «Дана нервная дама», — говорит Сеченов в одном этюде — и рассматривает ее как простой препарат...

Все это на меня производило впечатление блестящих холодных снежинок, падающих на голое тело. Я чувствовал, что эти отдельные блески, разрозненные, случайно вырывающиеся в жару случайных споров, — светятся каким-то особенным светом, резким, холод-

ным, но идущим из общего источника...

XXXI. Потерянный аргумент

Мы вернулись в Ровно; в гимназии давно шли уроки, но гимназическая жизнь отступила для меня на второй план. На первом было два мотива. Я был влюблен и отстаивал свою веру. Ложась спать, в те промежуточные часы перед сном, которые прежде я отдавал буйному полету фантазии в страны рыцарей и казачества, — теперь я вспоминал милые черты или продолжал гарнолужские споры, подыскивая аргументы в пользу бессмертия души. Иисус Навин и формальная сторона религии незаметно теряли для меня прежнее значение...

Юная особа, пленившая впервые мое сердце, каждый день ездила с сестрой и братом в маленькой таратайке на уроки. Я отлично изучил время их проезда, стук колес по шоссе и звяканье бубенцов. К тому времени, когда им предстояло возвращаться, я, будто случайно, выходил к своим воротам или на мост. Когда мне удавалось увидеть розовое личико с каштановым локоном, выбивающимся из-под шляпки, уловить взгляд, поклон, благосклон-

ную улыбку, это разливало радостное сияние на весь мой остальной день.

Однажды бубенчики прогремели в необычное время. Таратайка промелькнула мимо наших ворот так быстро, что я не разглядел издали фигуры сидевших, но по знакомому сладкому замиранию сердца был убежден, что это проехала *она*. Вскоре тележка вернулась пустая. Это значило, что сестры остались где-нибудь на вечере и будут возвращаться обратно часов в десять.

После девяти часов я вышел из дому и стал прохаживаться. Была поздняя осень. Вода в прудах отяжелела и потемнела, точно в ожидании морозов. Ночь была ясная, свежая, прохладный воздух звонок и чуток. Я был весь охвачен своим чувством и своими мыслями. Чувство летело навстречу знакомой маленькой тележке, а мысль искала доказательств бытия божия и бессмертия души.

Время шло; сказывалась усталость. Последние лавки были заперты, уличное движение стихало. Таратайка с долговязым кучером давно проехала по направлению к предместью Воле, но назад еще не возвращалась. Я

ходил вдоль речки, не удаляясь от моста, по которому она должна была проехать. Потом остановился и стал смотреть на темную речку. По ней тихо проплывали какие-то белые птицы — не то гуси, не то молодые лебеди, — обмениваясь осторожным, невнятным клектанием, и мои мысли шли, как эти темные струи с белыми птицами... Казалось, вот-вот я найду то, что мне нужно...

Вдруг до моего сознания долетел чуть невнятный звук, будто где-то далеко ударили ложечкой по стакану. Я знал его: это — отгосок бубенчиков. Она уже выехала, но еще далеко: таратайка пробирается сетью узеньких переулков в предместьях. Я успею дойти до моста, перейти его и стать в тени угловой лавки. А пока... еще немного додумать.

Мысль, точно под влиянием толчка, заработала вдруг ярко, быстро и сильно. Я остановился, прислушиваясь к внутренней работе мозга. Да, несомненно, это складывается «неопровержимое» доказательство бессмертия. Аргументы стройно вытягивались, положение за положением, неразрывною цепью. Еще немного, и материализм (каким я знал

его в нашей полемике) — рушится. Меня охватывала радость первого самостоятельно-го творчества и открытия. Надо остановиться, уйти куда-нибудь подальше, в ту сторону, куда поплыли птицы, белевшие на повороте между ивами, и додумать до конца. Но ноги сами собой торопливо несли меня вдоль речки, к шоссе и к мосту. Звон бубенцов уже вылился на шоссе и приближался с неожиданной быстротой, заполняя своими растущими трелями чуткий воздух ночи... Успею или не успею? Я торопился, ловя слухом тарахтение колес, а мыслью — свои доказательства... Через минуту я был на мосту, но тележка уже гремела по деревянной настилке. Обе сестры с удивлением оглянулись на одинокую и, вероятно, очень глупую фигуру, неизвестно зачем застывшую в лунном свете на середине моста. Они меня не могли не узнать, но я не успел даже поклониться, потому что в это самое мгновение жадно хватал обрывки разлетевшегося силлогизма. Стройный ряд посылок и почти готового заключения снялся, как стая испугнутых птиц, и улетал в спящий сумрак, вслед за тележкой. Звон бубенцов убе-

жал в конец улицы и остановился в ее перспективе, недалеко от заставы. Две фигурки чуть мелькнули, как тени, у подъезда, и все исчезло. Осталась пустота перед глазами, пустота в сердце, пустота в голове: «неопровержимое доказательство» улетело. Я вернулся на прежнее место, глядел на воду, искал глазами лебедей, но и они уже затерялись где-то в тени, как мои мысли... На душе было ощущение важной утраты, раскаяние, сожаление. И было тускло, как на улице, на которой нечего было ждать в этот вечер...

Ночью я долго искал исчезнувшую мысль, но она не вернулась...

Вероятно, именно в этот период я молился на площади на статую мадонны... Мне все еще казалось, что я остаюсь верен своему давнему обету, но, как это часто бывает, самыми сильными аргументами являлись не те, которые выступали в полемике в качестве прямых возражений. Гораздо сильнее, хотя незаметно, действовало изменение умственного горизонта, занимаемого шаг за шагом как будто нейтральными фактами, образами, приемами мысли. Потом приходило вообра-

жение, охватывало их, и состав моего мира изменялся. Наивный ужас перед Дарвином испарился как-то незаметно, положения эволюционной теории так же незаметно вращались в понятия. Как-то в это время случилось мне прочитать «Подводный камень» забытого теперь романиста Авдеева. Почему-то я прочел его не весь, и содержание его вспоминается мне тускло. Но одно место осталось в памяти. Жена хорошего человека заинтересовывается приятелем мужа, атеистом. И муж, и она — люди верующие. Простая, искренняя вера освещает их жизненную дорогу, утешает, побуждает к добру... Но и атеист тоже хороший человек, способный на самопожертвование. Идти суровой дорогой борьбы без надежды на награду в будущей жизни, без опоры в высшей силе, без утешения... с гордой уверенностью в своей правоте... Она не может отказать этому мирозерцанию в своего рода красоте и величии...

Это место романа меня поразило. Значит, можно не верить по-иному, чем капитан, который кощунствует вечером и крестится ночью «на всякий случай»... Что, если бы отец

встретился с *таким* человеком. Стал ли бы он смеяться тем же смехом снисходительного превосходства?..

В таком настроении я встретился с Авдеевым. Он никогда не затрагивал религиозных вопросов, но год общения с ним сразу вдвинул в мой ум множество образов и идей... За героем «Подводного камня» пришел тургеневский Базаров. В его «отрицании» мне чуялась уже та самая спокойная непосредственность и уверенность, какие были в вере отца...

И опять новая «веха» отмечает поступательное движение прилива.

XXXII. Отклоненная исповедь

Я был, если не ошибаюсь, в шестом классе. В гимназии случилась шалость, помнится, довольно скверная. Сочувствия она ни в ком не вызвала, но виновных, по обыкновению, не выдали. Начальство вдруг сделало распоряжение, чтобы ученики старших классов исповедовались непременно у законоучителя. Это удивило и огорчило многих. Обыкновенно для помощи гимназическому священнику приглашался священник Баранович, человек глубоко верующий, чистый сердцем и доб-

рый. Гимназисты шли больше к нему, и в то время как около аналоя протоиерея бывало почти пусто, к Барановичу теснились и дожидались очереди...

Теперь выбора не было. Старшим приходилось поневоле идти к законоучителю... Затем случилось, что тотчас после первого дня исповеди виновники шалости были раскрыты. Священник наложил на них епитимью и лишил причастия, но еще до начала службы три ученика были водворены в карцер. Им грозило исключение...

Это произвело в нашей среде сильное впечатление. Явилось подозрение, что законоучитель выдал тайну исповеди.

На следующий день предстояло исповедоваться шестому и седьмому классам. Идя в церковь, я догнал на Гимназической улице рыжего Сучкова.

— Слышал? — спросил он у меня. Он был взволнован, и я сразу понял, что так занимает его.

— Да, — ответил я. — Но можно ли быть уверенным, что это именно протоиерей?..

— Положим. А можно ли быть уверенным,

что это не он?

Я представил себе непривлекательно-умное лицо священника-обрусителя... Шалость дрянная... Протоиерей больше чиновник и педагог и политик, чем верующий пастырь, для которого святыня таинства стояла бы выше всех соображений... Да, кажется, он мог бы это сделать.

— Я... не уверен, — ответил я на вопрос Сучкова.

— Я... тоже. А можно ли раскрывать душу, когда... нет даже такой уверенности? Я не могу.

— Я тоже... Но тогда?

Возникал тяжелый вопрос: в священнике для нас уже не было святыни, и обратить вынужденную исповедь в простую формальность — вроде ответа на уроке — не казалось трудным. Но как же быть с причастием? К этому обряду мы относились хотя и не без сомнений, но с уважением, и нам было больно осквернить его ложью. Между тем не подойти с другими — значило обратить внимание инспектора и надзирателей. Мы решили, однако, пойти на серьезный риск. Это была

своеобразная дань недавней святыне...

Никогда, кажется, в жизни я не приступал к исповеди с таким волнением. Это было перед вечерней. В церкви желтые огни свечей как бы спорили с сумерками, расплывавшимися в тонкой мгле от ладана. Справа за аналоем сидел отец Крюковский. У него была больная печень, и желчное страдание виднелось во взгляде его маленьких глаз, которыми он внимательно окидывал подходивших. А невдалеке, высокий и бледный, с добрым скуластым лицом, на котором теплилось простодушное умиление, другой священник, Баранович, принимал малышей, накрывая их епитрахилью, и тотчас же наклонялся с видом торжественного и доброго внимания.

Как я завидовал в эту минуту малышам и как мне хотелось по дойти, к этому доброму великану и излить перед ним все настроение данной минуты, вплоть до своего намерения солгать на исповеди.

Но меня уже ждал законоучитель. Он отпустил одного исповедника и смотрел на кучу старших учеников, которые как-то сжимались под его взглядом. Никто не выступал.

Глаза его остановились на мне; я вышел из ряда...

Лицо у меня горело, голос дрожал, на глаза просились слезы. Протоиерея удивило это настроение, и он, кажется, приготовился услышать какие-нибудь необыкновенные признания... Когда он накрыл мою склоненную голову, обычное волнение исповеди пробежало в моей душе... «Сказать, признаться?»

Но это было мгновение... Я встретился с его взглядом из-под епитрахили. В нем не было ничего, кроме внимательной настороженности духовного «начальника»... Я отвечал формально на его вопросы, но мое волнение при этих кратких ответах его озадачивало. Он тщательно перебрал весь перечень грехов. Я отвечал по большей части отрицанием: «грехов» оказывалось очень мало, и он решил, что волнение мое объясняется душевным потрясением от благоговения к таинству...

«Разрешение» он произнес смягченным голосом. «Епитимий не налагаю. Помолись по усердию... и за меня грешного», — прибавил он вдруг, и эта последняя фраза вновь кинула мне краску в лицо и вызвала на глаза слезы

от горького сознания вынужденного лицемерия...

На следующий день, когда все подходили к причастию под внимательными взглядами инспектора и надзирателей, мы с Сучковым замешались в толпу, обошли причащавшихся не без опасности быть замеченными и вышли из церкви.

Это было как бы прощание... С этих пор религиозные экстазы сплывали с души, и религиозные вопросы постепенно уступали место другим. Не то чтобы я решил для себя основные проблемы о существовании бога и о бессмертии. Окончательной формулы я не нашел, но самая проблема теряла свою остроту, и я перестал искать. Мой умственный горизонт заполнялся новыми фактами, понятиями, вопросами реального мира. И все это было так ярко и толпилось так заманчиво и так, по-видимому, бесконечно... И столько в этом было жизни, глубины, наконец, столько неведомого и тайно-манящего, что для других вопросов не оставалось места. Они перекрывались фактами жизни, как небесная синева перекрывается быстро несущимися светлыми,

громоздящимися друг на друга облаками, развертывающимися все новые образы, комбинации и формы... А высоты, казалось, и в них достаточно...

К концу гимназического курса я опять стоял в раздумий о себе и о мире. И опять мне показалось, что я охватываю взглядом весь мой теперешний мир и уже не нахожу в нем места для «пиетизма». Я гордо говорил себе, что никогда ни лицемерие, ни малодушие не заставят меня изменить «твердой правде», не вынудят искать праздных утешений и блуждать во мгле призрачных, не подлежащих решению вопросов...

Это продолжалось многие годы, пока... яркие облака не сдвинулись, вновь изменяя еще раз мировую декорацию, и из-за них не выглянула опять бесконечность, загадочно ровная, заманчивая и дразнящая старыми загадками сфинкса в новых формах... И тогда я убедился, что эти вопросы были только отодвинуты, а не решены в том или другом смысле...

.....

XXXIII. Чем быть?

Я был в последнем классе, когда на квартире, которую содержала моя мать, жили два брата Конахевичи — Людвиг и Игнатий. Они были православные, несмотря на неправославное имя старшего. Не обращая внимания на насмешки священника Крюковского, Конахевич не отказывался от своего имени и на вопросы в классе упрямо отвечал: «Людвиг. Меня так окрестили».

Это был юноша уже на возрасте, запоздавший в гимназии. Небольшого роста, коренастый, с крутым лбом и кривыми ногами, он напоминал гунна, и его порой называли гунном. Меня заинтересовала в нем какая-то особенная манера превосходства, с которой он относился к малышам, товарищам по классу. Кроме того, он говорил намеками, будто храня что-то недосказанное про себя.

Однажды, когда все в квартире улеглись и темнота комнаты наполнилась тихим дыханием сна, я долго не спал и ворочался на своей постели. Я думал о том, куда идти по окончании гимназии. Университет был закрыт, у матери средств не было, чтобы мне готовиться еще год на аттестат зрелости...

— Вы не спите? — тихо окликнул меня Ко-
нахевич.

— Не сплю.

— Думаете? О чем?

— У меня есть о чем подумать.

— Да, вы кончаете курс... Выбираете карье-
ру?.. В его голосе послышалась нотка иронии.

— Да, именно, — ответил я.

Он помолчал с полминуты, как бы прислу-
шиваясь к дыханию спящих товарищей, и по-
том сказал, понизив голос:

— Счастливый вы человек...

— Это почему?

— У вас маленькие желания и маленькие
задачи. Поэтому вы всего достигнете в жизни:
окончите курс, поступите на службу, жени-
тесь... И жизнь ваша покатится по ровной,
гладкой дороге...

— А ваша? — спросил я, невольно улыба-
ясь в темноте.

— Моя? — Опять с его кровати пронесся
глубокий вздох, бурный и печальный.

— Мне суждена другая доля... Меня манит
недостижимое. Жизнь моя пройдет бурно...
Уничтожая все на своем пути, принося стра-

дания всем, кого роковая судьба свяжет со мною. И прежде всего тех, кого я люблю.

— Не понимаю, — сказал я наивно. — Зачем же вы выбираете карьеру, связанную с такими неудобствами?..

Конахевич горько усмехнулся и сел на своей кровати.

— Ваш вопрос показывает, что вы, в своем счастливом неведении, не можете даже понять натуры, подобной моей. Карьера?.. Это только счастливцев, как вы, ждет карьера, вроде гладкого шоссе, обставленного столбами... Мой путь?.. Пустынные скалы... пропасти... обрывы... блудящие огни... Черная туча, в которой ничего не видно, но она несет громы... Вы в бога верите? Что-то помешало мне пуститься в откровенности, и я ответил кратко:

— Да, верю.

— А я, — мрачно сказал Конахевич, — давно утратил детскую веру...

Мне было интересно узнать, что скрывается в этой мгле с мрачным неверием, бурей и громами... Но в это время на одной из кроватей послышалось движение, и раздался голос

младшего Конахевича. Это был мальчик не особенно способный, но усидчивый и серьезный. Старший был прежде его кумиром. Теперь он догнал его, и оба были в одном классе.

— Ах, Людвиг, Людвиг, — сказал он укоризненно. — Опять говоришь глупости, а алгебру на завтра, верно, не выучил... Тучи, громы, а завтра получишь единицу.

— Врешь, — ответил старший сердито. — Знаю лучше тебя...

— Знаешь? — скептически возразил Игнатий. — Когда же ты выучил? В четверти опять будут двойки. Даже неприятно ехать с тобой домой: что скажешь старикам?

Людвиг демонстративно захрапел, а Игнатий продолжал ворочаться на постели и ворчать:

— И насчет бога врешь!.. Вчера стоял на коленях и молился. Думаешь, я не видел?.. О господи! Начитался этого Словацкого. Лучше бы выучил бином.

Потом и он смолк. Тогда Людвиг опять высунул голову из-под одеяла и тихо сказал мне:

— Вы надо мной смеетесь?..

— Чуть-чуть, — ответил я.

— Вы умнее, чем я думал. Я хотел посмеяться над вами...

— Благодарю вас.

Наутро он немного стыдился и косил глаза, но затем скоро вернулся к своему величаво-загадочному, байроническому тону... Он продолжал тяготеть ко мне, и часто мы прогуливались втроем. Третий был некто Кордецкий.

Это был очень красивый юноша с пепельными волосами, матовым лицом и выразительными серыми глазами. Он недавно перешел в нашу гимназию из Белой Церкви, и в своем классе у него товарищей не было. На переменах он ходил одинокий, задумчивый. Брови у него были как-то приподняты, отчетливо сдвигались скорбные морщины, а на красивом лбу лежал меланхолический нимб...

Не помню, как произошло наше знакомство. Меня он интересовал, как и Конахевич, и вскоре мы стали часто ходить вместе, хотя они оба недолюбливали друг друга...

Вскоре от Кордецкого я тоже услышал туманные намеки. Конахевича угнетало мрач-

ное будущее. Кордецкого томило ужасное прошлое... Если бы я узнал все, то отшатнулся бы от него с отвращением и ужасом. Впрочем, и теперь еще не поздно. Мне следует его оставить на произвол судьбы, хотя я единственный человек, которого он любит...

— Знаете, — сказал он однажды, когда мы были только вдвоем, — я ужасный подлец... последний негодяй... преступник...

Брови его приподнялись, морщина на лбу углубилась, но мне показалось, что слова «подлец» и «преступник» он произносит с каким-то особенным вкусом, как будто смакуя и гордясь этим званием...

Однажды после каникул он явился особенно мрачный и отчасти приподнял завесу над бездной своей порочности: в его угрюмо-покаянных намеках выступало юное существо... дитя природы... девушка из бедной семьи. Обожала его. Он ее погубил... Этим летом, ночью... в глубоком пруду... и т. д.

Я слушал все это совершенно спокойно, главным образом потому, что не верил ни одному слову, а ту долю его меланхолии, которая действительно слышалась в его голосе, —

приписывал предстоящей переэкзаменовке по французскому языку...

— Если вдобавок я завтра срежусь, — прибавил он мрачно, отдавая мне запечатанный конверт, — то вы... пошлите это письмо...

— К ней? — спросил я невинно. Он посмотрел на меня быстро и подозрительно и сказал с досадой:

— Она — в могиле.

— Почему же вы не пошлете письмо сами?

— Завтра вы узнаете — почему.

Наутро я пошел в гимназию, чтобы узнать об участии Кордецкого. У Конахевича — увы! — тоже была переэкзаменовка по другому предмету. Кордецкий срезался первый. Он вышел из класса и печально пожал мне руку. Выражение его лица было простое и искренно огорченное. Мы вышли из коридора, и во дворе я все-таки не удержался: вынул конверт.

— Посылать?..

Он взял его у меня из рук, швырнул в сторону и сказал, слегка покраснев:

— Я вам вчера показался большим дураком?.. Вам было смешно?

— Было немножко, — ответил я, — хотя ду-

раком вы мне не казались...

— Не глуп... знаю сам. Но черт его знает: неисправимый фразер.

И мне показалось, что слово «фразер» он опять произнес с таким же вкусом и особого рода самоуслаждением, как недавно произносил слово «подлец»...

В это время выходная дверь на блоке хлопнула, и по мосткам застучали частые шаги. Нас нагонял Конахевич, стуча каблуками так энергично, будто каждым ударом мрачный юноша вколачивал что-то в землю. Глаза Кордецкого сверкнули лукавой искоркой.

— Что, батенька? Тоже срезались?

— Срезали, п-подлецы, — сказал Конахевич с натиском. — Но я отомщу... Отомщу ужасно.

Кордецкий насмешливо посмотрел на меня и сказал:

— Ну, Конахевич. Я — фразер, а вы вдесятеро.

— Фразер? Что такое фразер? — спросил Конахевич быстро. Кордецкий усмехнулся и пожал плечами... Он гордился словом, которого Конахевич даже не понимает...

— Я имею перед вами то преимущество, — сказал он, и опять скорбный нимб лег на его челе, — что по крайней мере сознаю, что я такое...

У молодости есть особое, почти прирожденное чувство отталкивания от избитых дорог и застывающих форм. На пороге жизни молодость как будто упирается, колеблясь ступить на проторенные тропинки, как бы жалея расстаться с неосуществленными возможностями. Литература часто раздувает эту искру, как ветер раздувает тлеющий костер. И целые поколения переживают лихорадку отрицания действительной жизни, которая грозит затянуть их и обезличить.

Конахевич читал Словацкого. Кордецкий знал наизусть «Героя нашего времени» и имел некоторое понятие о «Дон Жуане». Оба были романтики. Пусть преступник, но не обыкновенный обыватель. Байроновский Лара тоже преступник. Пусть фразер. Рудин тоже фразер. Это не мешает стоять на некоторой высоте над средой, которая даже не знает, кто такой Лара и что значит фразер.

Но, в сущности, и романтизм и печорин-

ство уже выдохлись в тогдашней молодежи. Ее воображением завладевали образы, выдвигаемые тогдашней «новой» литературой, стремившейся по-своему ответить на действительные вопросы жизни.

У обществ бывают свои настроения и предчувствия. Такое настроение, смутное, но широко охватывающее всех, и дает то, что принято называть «духом времени». В начале шестидесятых годов великая реформа всколыхнула всю жизнь, но волна обновления скоро начала отступать. То, что должно было пасть, не упало окончательно, что должно было возникнуть, не возникло вполне. Жизнь повисла на мертвой точке, и эта неопределенность кидала свою тень на общее настроение. Дорога, на которую страна так радостно выступала в начале десятилетия, упиралась в неопределенность. Невольно чувствовался впереди кризис, неизбежность потрясений и героических усилий.

В наличности не было сил для разрешения кризиса. Оставалась надежда на будущее, на что-то новое, что придет с этим будущим, и прежде всего на «нового человека», которого

должны выдвинуть молодые поколения.

Молодежь стала предметом особого внимания и надежд, и вот что покрывало таким свежим, блестящим лаком недавних юнкеров, гимназистов и студентов. Поручик в свеженьком мундире казался много интереснее полковника или генерала, а студент юридического факультета интереснее готового прокурора. Те — люди, уже захваченные колесами старого механизма, а из этих могут еще выйти Гоши или Дантоны. В туманах близкого, как казалось, будущего начинали роиться образы «нового человека», «передового человека», «героя».

В действительной жизни этих необыкновенных героев еще не было: «почувствовать» их, созерцать творческим воображением было невозможно. Приходилось не воссоздавать, а выдумывать, живость изображения заменять одушевлением ожидания и веры. Поэтому первостепенные художники за эти задачи не брались. Первый план художественной литературы все еще занимали Лаврецкие и Рудины с их меланхолически отрицательным отношением к действительности и ту-

манными предчувствиями. Тургенев в «Накануне» гениально отметил это ожидание, но «героя» все-таки увез за границу. Из русской действительности по-прежнему брались отрицательные типы, и даже Добролюбов только спрашивал с горечью: «Когда же придет настоящий день?..» Зато второй план художественной литературы с половины шестидесятых годов заполняется величаво-мглистыми очертаниями героев-великанов... И это было на обеих сторонах: герои прогрессивной беллетристики несли разрушение старому миру. Художники-консерваторы звали своих героев на его защиту... Будущее кидало впереди себя свою тень, и мглистые образы сражались в воздухе задолго еще до того времени, когда борьба назрела в самой жизни.

Среди этой литературы выделялись «Знамена времени» Мордовцева и «Шаг за шагом» Омуровского («Что делать?» Чернышевского я прочел гораздо позже). Мордовцев был писатель не вполне искренний и сильно «себе на уме». Молодежь восхищалась его «Историческими движениями русского народа», не замечая, что книга кончается чуть не

апофеозом государства, у подножия которого, как вокруг могучего утеса, бьются бессильные народные волны. Он приводил в восхищение «областников» и «украинофилов» и мог внезапно разразиться яркой и эффектной статьёй, в которой доказывал, что «централизация» — закон жизни, а областная литература обречена на умирание. Свой роман он начал эффектным бредом больного. В картинах этого бреда ловились намеки на казнь Каракозова. Это кидало на весь роман неуловимый для цензора, но ясно ощутимый покров «революционности». Можно было подумать, что автору и его героям выход из современного положения ясен, и если бы не цензура, то они бы его, конечно, указали... Роман имел в то время огромный успех. Его зачитывали, комментировали, разгадывали намеки, которые, наверное, оставались загадкой для самого автора. В качестве грядущей революционной силы в тумане рисовались... какие-то, кажется, уральские артели...

Омулевский был гораздо искреннее и проще. От его романа веяло молодой верой и какой-то особенной бодростью. Слабохарактер-

ный, спившийся, погибавший, он как бы раздваивался в своем произведении: себя он вывел в лице доктора, мрачного меланхолика, страдающего запоем, безнадежно загубленного уже мраком окружающих условий, но благословляющего своего молодого друга Светлова на новую жизнь и борьбу. В Светлове, как об этом свидетельствует уже самая фамилия, воплощена вера в будущее. Он бодр, силен, светел. Все ему удается, все преклоняются перед его знаниями, характером, особенной удачливостью.

Он живет в сибирской глуши (кажется, в ссылке), работает в столичных журналах и в то же время проникает в таинственные глубины народной жизни. Приятели у него — раскольники, умные крестьяне, рабочие. Они понимают его, он понимает их, и из этого союза растет что-то конспиративное и великое. Все, что видно снаружи из его деятельности, — только средство. А цель?..

Об этом спрашивает молодая женщина, «пробужденная им к сознательной жизни». Он все откроет ей, когда придет время... Наконец однажды, прощаясь с нею перед отъездом

в столицу, где его уже ждет какое-то важное общественное дело, — он наклоняется к ней и шепотом произносит одно слово... Она бледнеет. Она не в силах вынести гнетущей тайны. Она заболевает и в бреду часто называет его имя, имя героя и будущего мученика.

Слово, которое герои Мордовцева закутывали эзоповскими намеками и шарадами, а Светлов шепнул на ухо любящей женщине, — было, конечно, «революция». Это оно стояло впереди, как туча, издали поблескивая своими молниями, на горизонте общества, вышедшего из крепостного строя и остановленного на пути к всестороннему раскрепощению... Как это будет?.. Когда будет? Это было неясно. Будет как-то... Будет скоро. Сделают это новые люди из «молодежи». А за ними, из неведомых деревень, из лесов, из недр раскола и «общины» двинется загадочный и никому не известный «народ»...

Много в этом было наивного, и революционные планы даже серьезных людей того времени кажутся теперь совершенно ребяческими. Однако «дух времени» шел неуклонно своим путем. Обе стороны литературы указы-

вали вперед на загадочную тучу: консерваторы — со страхом, прогрессисты — с надеждой. Инстинкт молодежи все больше удерживал ее от проторенных дорог, сопротивление «принятию жизни» росло. Поколение за поколением выходило из «толстовских» гимназий и, точно в кипящий поток, кидались в бурную университетскую полосу. Кто успевал пройти ее, тот более или менее сливался с жизнью. Из недавних протестантов выходили прокуроры, инженеры, управляющие, часто с улыбкой вспоминая о своих «молодых увлечениях». А на их месте уже кипели другие, для которых настала своеобразная очередь этой повинности...

С «Знамениями времени» и «Шаг за шагом» я познакомился тоже на каникулах в Гарном Луге. Читали громко, и даже старики — капитан с женой — слушали с некоторым благоговением повествования о «новой молодежи». Так как это отчасти совпало с религиозной полемикой, то сначала я к этой литературе отнесся скептически. Авдиев на мой вопрос о Писареве отозвался как о задорном мальчишке. Белинский и особенно Добролю-

бов оставались для меня высшими авторитетами, а Тургенева я любил фанатично. Его герои были живые люди, у Мордовцева по сравнению с ними выходили деревяшки. Один из них, носящий кличку «Точеная голова», подаст «барышне» стул. Барышня обижается: значит, ее не считают равным человеком. Герой объясняет: его поступок — разумно эгоистичен. Барышня упадет в обморок, и ему же придется возиться с нею. Одна из героинь рекомендует себя: я переросла Веру Павловну (из «Что делать?»). Все это казалось мне неестественно и деланно. Светлов Оммулевского с его отвлеченной удачливостью тоже порой напоминал хорошо вычищенный таз, а постоянное любование им автора давало сильный привкус антихудожественности. Вообще, это были не лица, как у Тургенева, Писемского, Гончарова, а личности, с прибавлением ходячего эпитета: «светлые личности».

Они не овладевали поэтому моим воображением, хотя какой-то особый дух, просачивавшийся в этой литературе, все-таки оказывал свое влияние. Положительное было надуманно и туманно. Отрицание — живо и дей-

ствительно.

Когда вслед за этими романами мы прочли «Один в поле не воин», переведенный Благосветловым в «Деле», — впечатление было огромное. Вообще, этот немецкий писатель сразу овладел умами тогдашней молодежи. Его герои были уже «лица», а не «личности», а условия их борьбы взяты из несомненной действительности. И так же, как прежде по русским захолустьям бродили Чайльд-Гарольды, Аммалат-беки и Печорины, — теперь стали десятками появляться шпильгагенские Лео и Рахметовы Чернышевского. Были даже «Лео на рахметовской подкладке»...

К концу гимназического курса в моей душе начало складываться из всего этого брожения некоторое, правда, довольно туманное представление о том, чем мне быть за гранью гимназии и нашего города. Реалистическая литература внесла сюда свою долю: из реакции романтизму я отверг по отношению к себе всякие преувеличенно героические иллюзии. Образ Лео я признал себе не по плечу. Я им восхищался, но моим воображением завладел другой шпильгагенский герой из

«Между молотом и наковальней». Он легче мыслился в России... Где-то у нас происходят важные события. В них принимает деятельное участие молодой человек лет двадцати пяти, небольшого роста, с умным выражением лица и твердым взглядом. Он отчасти напоминает меня, но только отчасти (своим лицом я был крайне недоволен и в воображении произвел в нем некоторые поправки). Вследствие неудачи первой любви он отказался от «личного счастья» (правда, не без возможности когда-нибудь неожиданного счастливого поворота судьбы). Он не герой, широкой известностью не пользуется, но когда он входит в общество людей, преданных важному и опасному делу, — то на вопрос не знающих его знающие отвечают: «Это — NN... человек умный. На него можно положиться...» Порой его положение становится опасно, или он устает от трудной работы. Тогда он исчезает куда-то в глушь. У него, как у шпильгагенского героя, есть какая-то мастерская, которую он предоставил своим «друзьям из народа». Тут он становится за станок наряду с ними, а по вечерам они читают, и он говорит

им о том, что затевается там, далеко в столицах. Они этому сочувствуют и, в свою очередь, делятся тем, что зреет в глубине народной мудрости... Лица у них умные, но... национальности у них нет, и, несмотря на усилия моего воображения, они отчасти похожи на немецких рабочих 1848 года...

Туманные образы Аммалат-беков, Чайльд-Гарольдов, Печориных и Демонов были, в сущности, очень безвредны: непосредственно с таинственно-мрачных высот они поступали на службу. Конахевич стал железнодорожным чиновником, Кордецкий успешно служил по акцизу и из погубителя невинных существ превратился в отличного, несколько даже сентиментального семьянина.

Судьба русских Лео и Рахметовых часто бывала иная... Но я забегаю вперед... Об этом придется еще много говорить в дальнейших очерках «моего современника».

XXXIV. Последний год в гимназии

Этот год прошел для меня в особом настроении.

Каникулы были на исходе, когда «окончившие» уезжали — одни в Киев, другие — в Пе-

тербург. Среди них был и Сучков. В Житомире мы учились в одном классе. Потом он обогнал меня на год, и мысль, что и я мог бы уже быть свободным, выступала для меня с какой-то особенной, раздражающей ясностью.

Я проводил его за заставу. В штатском платье, с чемоданом в ногах, с новеньким саквояжем через плечо, он сидел в перекладной, которая уносила его в незнакомую даль. На шоссе за тюрьмой мы расстались, и я долго еще следил за клубком пыли, который катился пятнышком по дороге. Мне страстно хотелось самому на волю... Ехать вот так же, все вперед и вперед, куда-то на простор, к новой жизни. А там что-то неясное, но великолепное. И странно: из всего этого великолепия прежде всего передо мной выступала маленькая комнатка где-то очень высоко... Из окна видны крыши и небо. На полу стоит мой чемодан, на стенке висит такой же, как у Сучкова, новенький саквояж. Это значит, что я приехал и вот-вот уйду куда-то. Куда? В новую жизнь!

Клубок пыли исчез. Я повернулся к городу. Он лежал в своей лощине, тихий, сонный и... ненавистный. Над ним носилась та же легкая

пелена из пыли, дыма и тумана, местами сверкали клочки заросшего пруда, и старый инвалид дремал в обычной позе, когда я проходил через заставу. Вдобавок около пруда, на узкой деревянной кладочке, передо мной вдруг выросла огромная фигура Степана Яковлевича, ставшего уже директором. Он посмотрел на меня с высоты своего роста и сказал сурово:

— Хотите обновить карцер?

Я посмотрел на него с удивлением. Что нужно этому человеку? Страх перед ним давно уже не было в моей душе. Я сознавал, что он вовсе не грозен и не зол, пожалуй, даже, по-своему, добродушен. Но за что же он накинулся?

Толстый палец потянулся к моей груди. Две средних пуговицы мундира не были застегнуты.

«Только-то?» — подумал я и, застегивая пуговицы, невольно повел плечами. Он внимательно и строго посмотрел мне в лицо.

— Откуда вы идете?

— Я... провожал Сучкова...

— Ну... так что же? — спросил он опять не

совсем кстати, озадаченный, вероятно, выражением моего лица.

— Ничего, Степан Яковлевич, — ответил я деревянно.

Директор опять посмотрел на меня, как будто подыскивая предлог для вспышки, чтобы встряхнуть мою невосприимчивость к авторитету, но ничего не придумал и пошел своей дорогой.

А я с тоской посмотрел вокруг. Сучков несется уже далеко... Подъезжает к станции. Расписывается в книге: «Студент Технологического института»! Дает на чай ямщику. Садится опять, и колокольчик заводит свою загадочную болтовню... А передо мной все тот же пруд, заросший зеленой ряской... Прогалины знойно и неподвижно отражают небо и солнечный свет... Ряска кое-где шевелится — это под ней проплывают головастики и лягушки... Из камышей выплыл тяжело скупающий лебедь. Баба стучит вальком по мокрому белью... Степан Яковлевич сейчас грозил мне карцером... И все это еще на целый год! Тоска, тоска!..

Год этот тянулся для меня вяло и скучно, и

я хорошо понимал брата, который, раз выско-
чив из этой колеи, не мог и не стремился
опять попасть в нее. Передо мной конец близ-
ко. Я, конечно, должен кончить во что бы то
ни стало...

Директор продолжал присматриваться ко
мне подозрительным, но мало понимающим
взглядом. Однажды он остановил меня при
выходе из церкви.

— Отчего вы не молитесь? — спросил он. —
Прежде вы молились. Теперь стоите как
столб.

Я поднял на него глаза, и в них, вероятно,
опять было озадачившее его выражение. Что
мне сказать в ответ? Начать молиться по при-
казу, под упирающимися в спину началь-
ственными взглядами?

— Не знаю, — ответил я кратко.

На ученической квартире, которую после
смерти отца содержала моя мать, я был «стар-
шим». В этот год одну комнату занимал у нас
юноша Подгурский, сын богатого помещика,
готовившийся к поступлению в один из выс-
ших классов. Однажды директор, посетив
квартиру, зашел в комнату Подгурского в его

отсутствие и повел в воздухе носом.

— Он... курит? — спросил он у меня.

— Не знаю, — ответил я.

— Вы старший?

— Да, но он еще не ученик.

— Это все равно... Вы *должны* узнать. Понимаете?

— Хорошо, Степан Яковлевич, я спрошу у него, — сказал я с невинным видом.

На монументальном лице директора вспыхнул гнев. Он считал, что я, как старший по квартире, обязан секретно оказать ему содействие в надзоре за будущим учеником: выследить, разыскать табак и потом доложить. В моем ответе он увидел насмешку, но, кажется, тут даже и насмешки не было. Просто я мало думал о том, какое действие произведут на него мои слова, и уже *мог быть рассеянным* в присутствии грозного начальства. Это было, пожалуй, инстинктивное неуважение, которое теперь квалифицировали бы как «вредный образ мыслей». Но в то время «чтение в сердцах» еще не было в ходу даже в гимназиях, советы требовали «поступков», а мое настроение было неуловимо.

Я думаю, многие из оканчивавших испытывают и теперь в большей или меньшей степени это настроение «последнего года». Образование должно иметь свой культ, поднимающий отдельные знания на высоту общего смысла. Наша система усердно барабанит по отдельным клавишам. Разрозненных звуков до скуки много, общая мелодия отсутствует... Страх, поддерживающий дисциплину, улетучивается с годами и привычкой. Внутренней дисциплины и уважения к школьному строю нет, а жизнь уже заглядывает и манит из-за близкой грани...

Настроение довольно опасное... Один раз оно прорвалось у меня неожиданно и бурно.

Шел какой-то урок, для которого два класса собирались вместе. В классе была тоскливая тишина напряженного полувнимания, в котором чувствуется глухая борьба с одолевающей дремотой, — идеал классной дисциплины. Я сидел ровно, вытянувшись и, по обыкновению, думая о чем-то постороннем, как вдруг сидевший рядом со мной товарищ толкнул меня локтем и указал на дверь. В стекле виднелся поднятый кверху хохолок Дитятке-

вича. Угадывалась фигура любознательного надзирателя на корточках у замочной скважины. Во мне вдруг завозился какой-то злобный бесенок. Я встал на своем месте, не видном Дидонусу из-за угла классной доски, и попросился выйти. Получив разрешение, я прошел у стены и рванул дверь так резко, что раскрылись сразу обе половинки. Перед восхищенным классом предстала фигура Дитяткевича на корточках, с торчащим сверху хохлом и испуганно выпученными глазами. В классе поднялся смех. Учитель в изумлении оглянулся и тоже засмеялся. А я как ни в чем не бывало прошел в коридор.

Это был пятый урок. Другие классы и учителя разошлись раньше, и в коридорах было почти пусто, когда наш класс тоже шумно двинулся к выходу... Навстречу нам, торопливо ковыляя кривыми ножками, показался Дитяткевич. Бедняга сильно страдал от насмешек: его кок, щегольские галстучки, неудачные ухаживания давали пищу анекдотам — а молодежь в таких случаях безжалостна и жестока... Теперь бедный надзиратель чувствовал себя в экстренно смешном положении.

Он был красен. Маленькие глазки тревожно бегали и сверкали. Растолкав учеников, он подошел ко мне и взял за борт шинели.

— Вы остаетесь без обеда.

— По чьему распоряжению? — спросил я довольно спокойно.

Дитяткевич гордо выпрямился и сказал:

— Я оставляю вас собственной властью.

— По правилам, вы на это не имеете права, — возразил я. — Вы можете только пожаловаться инспектору, но... На что же, собственно, вы будете жаловаться?..

— Там уж я знаю на что... А пока оставайтесь. Я пожал плечами.

— Я вышел из класса с разрешения учителя и... не мог знать, что это будет вам неудобно.

Ученики рассмеялись. Это окончательно вывело беднягу надзирателя из равновесия. Он забылся и, обругавшись, как извозчик, рванул меня за пальто, стараясь силой вывести из кучки товарищей.

Во мне вдруг поднялось что-то неожиданное и захватывающее. Резко оттолкнув его руку, я назвал его шпионом и идиотом. Товари-

щи вовремя разъединили нас, иначе сцена могла закончиться еще безобразнее. В первый раз в жизни во мне поднялась волна отцовской вспыльчивости, которой я не признавал в себе до тех пор. В маленькой фигурке с зелеными глазами я будто видел олицетворение всего, что давило и угнетало всех нас в эти годы, и сознание, что мы стоим друг против друга с открытым вызовом, доставляло странно щекочущее наслаждение...

Это столкновение сразу стало гимназическим событием. Матери я ничего не говорил, чтобы не огорчать ее, но чувствовал, что дело может стать серьезным. Вечером ко мне пришел один из товарищей, старший годами, с которым мы были очень близки. Это был превосходный малый, туговатый на ученье, но с большим житейским смыслом. Он сел на кровати и, печально помотав головой, сказал:

— Эх, Карла, Карла (это была моя гимназическая кличка)! Вот до чего доводит остроумие... Я обошел некоторых учителей, чтобы предупредить... Они говорят, что дело твое плохо.

— Ну и пусть, — ответил я упрямо, хотя

сердце у меня сжалось при воспоминании о матери. И все же я чувствовал, что, если бы опять Дитяткевич схватил меня за борт, я бы ответил тем же.

Дело кончилось благополучно. Показания учеников были в мою пользу, но особенно поддержал меня сторож Савелий, философски, с колокольчиком под мышкой, наблюдавший всю сцену. Впрочем, он показал только правду: Дитяткевич первый обругал меня и рванул за шинель. Меня посадили в карцер. Дитяткевичу сделали замечание. Тогда еще ученик мог быть более правым, чем «начальство»...

XXXV. Последний экзамен. — Свобода

Часов в пять чудного летнего утра в конце июня 1870 года с книжками филаретовского катехизиса и церковной истории я шел за город к грабовой роще. В этот день был экзамен по «закону божию», и это был уже последний.

Настроение мое было тягостно и неприятно. Я уже устал от экзаменов. Вчера лег поздно, встал сегодня очень рано, еще до восхода солнца. Глаза невольно слипались, мозг дре-

мал, и я пришел сюда в надежде, что чистый утренний ветер на этом холме разгонит дремоту. Взойдя на возвышение, я залюбовался широкой далью. Город лежал внизу как на ладони. По утрам его часто затягивало туманами от прудов, и теперь туманная пелена разрывалась, обнаруживая то крышу, то клоч зелени, то белую стену... Статуя мадонны точно плавала в воздухе, а далеко за городом чуть виднелись поля, деревни, полосы лесов... Несколько минут я не мог оторваться от этого зрелища, которому незаметное движение туманов придавало особую жизнь... Мне казалось, что я еще в первый раз настоящим образом вижу природу и начинаю улавливать ее внутреннее содержание, но... глядеть было некогда. Я должен был заучивать сухое перечисление догматов, соборов и ересей, в которых не было даже отдаленной связи с красотой этого изумительного мира... Это делало меня несчастным. Счастье в эту минуту представлялось мне в виде возможности стоять здесь же, на этом холме, с свободным настроением, глядеть на чудную красоту мира, ловить то странное выражение, которое мель-

кает, как дразнящая тайна природы, в тихом движении ее света и теней.

Я дал себе слово, как только выдержу экзамен, тотчас же прийти опять сюда, стать на этом самом месте, глядеть на этот пейзаж и уловить наконец его выражение... А затем... глубоко заснуть под деревом, которое шумело рядом своей темно-зеленой листвой.

Я еще зубрил «закон божий», когда до меня долетел переливчатый звон гимназического колокола, в последний раз призывавший меня в гимназию. Ну, будь что будет! Книга закрыта, и через четверть часа я входил уже во двор гимназии.

А через час выбежал оттуда, охваченный новым чувством облегчения, свободы, счастья! Как случилось, что я выдержал, и притом выдержал «отлично», по предмету, о котором, в сущности, не имел понятия, — теперь уже не помню. Знаю только, что, выдержав, как сумасшедший забежал домой, к матери, радостно обнял ее и, швырнув ненужные книги, побежал за город.

Раннее утро кончилось, его свежесть исчезла, тумана не было, только над прудами

еще тянулись чуть заметные сизые струйки. Тургенев говорит, что в первый раз уже за границей, где-то под Берлином, он сознательно наслаждался природой и пеньем жаворонка. Это странно, но это правда. Это не значит, что он не чувствовал природу ранее. Но наступает момент, когда это-свое чувство человек сознательно наблюдает в себе как особое душевное явление. И это бывает поздно, а у иных людей, быть может, не наступает никогда. В ту минуту я тоже, быть может, в первый раз *так* смотрел на природу и так полно давал себе отчет в своем ощущении, И в первый раз эта заканчивающаяся симфония утра показалась мне стройной, одухотворенной и цельной. Что-то «отходило», как отходит вечерня при пении «Свете тихий». В природе я чувствовал именно «священнодействие», полное гармонии и смысла.

Спать под деревом мне совсем не хотелось. Я опять ринулся, как сумасшедший, с холма и понесся к гимназии, откуда один за другим выходили отэкзаменовавшиеся товарищи. По «закону божию», да еще на последнем экзамене, «резать» было не принято. Выдерживали

все, и городишко, казалось, был заполнен нашей опьяняющей радостью. Свобода, свобода!

Это ощущение было так сильно и так странно, что мы просто не знали, что с ним делать и куда его пристроить. Целой группой мы решили снести его к «чехам», в новооткрытую пивную... Крепкое чешское пиво всем нам казалось горько и отвратительно, но... еще вчера мы не имели права входить сюда и потому пошли сегодня. Мы сидели за столами, глубокомысленно тянули из кружек и старались подавить невольные гримасы...

Через несколько дней, получив аттестаты, мы решили сообща отпраздновать нашу свободу. И праздник был опять вроде горького пива. Мы собрались в большой комнате вино торговца Вайнтрауба, куда доступ ученикам был воспрещен под страхом исключения, и пригласили учителей. Учителя «по-товарищески» пили с нами, варили жженку, пьянели, целовались.

Жженка казалась отвратительно крепкой, но... мы пили ее вместе с учителями, хлопая их дружески по плечам, и это было ново, необычно, как будто нужно и приятно... Позд-

но ночью кто-то потребовал музыку. Юркий фактор-еврей поднял музыкантов, а на расвете мы ходили по спящему и темному еще городу, сопровождаемые кларнетом, флейтой, двумя-тремя скрипками и турецким барабаном. Музыка тревожила тишь спящих улиц. Мы кричали «ура», качали учителей и... чувствовали, что все это как-то нехорошо, ненастояще и фальшиво.

А между тем что же делать с этим не дающим покоя новым ощущением свободы?

На следующий день с тяжелой головой и с скверным чувством на душе я шел купаться и зашел за одним из товарищей, жившим в казенном здании, соседнем с гимназией. Когда я подымался по лестнице, одна из дверей открылась, и навстречу мне спустился молодой еще человек с умным лицом и окладистой небольшой бородкой... Мне запомнился очень выпуклый лоб и серьезный упорный взгляд. Лицо было новое, очевидно «не ровнекое». Когда он сошел с лестницы, дверь вверху открылась, и на площадке показался учитель истории Андрусский. Наклоняясь с перил, он крикнул:

— Драгоманов! Пойдите, еще два слова! Незнакомый господин поднялся наверх, и, когда

я спустился с лестницы, незнакомца уже не было.

Драгоманов, Драгоманов! Я вспомнил эту фамилию из сочинений Добролюбова. В полемику по поводу пироговского инцидента вмешался студент Драгоманов, причем в своих статьях, направленных против Добролюбова, довольно бесцеремонно раскрыл его инициалы. Неужели этот господин с крутым лбом и таким умным взглядом — тот самый «студент Драгоманов»?

На полевой дорожке, которая вела к реке, меня обогнал Андрусский. Об этом учителе я говорил: он преподавал сухо и скучновато, но пользовался общим уважением как человек умный, твердый и справедливый. Вчера он только показался в начале нашего вечера, ничего не пил и рано исчез. Теперь он шел с полотенцем через плечо, бодрый, свежо одетый и сам свежий. Я остановился и по-ученически снял перед учителем фуражку, но он подошел ко мне и протянул руку. Я опять почувство-

вал в этом новую черту моего нового положения.

— Вы купаться? — спросил он.

— Да.

— Идем вместе.

Мы пошли на то самое место, где Дитяткевич устраивал свои засады на учеников. Была своя новая прелесть и в этом обстоятельстве.

— С кем вы разговаривали на лестнице? — решил я спросить дорогой.

— С Драгомановым.

— Это... тот самый?

— Да, писатель и профессор. Мы с ним товарищи по университету.

Он не знал, что для меня «тот самый» значило противник Добролюбова. Я его себе представлял иначе. Этот казался умным и приятным. А то обстоятельство, что человек, о котором (хотя и не особенно лестно) отзывался Добролюбов, теперь появился на нашем горизонте, — казалось мне чудом из того нового мира, куда я готовлюсь вступить. После купанья Андрусский у своих дверей задержал мою руку и сказал:

— У меня самовар и газета с отчетом об ин-

тересном деле. Хотите зайти?

Я охотно зашел в холостую квартиру учителя. На столе стоял самовар. Андрусский заварил чай, покрыл чайник чистой салфеткой и протянул мне номер «Голоса».

— Не прочтете ли громко? Вот тут. Это был отчет по нечаевскому процессу.

Я ничего тогда не знал об этом деле и начал читать довольно безразлично. Но постепенно меня охватило непонятное одушевление. В номере говорилось о типографии Ткачева и Дементьевой и приводилась прокламация Нечаева к студенчеству... «Мы сидели тогда по углам, понутив унылые головы, со скверным выражением на озлобленных лицах...». «Развив наши мозги на деньги народа, вскормленные хлебом, забранным с его поля, — станем ли мы в ряды его гонителей?..» В прокламации развивалась мысль, что интересы учащейся молодежи и народа одни. «У нас есть товарищи, у которых нет прав, положение которых самое худшее в Европе и ожесточение которых тем сильнее, что не имеет исхода...»

Когда я кончил читать, умные глаза Ан-

друсского глядели на меня через стол. Заметив почти опьяняющее впечатление, которое произвело на меня чтение, он просто и очень объективно изложил мне суть дела, идеи Нечаева, убийство Иванова в Петровском парке... Затем сказал, что в студенческом мире, куда мне придется скоро окунуться, я встречу с тем же брожением и должен хорошо разбираться во всем...

Все это опять падало на девственную душу, как холодные снежинки на голое тело... Убийство Иванова казалось мне резким диссонансом. «Может быть, неправда?..» Но над всем преобладала мысль: значит, и у нас есть уже *это*... Что именно?.. Студенчество, умное и серьезное, «с озлобленными лицами», думающее тяжкие думы о несправедливости всего народа... А при упоминании о «генералах Тимашевых и Треповых» в памяти вставал Безак...

.....

В один из последних вечеров, когда я прогуливался по шоссе, все время нося с собой новое ощущение свободы, — из сумеречной и пыльной мглы, в которой двигались гуляющие обыватели, передо мною вынырнули две

фигуры: один из моих товарищей, Леонтович, шел под руку с высоким молодым человеком в синих очках и мягкой широкополой шляпе на длинных волосах. Фигура была, очевидно, не ровенская.

— Киевский студент Пиотровский, — отрекомендовал незнакомца мой товарищ. — А это тоже будущий студент такой-то.

Пиотровский крепко пожал мне руку и пригласил нас обоих к себе в номер гостиницы. В углу этого номера стояли две пачки каких-то бумаг, обвязанных веревками и обернутых газетными листами. Леонтович с почтением взглянул на эти связки и сказал, понизив голос:

— Это... они?

— Да, — с важностью кивнул студент.

— Знаешь... это в углу стояли запрещенные книжки, — сказал мне Леонтович уже на улице. — Пиотровского послали... Понимаешь... Очень опасное поручение...

Это был первый «агитатор», которого я увидел в своей жизни. Он прожил в городе несколько дней, ходил по вечерам гулять на шоссе, привлекая внимание своим студенче-

ским видом, очками, панамой, длинными волосами и пледом. Я иной раз ходил с ним, ожидая откровений. Но студент молчал или говорил глубокомысленные пустяки...

Когда он уехал, в городе осталось несколько таинственно розданных довольно невинных украинских брошюр, а в моей душе — двойственное ощущение. Мне казалось, что Пиотровский малый пустой и надутый ненужною важностью. Но это таилось где-то в глубине моего сознания и робело пробиться наружу, где все-таки царило наивное благоговение: такой важный, в очках, и с таким опасным поручением...

Наконец наступила счастливая минута, когда и я покидал тихий городок, оставшийся позади в своей лощине. А передо мной растянулась далекая лента шоссе, и на горизонте клубились неясные очертания: полосы лесов, новые дороги, дальние города, неведомая новая жизнь...

Приложения

Детская любовь*

Сны занимали в детстве и юности значительную часть моего настроения. Говорят, здоровый сон бывает без сновидений. Я, наоборот, в здоровом состоянии видел самые яркие сны и хорошо их помнил. Они переплетались с действительными событиями, порой страшно усиливая впечатление последних, а иногда сами по себе действовали на меня так интенсивно, как будто это была сама действительность.

Чтобы все излагаемое ниже было яснее и понятнее, я должен вернуться назад, к годам раннего детства.

В Житомире, еще до моего поступления в гимназию, у отца, когда он был судебным следователем, был «письмоводитель», пан Александр Бродский. Письмоводители у отца часто сменялись. Это по большей части были неудачники, помятые жизнью и выбитые из колеи. Порой попадались настоящие «талант-

ливые натуры», а один, пан Корнилович, поражал даже отца, превосходно знавшего законы, своей феноменальной памятью относительно статей, примечаний и сенатских решений. Отец не мог нахвалиться своим письмоводителем, и иногда они производили маленькие турниры памяти, причем Корнилович оставался по большей части победителем. Но в лице и манере держать себя у него было что-то неприятное: лицо было одутловато, а взгляд не прямой, чего-то стыдящийся и потупленный. Через некоторое время он запыл, явился к нам мрачный, растерзанный, не мог работать, путал бумаги, а затем и совсем исчез.

За ним сменилось еще два-три человека, появлявшиеся, мелькавшие недолго и исчезающие с признаками более или менее значительных драм по пьяному делу.

Наконец появился пан Бродский. Он сразу произвел на всех очень хорошее впечатление. Одет он был просто, но с каким-то особенным вкусом, дававшим впечатление порядочности. Лет ему было под тридцать. У него было открытое польское лицо, голубые, очень

добрые глаза и широкая русая борода, слегка кудрявившаяся. Одним словом, он совсем не был похож на «частного писемоводителя», и мы, дети, сначала робели, боясь приступить к такому солидному господину, с бородой, похожей на бороду гетмана Чарнецкого.

Оказалось, однако, что у этого солидного человека была чисто детская душа, и вскоре мы все его очень полюбили, а у меня с ним завязалась настоящая и крепкая дружба. Дружба эта была на совершенно равных правах, точно мы оба были взрослые или, наоборот, оба — дети. Я тогда учился еще в пансионе и только начинал знакомиться с русской грамматикой (по-польски я говорил и писал тогда лучше). Он помогал мне иной раз учить уроки и усердно заучивал со мной вместе немецкие слова и грамматические правила. В свою очередь, и я иной раз помогал ему. Он был поляк, и усвоение буквы Ь ему давалось труднее, чем мне. Порой по поводу того или иного слова в официальной бумаге у нас происходили настоящие совещания, и Бродский питал большое доверие если не к твердости моих познаний относительно «ятя», то к моему чу-

тью, которое действительно редко обманывало. По вечерам, в свободные для нас обоих часы, он вынимал из своего кожаного чемоданчика польскую книгу и читал вслух стихи Сырокомли. До сих пор мне вспоминается его грудной, слегка певучий голос, проникнутый какой-то особенной ноткой чувствительности. Особенно запомнилась мне поэма, в которой описывались детские годы в школе иезуитов или пиаров. На стенах этой школы было, между прочим, много всяких надписей, и в том числе чья-то сиротская рука начертала:

О боже мой, боже!

Какой я бедный! И кто мне поможет![10]

Бродский был человек взрослый, солидный, но в его устах это двестишестидесяти казалось мне как-то особенно выразительным. Однажды он куда-то ушел и вернулся довольно поздно. Мне показалось при этом, что у него лицо не совсем обыкновенное, слегка одутловатое, как у Корниловича, а нос красноватый. Он порывисто обнял меня и сказал:

— Ничего это. Ничего... Так... Даже гово-

ритель об этом не надо...

Я, конечно, ничего ни с кем не говорил, но отец с матерью что-то заметили и без меня. Они тихо говорили между собой о «пане Александре», и в тоне их было слышно искреннее сожаление и озабоченность. Кажется, однако, что на этот раз Бродский успел справиться со своим недугом, и таким пьяным, как других писемоводителей, я его не видел. Но все же, при всей детской беспечности, я чувствовал, что и моего нового друга сторожит какая-то тяжелая и опасная драма.

Дружба наша длилась всю осень и всю зиму. А ранней весной ему почему-то пришлось уехать от нас куда-то на родину. Ехал он «с попутчиком», который должен был явиться за ним рано, на рассвете. Со всей нашей семьей он попрощался очень задушевно еще с вечера, а я спал с ним в одной комнате. Мы долго разговаривали. Мне было очень грустно, но — странно — всего значения разлуки я как будто еще не сознавал. Глаза мои начали слипаться. Бродский сидел на краю, моей пенстели, тихо гладил мою голову своей сильной рукой, потом наклонился, поцеловал меня и

потушил свечу. Я заснул.

Под утро мне приснился какой-то сон, в котором играл роль Бродский. Мы с ним ходили где-то по чудесным местам, с холмами и перелесками, засыпанными белым инеем, и видели зайцев, прыгавших в пушистом снегу, как это раз было в действительности. Бродский был очень весел и радостен и говорил, что он вовсе не уезжает и никогда не уедет,

И вдруг я проснулся. Начинало светать. Это было ранней весной, снег еще не весь стаял, погода стояла пасмурная, слякотная, похожая более на осень. В окна тускло, почти враждебно глядели мутные сумерки; освоившись с ними, я разглядел постель Бродского. На ней никого не было. Не было также и чемодана, который мы вчера укладывали с ним вместе. А в груди у меня стояло что-то теплое от недавнего счастливого сна. И контраст этого сна сразу подчеркнул для меня все значение моей потери.

Я вскочил и подбежал к окну. По стеклам струились дождевые капли, мелкий дождь с туманом заволакивал пустырь, дальние дома едва виднелись неопределенной полосой, и

весь свет казался затянутым этой густой слякотной мглой, в которую погрузился мой взрослый друг... Навсегда!

Вдобавок я не выучил немецкого урока, а пансионский немец, сухой человек с рыжеватыми баками, бритыми усами и подбородком, которые постоянно были засыпаны мелким табаком, был человек строгий, неприятный и педантичный. Мой друг исчез за этой мутью и мглой, а мне предстояло собрать книги и идти через пустырь, с печально белевшими пятнами снега, в пансион, к строгому немцу с невыученным уроком. Первое сильное детское горе переполняло до краев мою душу. Если бы еще не этот сон... Он был так ярок, что казался мне другой действительностью, с возможностью выбора. Стоит лечь, заснуть — и этой слякоти не будет, не будет и разлуки... Только — не просыпаться... Но — сумерки светлели, все предметы в комнате выступали во всей своей обыденности... Становилось прозаически ясно: Бродский уехал — навсегда, а к немцу идти надо.

С Бродским мы никогда уже не встречались. Жизнь развела нас далеко, и теперь, ко-

гда передо мной так ярко встал его милый образ, когда так хотелось бы опять пожать его сильную добрую руку, его давно уже нет на свете... Жизнь полна встреч и разлук, и как часто приходится поздно жалеть о невозможности сделать то, о чем как-то забывалось в свое время...

То было ощущение, усиленное сном, но вызванное реальным событием — разлукой с живым и любимым человеком. Как это ни странно, но такое же ощущение, яркое и сильное, мне пришлось раз испытать по поводу совершенно фантастического сна.

Это было все еще в Житомире. Я переходил из второго класса в третий — значит, мне было лет двенадцать. Перевели меня без экзамена, я был свободен и переполнен радостью этой свободы, которая оттенялась еще тем, что в гимназии экзамены шли своим порядком и общие каникулы еще не начинались. Весна стояла яркая, радостная, сверкающая. Мое время было свободно, и иной раз я нарочно проходил мимо гимназии. Она теперь, на мой взгляд, казалась совершенно особенной; такая же сдержанная, строгая, молчаливая во

время занятий, но надо мной она не имела теперь власти, и это-то и было особенное, занимательное и радостное.

Порой выходила группа отэкзаменовавшихся гимназистов, весело разговаривавших об удаче или озабоченно — о возможности провала. Я подходил к знакомым, расспрашивал их, но внутрь гимназического двора заглянуть боялся. Важное здание наводило на меня суеверно-почтительный страх. Мне казалось, что стоит мне войти в коридор, и я буду вновь во власти гимназического режима. Меня тут же захватит математик Сербинов, которого я особенно боялся, и проэкзаменует, несмотря ни на что. Когда экзамен по какому-нибудь предмету кончался и из дверей показывались синие учительские мундиры, я убегал с радостным сознанием, что через несколько минут — буду далеко. от них, на полной свободе. И это сознание свободы переполняло меня радостью, бившей через край и искавшей какого-нибудь особенного выражения. Я был счастлив, предприимчив и великодушен. В это время я готов был все сделать, все уступить другим, оказать всякую услугу.

В таком настроении одной ночью, или, вернее, перед утром, мне приснилось, будто я очутился в узком пустом переулке. Домов не было, а были только высокие заборы. Над ними висели мутные облака, а внизу лежал белый снег, пушистый и холодный. На снегу виднелась фигурка девочки в шубке, крытой серым сукном и с белым кроличьим воротником. И казалось — плакала.

Я совсем ее не знал, и теперь мне даже не было видно ее лица. Но волна горячего участия к этой незнакомой девочке прилила к моему сердцу почти физическим ощущением теплоты, точно в грудь мне налили горячей воды. Я подошел к девочке и хотел что-то сказать, что-то сделать, чем-то помочь... Как это часто бывает во сне — я не знал, почему мне это не удавалось. Девочка уткнулась лицом в свой белый воротник и полуотвернулась. Мне была видна только часть розовой щеки и маленькое ухо. Но вообще — дело было не в наружности, а в чем-то особенном, сразу меня захватившем горячим участием. Казалось, я могу и должен что-то сделать, чтобы эта девочка не сидела на снегу в этом унылом пу-

стыре и не плакала... Но я еще не догадался, что именно надо сказать и сделать, как уже проснулся...

Проснулся, переполненный тем же ощущением, как в то утро, когда мне приснился Бродский, который ночью уехал. О Бродском я теперь не вспоминал, но на душе была та же разнеженность и та же особенная боль. Некоторое время, как и тогда, я не узнавал своей комнаты: в щели ставен лились яркие, горячие лучи весеннего солнца, и это казалось мне несообразностью: там, на дворе, теперь должна бы быть зима с пушистым снегом, а иначе... иначе, значит, нет на свете и девочки в серенькой шубке с белым воротником. А если ее нет... Сердце у меня сжималось, в груди все стояло ощущение заливающей теплоты, в душе болело сознание разлуки, такое сильное, точно я опять расстался с живым и близким мне человеком.

Когда я поднялся в это утро — все обычное и повседневное представлялось мне странно чужим, и мне все казалось, что хотя теперь не зима, а лето, но я все же могу еще что-то исправить и что-то сделать, чтобы разыскать

девочку, таким беспомощным, одиноким пятнышком рисовавшуюся на снегу в незнакомом мне пустыре. Нет ли где-нибудь такого переулка в нашем городе? Не нужно ли мне идти туда, не найду ли я там эту самую девочку? Неужели я потерял навсегда это странное видение, которое отозвалось таким явственным, сильным, прямо реальным ощущением во всем моем существе.

День был воскресный. Ученики должны быть у обедни в старом соборе, на хорах. С разрешения гимназического начальства я обыкновенно ходил в другую церковь, но этот раз меня потянуло в собор, где я надеялся встретить своего соседа по парте и приятеля Крыштановича, отчасти уже знакомого читателям предыдущих моих очерков. Это был юноша опытный и авторитетный, и я чувствовал потребность излить перед ним свою переполненную душу.

Когда служба кончилась, мы вышли вместе. Мой приятель был свободен, как и я. Меня освободили от экзаменов, его вовсе не допустили, и он собирался поступить в телеграфисты. Теперь он располагал собою, с полной

беззаботностью наслаждаясь весной.

— Что ты сегодня какой-то... странный? — спросил он. — Точно хватил уксусу вместо чаю. Пойдем куда-нибудь?

— Пойдем.

— Хочешь во Врангелевку?

— Н-нет. Видишь ли. Мне хочется ходить по городу...

— Зачем?

— Я и сам, брат, не знаю зачем. Но... ты только не смейся, так я тебе, пожалуй, расскажу...

И я на ходу рассказал ему свой сон. Мой приятель выслушал мой рассказ не только без смеха, но с большим и серьезным вниманием.

— А ты в сны веришь? — спросил он.

— Н-нет... не верю.

Я действительно в сны не верил. Спокойная ирония отца вытравила во мне ходячие предрассудки. Но этот сон был особенный. В него незачем было верить или не верить: я его *чувствовал* в себе... В воображении все виднелась серая фигурка на белом снегу, сердце все еще замирало, а в груди при воспо-

минании переливалась горячая волна. Дело было не в вере или неверии, а в том, что я не мог и не хотел примириться с мыслью, что этой девочки совсем нет на свете.

— А я верю, — сказал Крыштанович с убеждением. — Сны сбываются очень часто. Мой отец тоже видел мою мать во сне задолго до того, как они познакомились... Положим, теперь всё ругаются, а все-таки... Пстой-ка.

Он остановился, подумал, наморщив лоб, и сказал решительно:

— Я знаю такой переулок, и там у меня есть знакомая девочка. Может, как раз она. Пойдем.

Мой приятель не тратил много времени на учение, зато все закоулки города знал в совершенстве. Он повел меня по совершенно новым для меня местам и привел в какой-то длинный, узкий переулок на окраине. Переулок этот прихотливо тянулся несколькими поворотами, и его обрамляли старые заборы. Но заборы были ниже тех, какие я видел во сне, и из-за них свешивались густые ветки уже распустившихся садов.

— Правда, похоже? — сказал мой приятель

с торжеством.

— Немного похоже, но... нет, не то. Там только заборы и небо. А здесь сады.

— Дурак. Ведь то было зимою... Какие же сады. А теперь весна.

В одном месте сплошной забор сменился палисадником, за которым виднелся широкий двор с куртиной, посередине которой стоял алюминиевый шар. В глубине виднелся барский дом с колонками, а влево — неотгороженный густой сад. Аллеи уходили в зеленый сумрак, и на этом фоне мелькали фигуры двух девочек в коротких платьях. Одна прыгала через веревочку, другая гоняла колесо. На скамье под деревом, с книгой на коленях, по-видимому, дремала гувернантка.

— Поднимись сюда, посмотри, — сказал Крыштанович. Мы оба взяли руками за балясины, и некоторое время двое юных бродяг смотрели с улицы в маленький тенистый рай.

— Ну что, похожи? — спросил Крыштанович.

— Н-нет, — ответил я. Мне самому так хотелось найти свою незнакомку, что я бы с

удовольствием пошел на некоторые уступки... Но... я бы не мог объяснить, что именно тут другое: другое было ощущение, которым был обвеян мой сон. Здесь его не было, и в душе подымался укор против всякого компромисса. — Не то! — сказал я со вздохом.

— Дурак! — опять отрезал мой приятель. — Да ведь ты их еще не видел.

Он спустился с приступки вабэра и, заложив палец в рот, издал легкий, осторожный свист. Девочки насторожились, пошептались о чем-то, и старшая, как будто вдогонку за разбежавшимся колесом, перепорхнула по двору к тому месту, где мы стояли за забором, и тоже поднялась, держась за балясины. Увидев меня, она вдруг потупилась.

— Здравствуй, Зоя, — ласково сказал Крыштанович. — Можно зайти к вам, поиграть в саду?

— Нет, нельзя, — ответила девочка, опять окинув меня быстрым взглядом.

— Почему?

— Бабушка не позволяет. А это кто с тобой?

— Это мой товарищ... Почему не позволяет?

— Она говорит, что ты шалун и невоспитанный мальчик. И что на свист выбегают только горничные.

— А ты, дура, рассказала.

— Не я. Вера рассказала. Бабушка говорит: правда? Я говорю: правда.

— Дуры вы обе! Я сам, когда так, не стану ходить. Девочка посмотрела на нас, задумавшись.

— погоди! Я попрошу бабушку. Скажу: пришли двое. Как было бы весело, — прибавила она с сожалением.

— Не надо. Скажи своей бабушке, что... сама она невоспитанная. Вот что! Скажешь?

— Нет, не скажу. А твоего товарища как зовут?

— Не твое дело. Иди целуйся со своей бабушкой. Пойдем!

— Ну что, похожа? — спросил он, когда мы отошли на некоторое расстояние. Девочка все еще смотрела нам вслед, держась руками за палисадник.

— Нисколько не похожа.

— Тогда, значит, младшая. Хочешь — позову. Ух, шустрая девчонка!

— Нет, нет, пожалуйста, не зови. Это не та.

— Почему же ты знаешь? Постой, у той, твоей, какое лицо?

— Лицо?..

Я оказался в большом затруднении, так как лица приснившейся мне девочки я совсем не видел... Я мог вспомнить только часть щеки и маленькое розовое ухо, прятавшееся в кроличий воротник. И тем не менее я чувствовал до осязательности ясно, что она была не такая, как только что виденная девочка, и не «шустрая», как ее младшая сестра.

— А может, и у них есть серые шубки? — сделал Крыштанович еще одно предположение, но я решительно пошел из переулка... Крыштанович, несколько разочарованный, последовал за мною: он совсем было поверил в пророческое значение моего сна. А подтверждение таких таинственных явлений всегда занимательно и приятно.

Несколько дней я носил в себе томящее, но дорогое впечатление своего видения. Я дорожил им и боялся, что оно улетучится. Засыпая, я нарочно думал о девочке, вспоминал неясные подробности сна, оживлял сопро-

вождавшее его ощущение и ждал, что она появится вновь. Но сны как вдохновение: не всегда являются на преднамеренный зов.

Начиналось то, чего я боялся: образ девочки в сером постепенно бледнел. Мне было как-то жгуче жаль его, порой это было похоже на угрызения совести, как будто я забываю живого друга, чего-то от меня ожидающего. Но дни шли за днями — образ все больше расплывался в новых впечатлениях, удалялся, исчезал.

Между тем передо мной мелькали живые фигуры моих сверстниц — и я уже делал различие между знакомыми мальчиками и девочками.

Это вообще начинается очень рано. Помню, когда мне было лет семь или восемь, в пансионе пани Окрашевской училась со мной девочка, дочь местного кондитера. Ее, вероятно, много кормили сладкими печеньями, и она сама была как горячая булочка: легко краснела, охотно смеялась и легко плакала. Она иной раз за уроком обращалась ко мне с вопросами, и я всегда отвечал охотно и просто. Но когда в перемену начинались иг-

ры, она всегда старалась сесть около меня, обнять меня за шею или взять за руку. И это мне тогда было неприятно. Раз она села рядом со мной, а я тотчас пересел в другое место. Она тотчас же перебежала за мной, и я опять пересел. Другие девочки засмеялись, а она вся покраснела и заплакала. Я видел, что очень обидел ее, но плохо понимал, почему это так вышло...

Потом я уже не делал таких грубостей и даже вел себя кавалером. Из среды девочек и девушек, которых всегда бывало много в соседнем доме Коляновских, я выделял уже красивых или, вернее, таких, которые мне казались симпатичными. Из них особенно вспоминаю одну; у нее был немного кривой бок, и она слегка хромала. Но зато в голубых глазах ее было столько доброты и печали, что я всегда старался сделать ей что-нибудь приятное. Она заметила мою тихую преданность и однажды, тронутая каким-то ее проявлением, поцеловала меня. Мне это было очень приятно.

Когда отца перевели из Житомира в Дубно, мы поехали к нему на каникулы. Сестра с ма-

терью приезжали туда и ранее нас, и здесь у сестры завязалась дружба с девочкой, немного старше ее. У этой девочки было красивое уменьшительное имя Люня, ровные черные брови и бархатные, наивно-задумчивые глаза. Однажды мне пришлось провожать ее домой под вечер, и на нас напали собаки. Я обнаружил при этом чудеса храбрости, и, когда благополучно доставил свою даму, она с милым восхищением рассказывала об этом матери. Я чувствовал себя гордым и счастливым, когда ее бархатные глаза при прощании глядели на меня с опасением:

— А вы не боитесь, что они опять на вас бросятся? И еще их больше?..

Она говорила по-польски: «А ran sie nie боі?», — и это звучало в отношении ко мне еще уважительнее.

Я, разумеется, не боялся. Наоборот, идя по широким темным улицам и пустырям, я желал какой-нибудь опасной встречи. Мне так приятно было думать, что Люня еще не спит и, лежа в своей комнате с закрытыми ставнями, думает обо мне с опасением и участием.

А я ничего не боюсь и иду один, с палкой в

руке, мимо старых, обросших плющами стен знаменитого дубенского замка. И мне приходила в голову гордая мысль, что я, должно быть, влюблен.

Но этого в действительности не было. По отъезде из Дубно обратно в Житомир я почти весь год провел в бродяжничестве по окрестностям и как-то слишком скоро забыл и Люню, и ее черные глаза, и даже собственную необыкновенную храбрость...

В Ровно у сестры тоже были подруги, с которыми мне приходилось встречаться.

Однажды я лежал на траве в запущенном углу нашего сада в особенном настроении, которое в этом сонном городишке находило на меня довольно часто. Хотелось что-то сделать, и казалось, что что-то нужно и можно сделать, но трудно было определить, что именно. А то, что приходило в голову и за что я принимался, не удовлетворяло меня, потому что я ничего не умел. И я лежал с какими-то смутными, лениво проползавшими в голове мыслями, глядя, как над головой по синим пятнам неба между зеленой листвой проползают белые клочья медленно тающих

облаков.

Вдруг вблизи послышалось легкое шуршание. Я оглянулся и увидел в двух шагах, за щелеватым палисадом, пеструю фигуру девочки-подростка, немного старше меня. В широкую щель глядели на меня два черных глаза. Это была еврейка, которую звали Итой; но она была более известна всем в городе как «Васина внучка».

Бася была пожилая еврейка, торговавшая кружевами и полотнами. Иной раз она приходила и к нам с небольшим коробом, но всегда это имело такой вид, как будто Бася приходит не для барыша, а делает одолжение своим добрым знакомым. Мать часто сажала ее за стол и угощала чаем, причем Бася держалась очень просто и как-то респектабельно, с сознанием своего достоинства. В лице ее, сохранившем следы красоты, было что-то тонкое, почти аристократическое. Внучка ее, Ита, была смуглянка восточного типа, и бабушка одевала ее, как странную куколку, в яркие кофты и платья, вышитые причудливыми узорами и блестками; на шее и груди бренчали и звенели нитки кораллов, жемчуга, серебряных мо-

нет и медальонов... Говорили, что Бася очень богата, происходит из знатного еврейского рода и готовит внучке судьбу, не совсем обычную для еврейских девочек. Иногда Бася брала ее с собой в дома покупателей. Тогда маленькую еврейку ласкали и угощали конфетами.

Увидев ее теперь так близко, я быстро поднялся с травы.

— Я вас разбудила? Вы спали? — спросила она спокойно.

— Нет, я не спал, — ответил я с легким смущением.

— А я хотела посмотреть, нет ли в саду вашей сестры. Вы знаете, мы с нею познакомились, когда вас еще здесь не было.

Я ответил, что слышал от сестры об этом знакомстве, и вызвался разыскать ее.

— Да, пожалуйста, позовите ее. Мне очень нужно. Сейчас. Окажите: Васина Ита скажет ей большой секрет.

Она говорила уверенно, и эта своеобразная фигурка в пестром богатом наряде показалась мне чем-то вроде принцессы из фантастической восточной сказки, привыкшей отдавать

приказания. Действительно, и Бася, и ее внучка пользовались особым почетом среди единоверцев. Впоследствии, когда я прочел «Айвенго», фигура Ревекки сразу слилась для меня с воспоминанием о Васиной Ите. В то время я еще «Айвенго» не читал, тем не менее вежливо поклонился и тотчас же отправился исполнять ее приказание... После этого я не раз встречался с нею на улицах и всякий раз почтительно кланялся, а она отвечала снисходительным кивком головы, а порой взглядом черных глаз, в котором светилась некоторая благосклонность.

Не знаю, какие именно «большие секреты» она сообщила сестре, но через некоторое время в городе разнесся слух, что Васина внучка выходит замуж. Она была немного старше меня, и восточный тип делал ее еще более взрослой на вид. Но все же она была еще почти ребенок, и в первый раз, когда Бася пришла к нам со своим товаром, моя мать сказала ей с негодующим участием:

— Бася, Бася! Да вы с ума сошли! Разве можно выдавать замуж такого ребенка?

Старая еврейка уверенно и спокойно отра-

зила нападение:

— У нас, евреев, это делается очень часто... Ну и, опять, нужно знать, за кого она выйдет. А! Ее нельзя-таки отдать за первого встречного... А такого жениха тоже на улице каждый день не подымешь, когда его дед, хасид такой-то, приезжает в какой-нибудь город, то около дома нельзя пройти... Приставляют даже лестницы, лезут в окна, несут больных, народ облепляет стены, чисто как мухи. Забираются на крыши... А внук... Ха! Он теперь уже великий ученый, а ему еще только пятнадцать лет...

Дом Баси, в котором помещался лучший заезжий двор, был недалеко от нас. Однажды я шел в гимназию с «большой перемены» и увидел, что к этому дому подъехала коляска и из нее вышло четыре еврея. Все они были одеты как-то особенно: на них были шелковые кафтаны старинного покроя, на головах — шапки вроде беретов, а необыкновенно длинные закрученные пейсы свешивались впереди по бокам головы. Особенное внимание обращали на себя двое: мужчина средних лет, с застывшим красивым лицом, и белокурый

юноша. Остальные почтительно выводили их из коляски под руки и выказывали особые знаки почтения. Около дома стояла кучка евреев, которые в почтительном молчании следили за приезжими. Из их разговоров я понял, что это привезли жениха Иты.

Во мне шевельнулось чувство внезапного острого сожаления. Как — этот худосочный юноша, с жидкими, выгоревшими пейсами, с нездоровым, желтым цветом точно налитого лица и тусклым взглядом — жених красавицы Иты... Я понял негодующий возглас моей матери и почувствовал, что совершается какая-то непоправимая роковая жестокость. Очевидно, жених был хасид, убивший молодость за бессмысленной, отупляющей зубрежкой талмуда и доведенный этим учением почти до идиотизма. Сходя со ступенек коляски, он запнулся. Его поддержали, но и затем, идя на крыльцо, он путался в длинных полах лапсердака своими жидкими слабыми ногами.

В кучке зрителей раздался тихий одобрительный ропот. Насколько я мог понять, евреи восхищались молодым ученым, который от этой великой науки не может стоять

на ногах и шатается, как былинка. Басе завидовали, что в ее семье будет святой. Что удивительного: богатым всегда счастье...

Я шел в гимназию, охваченный чувством сожаления. И еще что-то особенное, как туманное, отдаленное воспоминание, шевелилось в душе, к чему-то взывая, чего-то требуя, напоминая о чем-то.

Это было ощущение беспредметное, бесплодное, смутное, скорее намек, чем определенное чувство. То, что совершалось в семье Баси, совершалось в каком-то другом, недоступном мне и безразличном для меня мире. Еще через некоторое время по улицам нашего городка слышны были своеобразные звуки еврейского оркестра, в котором преобладали флейты и кларнеты. Оркестр был превосходный, привезенный из другого города. Играли какой-то особенный марш — медленный, ровный, размеренный и торжественно-печальный. За оркестром, густо окруженная толпой, шла Басина Ита и ее ученый жених. Лица ее я не видел, и только на одно мгновение мне мелькнула как будто часть смуглой щеки — и тотчас же исчезла за мерно и густо двигав-

шейся толпой.

Это была свадьба, совершаемая с соблюдением всех старинных обычаев. Венчали перед синагогой на площади, в сумерки. Над женихом и невестой держали богатый балдахин... Читали молитвы, пили вино, и жених, бросив на пол рюмку, топтал ее ногой...

И потом в тихий летний вечер, полусумеречный, полупронизанный светом луны, на улицах опять слышались печально-торжественные звуки флейт и кларнетов и размеренный топот огромной толпы, в середине которой шла Басина Ита с своим ученым супругом.

В моей тогда беззаботной душе отложилась на время легкая смутная печаль. Мне было как-то странно думать, что вся эта церемония, музыка, ровный топот огромной толпы, — что все это имеет центром ту маленькую фигурку и что под балдахином, колеблющимся над морем голов, ведут ту самую Басину внучку, которая разговаривала со мной сквозь щели забора и собиралась рассказать сестре свои ребяческие секреты. Теперь она уносит эти секреты, или, вернее — ее вместе с

ними уносят эти ровные стихийные волны, и в них есть что-то неумолимое и грозное... Хотя все это совершается под звуки музыки, мягкой, ласкающей, торжественной и печальной...

Вскоре Басина внучка уехала навсегда из нашего города к знаменитой родне своего высокоученого супруга; сама Бася еще оставалась. Когда мать порой спрашивала, как живет Ита, — старая еврейка делала важное лицо и отвечала:

— Ну чего еще надо! Такие знаменитые лю-ю-ди! Святые!

Не скажу, чтобы впечатление от этого эпизода было в моей душе прочно и сильно; это была точно легкая тень от облака, быстро таящего в ясный солнечный день. И если я все-таки отмечаю здесь это ощущение, то не потому, что оно было сильно... Но оно было в известном тоне, и этой душевной нотке суждено было впоследствии зазвучать гораздо глубже и сильнее. Вскоре другие лица и другие впечатления совершенно закрыли самое воспоминание о маленькой еврейской принцессе.

Рядом с нашим двором, отделенный только низеньким заборчиком, стоял дом «городничего» Дембицкого. Это был последний на моей памяти представитель городского звания, так как эта должность вскоре была совершенно упразднена. Дембицкий был человек необыкновенно толстый; в парадных случаях он надевал фрачный мундир, какой теперь можно видеть только в театре, когда дают «Ревизора», высокие сапоги с лакированными голенищами и треуголку. У этого мастодонта была дочка одного со мной возраста, веселая и очень бойкая. У нее были прекрасные большие серые глаза, вздернутый носик и слишком большие губы, всегда готовые к улыбке. Она, в сущности, была некрасива, и я отлично заметил это. Но было в ее лице что-то открытое, доброе, веселое и привлекательное. Она то и дело влетала к нам, хватала сестру, отводила куда-нибудь в сторону, и здесь у них начинались хохот, «секреты», какие-то символические знаки и недомолвки, имевшие явною целью заинтересовать нас, «мальчиков», если мы были поблизости. Мне она нравилась, между прочим, и тем, что пер-

вая стала называть меня по имени-отчеству, как взрослая девица взрослого кавалера. Ко мне она тоже благоволила и в «фантах» — когда приходилось, целовала без жеманства и несколько охотнее, чем это делается в игре «по приговору». Все это затрагивало меня гораздо сильнее, чем встреча с Итой, тон был другой: веселый, светлый, холодноватый, как лимонное мороженое в жаркий день. Мне опять казалось, что я немного влюблен, и опять я скоро увидел, что ошибался.

Однажды я, задумавшись, шел по двору, когда Маня Дембицкая окликнула меня по имени-отчеству.

— Вот это хорошо. Идет и не кланяется.

Я хотел ответить, по обыкновению, шуткой, но увидел, что она не одна. За низким заборчиком виднелись головы еще двух девочек. Одна — ровесница Дембицкой, другая — поменьше. Последняя простодушно и с любопытством смотрела на меня. Старшая, как мне показалось, гордо отвернула голову.

— Позвольте вас познакомить, — полушутливо, полусерьезно продолжала Дембицкая. — Мои подруги Линдгорст.

Я вежливо приподнял фуражку. Мне нравилась эта церемония представления, кажется, тоже первая в моей жизни. Я на время остановился у забора, и мы обменялись с Дембицкой несколькими шутками. Младшая Линдгорст простодушно смеялась. Старшая держалась в стороне, и опять как-то гордо. Когда она повернула голову, что-то в ее красивом профиле показалось мне знакомо. Прямой нос, слегка выдававшаяся нижняя губа... Точно у Васиной Иты? Нет, та была гораздо смуглее, но красивее и приятнее...

— Как вам понравилась Лена? — лукаво спросила у меня Дембицкая при первой нашей встрече.

— Лена — это которая? — спросил я.

— Ну конечно, старшая.

— Не особенно.

— Ну, ну, не лицемерьте.

Я говорил совершенно искренно — она показалась мне суховато-надменной, и в ней не было того открытого веселья, которое теперь так нравилось мне в городнической дочке. Я сказал ей это.

— А вы, наоборот, понравились, — сообщи-

ла она лукаво, искоса глядя на меня своими серыми глазами. — Лена говорит, что приятно видеть в нашем городке такого воспитанного человека... Еще бы. Ведь вы «из губернии».

Я опять в первый раз услышал, что я — «воспитанный молодой человек», притом «из губернии», и это для меня была приятная новость. В это время послышалось звяканье бубенчиков. По мосту и затем мимо нас проехала небольшая тележка, запряженная круглой лошадкой; в тележке сидели обе сестры Линдгорст, а на козлах рядом с долговязым кучером — их маленький брат. Младшая обернулась в нашу сторону и приветливо раскланялась. Старшая опять надменно кивнула головой...

— Она очень красива и знает это, — сказала Дембицкая.

— Может быть, — ответил я равнодушно. Подошла осень. Выпал первый снег. Моя мать и сестренка были у Линдгорстов и завязали знакомство. Ждали ответного посещения. Матери условились, что это будет запросто, вечером.

И действительно, под вечер в субботу я за-чем-то вышел в переднюю, когда открылась дверь со двора, повеяло холодком и запахом свежего снега, и вошла полная дама с двумя девочками и мальчиком. На девочках были шубки, крытые серым сукном, с белыми воротниками и белые шапочки из лебяжьих перьев. Я, как «воспитанный молодой человек», кинулся помогать им раздеваться. Когда старшая нагнулась, чтобы отстегнуть высокие калоши, — мне мелькнула при свете лампы покрасневшая от мороза щека и розовое ухо с сережкой. Когда она подняла лицо и сказала приветливо: «Благодарю вас», — мне показалось, что это не та барышня, которую я видел у Дембицкой: ничего суховатого и надменного в ней не было. А было нечто другое, как будто смутно напоминавшее о чем-то...

Вечер прошел, как обыкновенно проходили такие вечера. В нашей тесной гостиной стояло старое пианино из тех, которые Тургенев называл «кислыми». Это было дешевое сооружение, издававшее дребезжащие звуки, под которые, однако, мы с большим оживлением отплясывали польку, вальс, «галопад» и

кадрили. Потом, конечно, играли в прятки, в соседи, в птичку. Брались за руки и вертелись кругом с более или менее глупыми песнями, вроде:

*Птичка улицей летает,
Кого встретит, всех считает,
А я себе в этом ноле
Выбираю доброй волей...*

Кольцо разрывалось, находившийся в центре его подавал кому-нибудь руку, остальные старались поскорее найти себе пару. Для игры нужно было нечетное число участников, и, значит, кто-нибудь оставался. Остававшийся давал «фант» и становился в середину.

Все эти маленькие невинные игры располагались так, что их главным содержанием являлось обнаруженное взаимных симпатий, и на этой почве разыгрывались иногда полуплутильные, а иногда и «серьезные» объяснения, поддразнивания, сценки ревности, ссоры, «измены», задевалось юное кавалерское или девичье самолюбие. Старшие смотрели, смеялись, поощряли.

В первый же раз, когда я остался без пары, с концом песни я протянул руку Мане Дем-

бицкой. Во второй раз, когда осталась Лена, я подал руку ее сестре раньше, чем она успела обнаружить свой выбор; и когда мы, смеясь, кружились с Соней, у меня в памяти осталось лицо Лены, приветливо протягивавшей мне обе руки. Увидев, что опоздала, она слегка покраснела и осталась опять без пары. Я пожалел, что поторопился... Теперь младшая сестра уже не казалось мне более приятной.

Когда в фантах я подвергся «цензуре», то среди разных мнений на одной записке оказалось мнение обо мне, изложенное по-французски *en bon point*[11]. Его в качестве «секретаря» громко прочитала Дембицкая и засмеялась. Я сразу угадал, что это мнение «панна Елены».

Весь этот вечер проходил оживленно и весело, а для меня в нем осталось несколько мелких, почти ничтожных эпизодов, значение которых выделилось даже не сразу, но которые остались в памяти навсегда. Так, когда играли в прятки, я наткнулся на кого-то из прятавшихся за дверь в темноватом углу отцовского кабинета. Когда я приоткрыл дверь, передо мной на полу сидела небольшая фи-

гурка, отвернувшая голову. Нужно было еще угадать, кто это.

— Панна Елена, — сказал я нерешительно и ждал, пока она поднимет лицо. Она поднялась, отряхнула платье и подала мне руку. И лицо ее опять показалось мне новым, очень милым и приятным как-то по-особенному...

Под конец вечера послышалось на дворе побрякивание бубенцов. Это за Линдгорстами приехали лошади. Младшая стала просить у матери, чтобы еще остаться. Та не соглашалась, но когда подошла Лена и, протянув руки на плечо матери, сказала, ласкаясь: «Мамочка... Так хорошо!» — та сразу уступила и уехала с мальчиком, обещая прислать лошадь через полчаса.

Наконец этот «вечер» кончился. Было далеко за полночь, когда мы с братом проводили барышень до их тележки. Вечер был темный, небо мутное, первый снег густо белел на земле и на крышах. Я без шапки и калош вышел к нашим воротам и смотрел вслед тележке, пока не затих звон бубенцов...

Потом, повалившись в постель, я заснул как убитый.

Проснулся я необычно рано и в особенном настроении, как бы вне времени и пространства, по крайней мере — знакомого времени и знакомого пространства. Я не узнавал своей комнаты, ее стен, дверей, окон... Не мог вспомнить, где это я и когда именно проснулся. Отдельные черты личной жизни проносились точно в густом сумраке, мелькая, меняясь, исчезая и оставляя меня опять в пустой неопределенности. Мне кажется, я даже спрашивал себя: где я? кто я такой? с кем это я живу? что со мною случилось?.. Одно мгновение показалось, что я еще в Житомире... Туманное утро... Только что уехал Бродский? Или еще что-то?.. Приятное? Радостное? Или тяжелое и болезненное?

Наконец мне удалось установить прежде всего, что передо мной матово-тусклый прямоугольник, перекрещенный темными полосами, — окно; против него высокий темный предмет на белом фоне — железная печка. За этим выступили другие знакомые предметы комнатной обстановки, и я понял, где я. Я не в Житомире, а в Ровно; рядом со мной другая комната, где спят братья, дальше гостиная,

потом спальня отца и матери... Но что же это случилось такое значительное и важное? наяву или во сне? Что мне снилось сейчас и отчего в груди у меня и около сердца точно налито что-то горячее...

Я поднялся на своей постели, тихо оделся и, отворив дверь в переднюю, прошел оттуда в гостиную... Сумерки прошли, или глаза мои привыкли к полутьме, но только я сразу разглядел в гостиной все до последней мелочи. Вчера не убрали, теперь прислуга еще не встала, и все оставалось так, как было вчера вечером. Я остановился перед креслом, на котором Лена сидела вчера рядом со мной, а рядом на столике лежал апельсин, который она держала в руках.

Я остановился против этого кресла и несколько минут стоял неподвижно, с ощущением странного счастья и странной печали. Так вот что это было, важное и значительное, отчего моя грудь до сих пор залита какой-то дрожащей теплотой, а сердце замирает так странно и так глубоко. Я взял в руки апельсин, и никогда раньше я не думал, что простой апельсин может иметь такое особен-

ное значение.

Воображение мое вдруг точно встрепенулось, как птица, и в памяти встал давно забытый детский сон: снег, темный переулок и плачущая девочка в серой шубке. Я подошел к двери, за которой вчера отыскал Лену. В этом уголке было несколько темнее, и я легко представил себе в сумраке темный комочек, как она сидела с опущенной головой, пока я ее не окликнул...

И я почувствовал, что та девочка моего детского сна, которую я видел зимой на снегу и которую уничтожило летнее яркое утро, теперь опять для меня найдена: она в серой шубке и вошла с первым снегом, а затем потонула в сумраке темного вечера под звон замирающих бубенчиков...

Да, это была она. В первое мгновение мне показалось даже, что у той девочки было то же самое лицо с красивым профилем и с тем же выражением в голубых глазах, которые вчера глядели на меня несколько раз с таким милым дружеским расположением. Я вспомнил, как она в игре протянула мне обе руки. А я... Как я мог отвернуться, не почувствовать,

не предвидеть этого... Да, это, несомненно, она...

Только через несколько времени я припомнил во всех подробностях обстоятельства своего сна и то, что лица той девочки я не видел, о чем и говорил даже Крыштановичу. И странно, тотчас же исчезло из памяти и лицо Лены, и я не мог восстановить его так ясно, как вспоминал любое другое лицо: Мани Дембицкой, Люни, Васиной Иты, Сони. И это было мучительно — впоследствии не раз оно вдруг рисовалось передо мной с необыкновенной ясностью: красивый профиль, голубые глаза, волнистые кудри, спокойная улыбка. Но это бывало неожиданно, точно по капризу. Затем оно исчезало и не приходило на призывы памяти, как тот детский сон... И в это первое утро я уже испытал это странное ощущение, и с ним вместе стояло щемящее воспоминание о том, как я ее тогда потерял. А теперь...

Так я простоял в гостиной, перед креслом и апельсином, до полного рассвета, пока не пришла мать с горничной, чтобы привести все в порядок. Мать удивилась, застав меня уже одетого и странно мечтательного.

— Что ты тут делаешь? — спросила она с удивлением.

— Так... ничего, — ответил я, застыдившись, и быстро вышел, чувствуя, что мать провожает меня внимательным взглядом.

Я был способен — гимназия не могла захватить всех сил моего растущего ума. Я был подвижен, силен — и потребность движения не находила исхода в одних играх. Ощущение, что мне что-то нужно сделать и что я могу что-то сделать — хорошее, интересное, захватывающее, нужное, — достигало иногда во мне почти мучительного напряжения. Вероятно, от этого неиспользованного избытка сил мое воображение носилось в разных фантастических областях, занимательных, но бесплодных. Теперь это как будто разрешалось: раннее развитие воображения, парившего в мертвой тишине окружающей жизни, преждевременное и беспорядочное чтение сделали свое дело: я был влюблен — сразу, мечтательно и глубоко — на четырнадцатом году своей жизни.

Я ощущал в себе это новое чувство с ясностью почти физического ощущения. Оно за-

лило своей особой окраской все остальные ощущения, точно это была только канва, ждавшая своего узора. И только теперь, казалось мне, она получала смысл, значение и красоту, и я спрашивал себя, как мог я жить до сих пор без *этого*. И как я смогу опять жить, если... если эта вторая девочка в серой шубке опять уйдет навсегда из моей жизни и пустая канва опять останется без узора... Нет, это не может случиться вторично, потому что... Я не знал почему, но все во мне противилось этой мысли. То было во сне. Теперь — это наяву, и я не потеряю ее... Мне вспомнилось, как вчера, в игре, она первая протянула мне обе руки... В ее взгляде мне чудилось что-то странно милое. Как будто действительно тогда это была она... И она знала, что мы тогда расстались, и мне это было так больно. А теперь — вот она возвратилась. И я ее не замечу.

Я попал во власть новой фантазии. До сих пор в мечтах я уже был польским рыцарем, казацким атаманом, гайдамацким ватажком и совершал подвиги в пустом пространстве и с неизвестною целью. Теперь у них оказалось

нечто вроде центра: она была в опасности, ее похищали, а я гнался, побеждал, освобождал, вообще проделывал нечто вроде того, что впоследствии проделывали один за другим герои господина Сенкевича, только, конечно, с меньшим знанием истории и с гораздо меньшим талантом. Впрочем, теперь воображение часто выводило меня из областей исторического романтизма. Я представлял себя и ее в современной действительности и старался взвесить и оценить наши отношения. Она находит, что я — «воспитанный молодой человек», en bon point. Поэтому она отмечает меня, поэтому вчера она протянула мне руки... Мне нужно, чтобы она всегда протягивала мне свои руки и чтобы эти голубые глаза всегда глядели с таким же расположением. Значит, я должен быть «воспитанным молодым человеком», ловким, находчивым, красивым, с хорошими манерами. Никогда до тех пор я не смотрелся в зеркало. Теперь произвел тщательный осмотр своей физиономии и остался крайне недоволен. Недоволен лбом, бровями, носом, торчащими врозь шершавыми волосами, всем ансамблем... Все это долж-

но бы быть другое, и оно становилось другим в воображении. Молодой человек, которого я видел подходящим, разговаривающим с нею, спасающим ее, развлекающим ее интересными рассказами, — был тонок, гибок, грациозен, красив, — совсем не таков, как я в зеркале, и все-таки это был я... Оставалось что-то мое, и это было центром; только я выступал как бы в улучшенном издании. Я порой говорил ей такие интересные, веселые, остроумные вещи — опять-таки в воображении, — что сам готов был хохотать над ними, а порой бывал так трогательно чувствителен, что на глазах у меня навертывались слезы. Но увы! — наяву было далеко не так. Наяву я чувствовал, что я, в сущности, не тот, не гибкий, не тонкий, не ловкий, не грациозный; что у меня нет манер и что я вовсе не «благовоспитанный молодой человек» в ее смысле. И тогда я конфузился, и находчивость меня покидала...

Я не стану подробно описывать все мои маленькие радости, надежды, разочарования и огорчения. Было это давно, хотя... ведь это вечно новая сказка... К счастью или к несча-

стию, около этого времени в наш город приехал учитель танцев, и моя мать условилась с Линдгорст пригласить его для обучения детей совместно. Присоединились еще некоторые семьи. Нужна была большая квартира. Она нашлась у одного мелкого чиновника, умевшего хорошо обделывать свои дела, и с этих пор два раза в неделю мы являлись в эту квартиру. Жена чиновника играла на рояле, мосье Оливье, или Одифре — хорошенько не помню, но только господин с польским лицом и французской фамилией — ставил нас в позиции, учил ходить по комнате, садиться, кланяться, приглашать, благодарить. Мы с братом делали большие успехи в изящном хореографическом искусстве, и мною порой овладевала иллюзия, будто воображаемый я теперь начинает сливаться с реальным... Только подлое зеркало порой разрушало эту иллюзию... Но зато ее поддерживали ободряющие взгляды голубых глаз, и маленькие руки с милой благосклонностью протягивались мне в лансье и кадрилиях.

Кажется, за это время я сильно глупел и, во всяком случае, терял непосредственность, во-

ображая себя не тем, чем я был в действительности. В действительности я, кажется, был лучше того якобы щеголеватого фата, которым старался себя представить. Но я постоянно оглядывался на себя и сравнивал с другими. У одного из товарищей мне нравилась складка губ, у другого — походка, у третьего — сморщенные брови. И я старался так глядеть, так ходить, так морщить брови... Она читала французские книги и спросила у меня, люблю ли я французскую литературу. Я покраснел, но, конечно, не солгал: по-французски я не читал. Вскоре, однако, к моему удовольствию, среди старого книжного хлама на дне какого-то шкафа нашлась французская книжка с иллюстрациями. Я схватился за нее. Это был Поль де Кок. Я решил попробовать. Оказалось не очень трудно, и мы с младшим братом много хохотали, следя за приключениями трех молодых повес и одного воспитателя. Оказалось, однако, что к моей «благовоспитанности» этот роман прибавил немного, так как в нем слишком большую роль играли разные забавные происшествия, например... с клистир-ною трубкой.

Помню из этого времени один случай, когда на короткое время мое воображение как будто просветлело и в нем прорвалось наружу нечто непосредственное мое, как бы протестовавшее против насильственного режима «благовоспитанности» и «хороших манер». В нашей танцующей компании был один юный гимназистик, моложе меня. Он был первым учеником в своем классе, довольно, кажется, развитой, кое-что читавший и способный, но на вид это был совершенный медвежонок, смотревший всегда исподлобья. Его сестра училась танцам вместе с нами, и мать настояла, чтобы к этому изящному искусству приобщился также и сын. Тот долго противился, но наконец вынужден был согласиться. Мосье Одифре, или Оливье, долго выламывал ему ноги, выгибал талию, ставил в позицию, но все его усилия оказывались совершенно бесплодны. Мальчик оставался все тем же медвежонок, смотрел так же искоса не то угрюмо, не то насмешливо и, видимо, предоставлял мосье Одифре делать с собой что угодно, нимало не намереваясь оказывать ему в этих облагораживающих усилиях

какое бы то ни было содействие... Это зрелище вызывало в нас, остальных, насмешливые взгляды и усмешки, что, видимо, мучило его сестру, приобщившуюся к настроению грации и хороших манер.

Вероятно, за все это бедняге сильно доставалось дома, и в один прекрасный день он решительно взбунтовался. Когда мосье Одифре с сдержанной, но заметной саркастической улыбкой потребовал его участия в кадрили или лансье и мы все с интересом ждали его выступления соло — угрюмый юноша вдруг ринулся, точно сорвавшись с цепи, на середину зала, выделявая с видом героической решимости самые невозможные па; топтал каблуками, лягался направо, налево, назад, премуморительно мотая головой и размахивая руками. Хозяйка квартиры, сидевшая за фортепьяно, покатываясь от смеха, продолжала играть, все ускоряя темп, а танцор среди общего хохота продолжал дикий танец... Наконец, внезапно остановившись, он угрюмо потрянул головой и сказал, обращаясь к мосье Одифре:

— Ну что, доволен? — и затем надел в передней шапку и пальто и вышел.

Все мы были чрезвычайно скандализированы. С урока шли мы обыкновенно вместе, в сопровождении, конечно, старших. Старшие шли сзади, мы чинно, благовоспитанно, парами — впереди. Я искоса любовался на красивый профиль Лены, на ее немного откинутую надменную головку и на уверенную плавную походку. Этот раз разговор, конечно, шел о невоспитанном юноше.

— Господи, что такое он танцевал? — сказала младшая Линдгорст, заливаясь искренним смехом.

— Танец диких вокруг костра, — сказал я.

Лена засмеялась и подарила меня взглядом, каким обыкновенно поощряла мои удачные шаги или изречения. Но у меня что-то слегка защемило в глубине совести. Инстинктивно я почувствовал, что говорю не свое, что, в сущности, этот медвежеватый мальчик, так своеобразно избавившийся от мучительного принуждения к танцам, к которым он не способен, и так мало обращавший внимания на наше мнение (в том числе и на мнение Лены) — мне положительно нравится и даже внушает невольное уважение...

Давно уже у меня выработалась особая привычка: вечером, когда все в доме стихало и я ложился в постель, — перед тем как заснуть, на границе забытья, в сумерках сознания и дремоты — я давал волю воображению и засыпал среди разных фантазий и приключений. Сначала я их выдумывал сознательно, потом они тучей обступали меня, туманились, меркли и — опять прояснялись, уже во сне — те же самые или другие, еще интереснее и живее. С некоторых пор в эти минуты я вел с Леной воображаемые разговоры, по большей части довольно глупые и детски сентиментальные. Но этот раз воображение попало на более правильную дорогу. Эпизод с «танцем диких» запал куда-то в глубину моего мозга и тронул что-то лежавшее под налетом искусственной благовоспитанности. Когда я вспоминал свою остроту, мне становилось стыдно, и краска заливала невольно мое лицо.

Об этом я будто и заговорил с Леной в этот вечер, и слова у меня лились просто и задушевно. Я незаметно для себя и для нее взял ее за руку как товарища, и говорил о том, что

все мы были не правы и тогда, когда злорадно следили за смешными неудачами нашего волчонка, и тогда, когда хохотали над его выходкой, вызванной, быть может, застенчивостью и желанием избавиться от бесполезных мучений... Я говорил, что молчаливо-уничтожающая ирония мосье Одифре, которая нам так импонировала, была, в сущности, возмутительна и что, наконец, мне стыдно за мою остроту, которая напрасно заслужила ее одобрение. Должно быть, во сне я продолжал говорить еще долго и много в этом же роде, раскрывая свою душу и стараясь заглянуть в ее душу, но этого я уже не запомнил. Помню только, что проснулся я с знакомым ощущением теплоты и разнеженности, как будто еще раз нашел девочку в серой шубке...

Эта струя, однако, продолжения не имела. Весь склад наших встреч, взаимных визитов, игр и разговоров содействовал развитию влюбленности, но не дружбы, не откровенности, не таких душевных излияний. Кроме того, после следующего же урока танцев, который должен был быть последним, Лена тяжело заболела.

Уже во время самого урока у нее болела голова, а когда мы провожали их, по обыкновению, с урока домой, она сказала, что чувствует себя очень плохо и что, должно быть, это что-нибудь серьезное. Я с тревогой взглянул на нее. Лицо у нее горело, глаза глядели грустно, и говорила она серьезно, как взрослая. Дойдя до своих ворот, она обернулась, подала мне руку и сказала: «До свиданья... но, кажется, не скоро»... Рука была горяча, а горящие глаза ласково смотрели на мое расстроенное лицо. Она казалась мне в эту минуту такой дорогой и близкой, как во время разговора во сне...

На следующий день стало известно, что Лена больна скарлатиной и что она еще простудилась, возвращаясь уже больной с последнего урока танцев.

Сношения между нашими домами прекратились. Порой, встречая ее брата или отца на улице, я спрашивал о здоровье Лены. Ничего еще сказать было нельзя. Ждали кризиса. По вечерам, когда движение на улицах стихало, я выходил из дому, шел по шоссе к шлагбауму, мимо дома Линдгорстов. На темную улицу

глядели окна, задернутые занавесками. Порой в окне, где лежала больная, в щель неплотно сдвинутых гардин прокрадывался луч света, и мне казалось, что он устанавливает какую-то связь между мною, на темной улице, и комнатой, с запахом лекарств, где на белой подушке чудилось милое лицо, с большим румянцем и закрытыми глазами. Я ходил взад и вперед по улице, порой останавливаясь и поднимая глаза кверху, молился, стараясь горячим сознанием «личного обращения» к богу пробить мутный полог оттепельного зимнего неба.

Так прошло несколько вечеров. Погода стала меняться. Вместо мутной зимней слякоти наступили легкие морозы, вечера становились светлее, на небе искрились звезды, и серп луны кидал свой мечтательный и неверный свет на спящие улицы, на старые заборы, на зеленую железную крышу дома Линдгорстов, на бревна шлагбаума и на теряющуюся в сумраке ленту шоссе. Говорили, что эта перемена погоды благоприятна для кризиса болезни. Я не смел думать, что это подействовала моя молитва, но какое-то теплое чувство

охватило меня однажды в тихий вечерний час на пустой улице с такою силой, что я на некоторое время совершенно забылся в молитве. Когда я очнулся, то увидел в пяти-шести шагах от себя две женские фигуры. Это две бедные девушки, дополнявшие, как кажется, свой скудный заработок случайным промыслом на улице. Они бродили долго, вероятно удивляясь, что и я хожу взад и вперед без видимой цели. Я очнулся от их шепота.

— Молится, — с удивлением сказала одна, и, постояв еще несколько секунд, они пошли своим путем, делаясь какими-то замечаниями. А я стоял на улице, охваченный особенным радостным предчувствием. Кажется, это была моя последняя молитва, проникнутая живой непосредственностью и цельностью настроения. Мне вспомнилась моя детская молитва о крыльях. Как я был глуп тогда... Просил, в сущности, игрушек... Теперь я знал, о чем я молился, и радостное предчувствие казалось мне ответом...

Лена действительно выздоровела, и это мое предчувствие оправдалось, но зато в моем маленьком до сих пор безмятежном рома-

не наступил кризис, для меня далеко не благоприятный. Я был страшно счастлив, когда в первый раз, заслышав знакомое треньканье бубенчиков и подбежав к своим, воротам, увидел, что в тележке опять сидят обе Линдгорст. Младшая опять радостно поклонилась мне, но когда Лена повернулась ко мне с приветливым поклоном, мне показалось, что лицо у нее сильно изменилось: она стала еще красивее с отрастающими волнистыми волосами, черты были те же, но в них появилось что-то новое, как будто она стала взрослее и серьезнее.

Было это уже весной, подходили экзамены, наши вечера и танцы прекратились, потом мы уехали на каникулы в деревню. А когда опять подошла осень и мы стали встречаться, я увидел, что наша непрочная взаимная симпатия оказалась односторонней. Задатки этой драмы были даны вперед. Мы были одноклассниками. Я перешел в пятый класс и оставался по-прежнему мальчишкой, а она стала красивым подростком пятнадцати лет, и на нее стали обращать внимание ученики старших классов и даже взрослые кавалеры.

Я почувствовал себя глубоко несчастным... Однажды, на одном из наших вечеров, появился мой товарищ Колотковский. Это был малый очень добрый, очень поверхностный и легкомысленный, с которым мы были довольно дружны. Но когда он в первый раз пустился танцевать мазурку, то оказалось, что этот маленький верткий разбойник сразу затмил всех нас, учеников мосье Одифре. Он выделывал ногами такие изумительные штуки, и притом с такой удалой грацией и непринужденностью, что даже старшие толпились по стенам и заглядывались на юного танцора. Сначала я тоже с искренним восхищением смотрел на своего ловкого товарища, пока в какой-то фигуре Лена, с покрасневшимися щеками и светящимся взглядом, подавая мне руки для какого-то кратковременного оборота, не сказала:

— Ах как он танцует! Почему бы вам не танцевать так же...

Эта короткая фраза ударила меня, точно острие ножа. Я сразу почувствовал, как поверхностны и ничтожны были мои надежды: я не мог ни так танцевать, ни так кланяться,

ни так подавать руку: это был прирожденный талант, а у меня — только старательность жалкой посредственности. Значит... я неизбежно обману ее ожидания, вернее, она уже видит, что во мне ошиблась.

Но Колотковский все-таки был только добрый малый, шансы которого ограничивались мазуркой. Настоящую ревность возбудил во мне другой мой товарищ, учившийся в одном классе со мной, — некто Мощинский. Это был сын богатого помещика-поляка, года на два старше меня, красивый блондин, с нежным, очень бледным лицом, на котором как-то особенно выделялись глубокие синие глаза, как два цветка, уже слегка опаленные зноем. Взгляд их был как-то спокойно-печален и ласков, и во всех манерах этого гимназиста сквозило какое-то мягкое, почти болезненное изящество. *Он не танцевал вовсе*, а между тем в первый же раз, как я увидел его на ученическом вечере, в клубе, рядом с Леной, я сразу почувствовал, что исключительно «благовоспитанный молодой человек», которого редко можно встретить в нашем городишке, — это именно он, этот хрупкий, но стройный юно-

ша, с такой лениво-непринужденной грацией присевший на стул рядом с Леной. Мне хотелось утешить себя мыслью, что Мощинский, учившийся довольно плохо, — в сущности, ограниченный барчук, изнеженный и неспособный. Но тотчас же я почувствовал, что это неверно: в сущности, я совсем не знал его, и уже то, что его нелегко было разгадать, делало его интересным и оригинальным. И я скоро сказал себе, что он мне самому решительно нравится и что в нем есть, как свое, прирожденное, настоящее — то самое, за чем я гнался напрасно, как напрасно воображал себя польским рыцарем или героем гайдамацких набегов... И я даже сблизился с ним одно время, совершенно искренно восхищаясь неуловимым изяществом его взгляда, речи, всего обращения... Он относился ко мне, как и ко всем, просто и ласково, но под этой лаской чувствовалось не то доброжелательное равнодушие, не то какой-то недосуг. Он и не знал, что я считаю его опасным соперником, но вскоре он получил такой шанс, который делал всякое соперничество смешным. Он заболел скоротечной чахоткой и через два ме-

сяца умер.

В городе говорили, что он был влюблен в Лену, что его отец сначала не хотел слышать об этой любви, но потом дал согласие: года через два Мощинский должен был оставить гимназию и жениться. Но все это были, кажется, пустые толки, которым отчасти содействовал отец Лены, человек несколько легкий и гордившийся дочерью...

В прекрасный зимний день Мощинского хоронили. За гробом шел старик отец и несколько аристократических господ и дам, начальство гимназии, много горожан и учеников. Сестры Линдгорст, с отцом и матерью, тоже были в процессии. Два ксендза в белых ризах поверх черных сутан пели по-латыни похоронные песни, холодный ветер разносил их высокие голоса и шевелил полотнища хоругвей, а над толпой, на руках товарищей, в гробу виднелось бледное лицо с закрытыми глазами, прекрасное, неразгаданное и важное.

Я тоже шел за гробом и чувствовал себя глубоко несчастным. Мне было искренно жаль Мощинского, и, кроме того, в душе стоя-

ла какая-то пустота, сознание своего ничтожества перед этой смертью. Я не мог умереть от любви так, как умер он, да, правду сказать, и не хотел этого. Иной раз, положим, в воображении я даже умирал, ради последовательности действия, но всякий раз так, чтобы каким-нибудь способом опять воскреснуть... Я был крепок, здоров, все мне давалось легко, но инстинктивно я чувствовал, что душа моя запуталась в каких-то бездорожьях, в погоне за призраками и фантазиями. Самый милый из этих призраков — была девочка в серой шубке, которую я когда-то потерял во сне, а теперь теряю уже наяву. Вот она идет недалеко, с этим знакомым лицом, когда-то на минуту осветившимся таким родственным приветом, а теперь опять почти незнакомая и чужая. А я отказываюсь от воображаемой своей личности — изящного молодого человека — и остаюсь... с чем же? Что я такое? Что из меня может выйти? К чему мне стремиться и что из себя сделать?..

Все это я скорее чувствовал в глубине души, как спутанный комок ощущений, чем сознавал в таком оформленном виде. Моя ма-

ленькая драма продолжалась: я учился (неважно), переходил из класса в класс, бегал на коньках, пристрастился к гимнастике, ходил к товарищам, вздрагивал с замиранием сердца, когда в знойной тишине городка раздавалось болтливое шарканье знакомых бубенцов, и все это время чувствовал, что девочка в серой шубке уходит все дальше... Чувство, очевидно, было упорно и глубоко: оно держалось года три и уходило только постепенно... Но долго еще оно держало меня в каком-то безвольном рабстве, превращаясь тоже в своего рода навязчивую идею.

Как я от него избавился, как постепенно начал опять находить себя и какую благодарную роль в этом процессе играла русская литература — об этом я расскажу еще в заключительных главах моей юности.

Теперь мне придется пригласить читателя в деревню, которая тоже играла важную роль в этой запутанной душевной истории.

Мое первое знакомство с Диккенсом

*

I

Первая книга, которую я начал читать по складам, а дочитал до конца уже довольно бегло, был роман польского писателя Корженевского — произведение талантливое и написанное в хорошем литературном тоне. Никто после этого не руководил выбором моего чтения, и одно время оно приняло пестрый, случайный, можно даже сказать — авантюристский характер.

Я следовал в этом за моим старшим братом.

Он был года на два с половиной старше меня. В детстве это разница значительная, а брат был в этом отношении честолюбив. Стремясь отгородиться всячески от «детей», он присвоил себе разные привилегии. Во-первых, завел тросточку, с которой расхаживал по улицам, размахивая ею особенным образом. Эта привилегия была за ним признана. Старшие смеялись, но тросточки не отнима-

ли. Было несколько хуже, что он запасся также табаком и стал приучаться курить тайком от родителей, но при нас, младших. Из этого, положим, ничего не вышло: его тошнило, и табак он хранил больше из тщеславия. Но когда отец как-то узнал об этом, то сначала очень рассердился, а потом решил: «Пусть мальй лучше читает книги». Брат получил «два злотых» (тридцать копеек) и подписался на месяц в библиотеке пана Буткевича, торговавшего на Киевской улице бумагой, картинками, нотами, учебниками, тетрадями, а также дававшего за плату книги для чтения. Книг было не очень много и больше все товар по тому времени ходкий: Дюма, Евгений Сю, Купер, тайны разных дворов и, кажется, уже тогда знаменитый Рокамболь...

Брат и этому своему новому праву придал характер привилегии. Когда я однажды попытался заглянуть в книгу, оставленную им на столе, он вырвал ее у меня из рук и сказал:

— Пошел! Тебе еще рано читать романы.

После этого я лишь тайком, в его отсутствие, брал книги и, весь настороже, глотал страницу за страницей.

Это было странное, пестрое и очень пряное чтение. Некогда было читать сплошь, приходилось знакомиться с завязкой и потом следить за нею вразбивку. И теперь многое из прочитанного тогда представляется мне точно пейзаж под плывущими туманами. Появляются, точно в прогалинах, ярко светящиеся островки и исчезают... Д'Артаньян, выезжающий из маленького городка на смешной кляче, фигуры его друзей-мушкетеров, убийство королевы Марго, некоторые злодеяния иезуитов из Сю... Все эти образы появлялись и исчезали, вспугнутые шагами брата, чтобы затем возникнуть уже в другом месте (в следующем томе), без связи в действии, без определенных характеров. Поединки, нападения, засады, любовные интриги, злодеяния и неизбежное их наказание. Порой мне приходилось расставаться с героем в самый критический момент, когда его насквозь пронзали шпагой, а между тем роман еще не был кончен, и, значит, оставалось место для самых мучительных предположений. На мои робкие вопросы — ожил ли герой и что случилось с его возлюбленной в то время, когда он влачил

жалкое существование со шпагой в груди, — брат отвечал с суровой важностью:

— Не трогай моих книг! Тебе еще рано читать романы.

И прятал книги в другое место.

Через некоторое время, однако, ему надоело бегать в библиотеку, и он воспользовался еще одной привилегией своего возраста: стал посылать меня менять ему книги...

Я был этому очень рад. Библиотека была довольно далеко от нашего дома, и книга была в моем распоряжении на всем этом пространстве. Я стал читать на ходу...

Эта манера придавала самому процессу чтения характер своеобразный и, так сказать, азартный. Сначала я не умел примениться как следует к уличному движению, рисковал попасть под извозчиков, натыкался на прохожих. До сих пор помню солидную фигуру какого-то поляка с седыми подстриженными усами и широким лицом, который, когда я ткнулся в него, взял меня за воротник и с насмешливым любопытством рассматривал некоторое время, а потом отпустил с какой-то подходящей сентенцией. Но со временем я от-

лично выучился лавировать среди опасностей, издали замечая через обрез книги ноги встречных... Шел я медленно, порой останавливаясь за углами, жадно следя за событиями, пока не подходил к книжному магазину. Тут я наскоро смотрел развязку и со вздохом входил к Буткевичу. Конечно, пробелов осталось много. Рыцари, разбойники, защитники невинности, прекрасные дамы — все это каким-то вихрем, точно на шабаше, мчалось в моей голове под грохот уличного движения и обрывалось бессвязно, странно, загадочно, дразня, распаляя, но не удовлетворяя воображение. Из всего «Кавалера de Mai-son rouge» я помнил лишь то, как он, переодетый якобинцем, отсчитывает шагами плиты в каком-то зале и в конце концов выходит из-под эшафота, на котором казнили прекраснейшую из королев, с платком, обгаренным ее кровью. К чему он стремился и каким образом попал под эшафот, я не знал очень долго.

Думаю, что это чтение принесло мне много вреда, пролагая в голове странные и ни с чем не сообразные извилины приключений, затушевывая лица, характеры, приучая к по-

верхностности.

II

Однажды я принес брату книгу, кажется сброшюрованную из журнала, в которой, перелистывая дорогой, я не мог привычным глазом разыскать обычную нить приключений. Характеристика какого-то высокого человека, сурового, неприятного. Купец. У него контора, в которой «привыкли торговать кожами, но никогда не вели дел с женскими сердцами»... Мимо! Что мне за дело до этого неинтересного человека! Потом какой-то дядя Смоль ведет странные разговоры с племянником в лавке морских принадлежностей. Вот наконец... старуха похищает девочку, дочь купца. Но и тут все дело ограничивается тем, что нищенка снимает с нее платье и заменяет лохмотьями. Она приходит домой, ее поят тепленьким и укладывают в постель. Жалкое и неинтересное приключение, к которому я отнесся очень пренебрежительно: такие ли приключения бывают на свеяе. Книга внушила мне решительное предубеждение, и я не пользовался случаями, когда брат оставлял ее.

Но вот однажды я увидел, что брат, читая, расхохотался как сумасшедший и потом часто откидывался, смеясь, на спинку раскачиваемого стула. Когда к нему пришли товарищи, я завладел книгой, чтоб узнать, что же такого смешного могло случиться с этим купцом, торговавшим кожами.

Некоторое время я бродил ощупью по книге, натываясь, точно на улице, на целые вереницы персонажей, на их разговоры, но еще не схватывая главного: струи диккенсовского юмора. Передо мною промелькнула фигурка маленького Павла, его сестры Флоренсы, дяди Смоля, капитана Тудля с железным крючком вместо руки... Нет, все еще неинтересно... Туте с его любовью к жилетам... Дурак... Стоило ли описывать такого болвана?

Но вот, перелистав смерть Павла (я не любил описания смертей вообще), я вдруг остановил свой стремительный бег по страницам и застыл, точно заколдованный:

«— Завтра поутру, мисс Флой, папа уезжает...»

— Вы не знаете, Сусанна, куда он едет? — спросила Флоренса, опустив глаза в землю».

Читатель, вероятно, помнит дальше. Флоренса тоскует о смерти брата. Мистер Домби тоскует о сыне... Мокрая ночь. Мелкий дождь печально дребезжал в заплаканные окна. Зловещий ветер пронзительно дул и стонал вокруг дома, как будто ночная тоска обуяла его. Флоренса сидела одна в своей траурной спальне и заливалась слезами. На часах башни пробило полночь...

Я не знаю, как это случилось, но только с первых строк этой картины — вся она встала передо мной как живая, бросая яркий свет на все прочитанное урывками до тех пор.

Я вдруг живо почувствовал и смерть незнакомого мальчика, и эту ночь, и эту тоску одиночества и мрака, и уединение в этом месте, обвеянном грустью недавней смерти... И тоскливое падение дождевых капель, и стон, и завывание ветра, и болезненную дрожь чахоточных деревьев... И страшную тоску одиночества бедной девочки и сурового отца. И ее любовь к этому сухому, жесткому человеку, и его страшное равнодушие...

Дверь в кабинет отворена... не более, чем на ширину волоса, но все же отворена... а все-

гда он запирался. Дочь с замирающим сердцем подходит к щели. В глубине мерцает лампа, бросающая тусклый свет на окружающие предметы. Девочка стоит у двери. Войти или не войти? Она тихонько отходит. Но луч света, падающий тонкой нитью на мраморный пол, светил для нее лучом небесной надежды. Она вернулась, почти не зная, что делает, ухватилась руками за половинки приотворенной двери и... вошла.

Мой брат зачем-то вернулся в комнату, и я едва успел выйти до его прихода. Я остановился и ждал. Возьмет книгу? И я не узнаю сейчас, что будет дальше. Что сделает этот суровый человек с бедной девочкой, которая идет вымалывать у него капли отцовской любви. Оттолкнет? Нет, не может быть. Сердце у меня билось болезненно и сильно. Да, не может быть. Нет на свете таких жестоких людей. Наконец, ведь это же зависит от автора, и он не решится оттолкнуть бедную девочку опять в одиночество этой жуткой, страшной ночи... Я чувствовал страшную потребность, чтобы она встретила наконец любовь и ласку. Было бы так хорошо... А если?

Брат выбежал в шапке, и вскоре вся его компания прошла по двору. Они шли куда-то, вероятно, надолго. Я кинулся опять в комнату и схватил книгу.

«...Если отец сидел за столом в углублении кабинета и приводил в порядок бумаги... Пронзительный ветер завывал вокруг дома... Но ничего не слышал мистер Домби. Он сидел, погруженный в свою думу, и дума эта была тяжелее, чем легкая поступь робкой девушки. Однако лицо его обратилось на нее, суровое, мрачное лицо, которому догорающая лампа сообщила какой-то дикий отпечаток. Угрюмый взгляд его принял вопросительное выражение.

— Папа! Папа! Поговори со мной...

Он вздрогнул и быстро вскочил со стула.

— Что тебе надо? Зачем ты пришла сюда?

Флоренса видела: он знал — зачем. Яркими буквами пламенела его мысль на диком лице... Жгучей стрелой впиалась она в отверженную грудь и вырвала из нее протяжный, замирающий крик страшного отчаяния.

Да припомнит это мистер Домби в грядущие годы. Крик его дочери исчез и замер в

воздухе, но не исчезнет и не замрет в тайниках его души. Да припомнит это мистер Домби в грядущие годы!..»

Я стоял с книгой в руках, ошеломленный и потрясенный и этим замирающим криком девушки, и вспышкой гнева и отчаяния самого автора... Зачем же, зачем он написал это?.. Такое ужасное и такое жестокое. Ведь он мог написать иначе... Но нет. Я почувствовал, что он не мог, что было именно так, и он только видит этот ужас, и сам также потрясен, как и я... И вот, к замирающему крику бедной одинокой девочки присоединяется отчаяние, боль и гнев его собственного сердца...

И я повторял за ним с ненавистью и жадной мщениа: да, да, да! Он припомнит, непременно, непременно припомнит это в грядущие годы...

Эта картина сразу осветила для меня, точно молния, все обрывки, так безразлично мелькавшие при поверхностном чтении. Я с грустью вспомнил, что пропустил столько времени... Теперь я решил использовать остальное: я жадно читал еще часа два, уже не отрываясь, до прихода брата... Познако-

мился с милой Полли, кормилицей, ласкавшей бедную Флоренсу, с больным мальчиком, спрашивавшим на берегу, о чем говорит море, с его ранней большой детской мудростью... И даже влюбленный Туте показался мне уже не таким болваном... Чувствуя, что скоро вернется брат, я нервно глотал страницу за страницей, знакомясь ближе с друзьями и врагами Флоренсы... И на заднем фоне все время стояла фигура мистера Домби, уже значительная потому, что обреченная ужасному наказанию. Завтра на дороге я прочту о том, как он наконец «вспомнит в грядущие годы»... Вспомнит, но, конечно, будет поздно-Так и надо!..

Брат ночью дочитывал роман, и я слышал опять, как он то хохотал, то в порыве гнева ударял по столу кулаком...

III

Наутро он мне сказал:

— На вот, снеси. Да смотри у меня: недолго.

— Слушай, — решил я спросить, — над чем ты так смеялся вчера?..

— Ты еще глуп и все равно не поймешь... Ты не знаешь, что такое юмор... Впрочем, про-

что вот тут-Мистер Туте объясняется с Флоренсой и то и дело погружается в кладезь молчания...

И он опять захохотал заразительно и звонко.

— Ну иди. Я знаю: ты читаешь на улицах, и евреи называют тебя уж мешигинер. Притом же тебе еще рано читать романы. Ну да этот, если поймешь, можно. Только все-таки смотри не ходи долго. Через полчаса быть здесь! Смотри, я записываю время...

Брат был для меня большой авторитет, но все же я знал твердо, что не вернусь ни через полчаса, ни через час. Я не предвидел только, что в первый раз в жизни устрою нечто вроде публичного скандала...

Привычным шагом, но медленнее обыкновенного, отправился я вдоль улицы, весь погруженный в чтение, но тем не менее искусно лавируя по привычке среди встречных. Я останавливался на углах, садился на скамейки, где они были у ворот, машинально подымался и опять брел дальше, уткнувшись в книгу. Мне уже трудно было по-прежнему следить только за действием по одной ниточ-

ке, не оглядываясь по сторонам и не останавливаясь на второстепенных лицах. Все стало необыкновенно интересно, каждое лицо зажило своею жизнью, каждое движение, слово, жест врезывалось в память. Я невольно захохотал, когда мудрый капитан Бенсби при посещении его корабля изящной Флоренсой спрашивает у капитана Тутля: «Товарищ, чего хотела бы хлебнуть эта дама?» Потом разыскал объяснение влюбленного Тутса, выпаливающего залпом: «Здравствуйте, мисс Домби, здравствуйте. Как ваше здоровье, мисс Домби? Я здоров, слава богу, мисс Домби, а как ваше здоровье?..»

После этого, как известно, юный джентльмен сделал веселую гримасу, но находя, что радоваться нечему, испустил глубокий вздох, а рассудив, что печалиться не следовало, сделал опять веселую гримасу и наконец опустился в кладезь молчания, на самое дно...

Я, как и брат, расхохотался над бедным Тутсом, обратив на себя внимание прохожих. Оказалось, что провидение, руководству которого я вручал свои беспечные шаги на довольно людных улицах, привело меня почти

к концу пути. Впереди виднелась Киевская улица, где была библиотека. А я в увлечении отдельными сценами еще далеко не дошел до тех «грядущих годов», когда мистер Домби должен вспомнить свою жестокость к дочери...

Вероятно, еще и теперь недалеко от Киевской улицы в Житомире стоит церковь св. Пантелеймона (кажется, так). В то время между каким-то выступом этой церкви и соседним домом было углубление вроде ниши. Увидя этот затишный уголок, я зашел туда, прислонился к стене и... время побежало над моей головой... Я не замечал уже ни уличного грохота, ни тихого полета минут. Как зачарованный, я глотал сцену за сценой без надежды дочитать сплошь до конца и не в силах оторваться. В церкви ударили к вечерне. Прохожие порой останавливались и с удивлением смотрели на меня в моем убежище... Их фигуры досадливыми неопределенными пятнами рисовались в поле моего зрения, напоминая об улице. Молодые евреи — народ живой, юркий и насмешливый — кидали иронические замечания и о чем-то назойливо спра-

шивали. Одни проходили, другие останавливались... Кучка росла.

Один раз я вздрогнул. Мне показалось, что прошел брат торопливой походкой и размахивая тросточкой... «Не может быть», — утешил я себя, но все-таки стал быстрее перелистывать страницы... Вторая женитьба мистера Домби... Гордая Юдифь... Она любит Флоренсу и презирает мистера Домби. Вот, сейчас начнется... «Да, вспомнит мистер Домби...»

Но тут мое очарование было неожиданно прервано: брат, успевший сходить в библиотеку и возвращавшийся оттуда в недоумении, не найдя меня, обратил внимание на кучку еврейской молодежи, столпившейся около моего убежища. Еще не зная предмета их любопытства, он протолкался сквозь них и... Брат был вспыльчив и считал нарушенными свои привилегии. Поэтому он быстро вошел в мой приют и схватил книгу. Инстинктивно я старался удержать ее, не выпуская из рук и не отрывая глаз... Зрители шумно ликовали, оглашая улицу хохотом и криками...

— Дурак! Сейчас закроют библиотеку, — крикнул брат и, выдернув книгу, побежал по

улице. Я в смущении и со стыдом последовал за ним, еще весь во власти прочитанного, провожаемый гурьбой еврейских мальчишек. На последних, торопливо переброшенных страницах передо мной мелькнула идиллическая картина: Флоренса замужем. У нее мальчик и девочка, и... какой-то седой старик гуляет с детьми и смотрит на внучку с нежностью и печалью.

— Неужели они помирились? — спросил я у брата, которого встретил на обратном пути из библиотеки, довольного, что еще успел взять новый роман и, значит, не остался без чтения в праздничный день. Он был отходчив и уже только смеялся надо мной.

— Теперь ты уже окончательно мешинг-инер... Приобрел почетную известность... Ты спрашиваешь: простила ли Флоренса? Да, да... Простила. У Диккенса всегда кончается торжеством добродетели и примирением.

Диккенс... Детство неблагоприятно: я не смотрел фамилию авторов книг, которые доставляли мне удовольствие, но эта фамилия, такая серебристо-звонкая и приятная, сразу запала мне в память...

Так вот как я впервые — можно сказать на ходу — познакомился с Диккенсом...

1912

Комментарии

«История моего современника» — крупнейшее произведение В. Г. Короленко, над которым он работал с 1905 по 1921 год. Писалось оно со значительными перерывами и осталось незавершенным, так как каждый раз те или иные политические события отвлекали Короленко от этого труда. «Вижу, что мог бы сделать много больше, — писал он 16 июня 1920 года в письме к С. Д. Протопопову, — если бы не разбрасывался между чистой беллетристикой, публицистикой и практическими мероприятиями вроде мултанского дела или помощи голодающим... но ничуть об этом не жалею... иначе не мог... Да и нужно было, чтобы литература в наше время не оставалась без участия в жизни».

Какое большое значение писатель придавал этому произведению, видно из того, что он, будучи уже смертельно больным, продолжал напряженно работать над четвертой книгой «Истории моего современника», стремясь продвинуть свое повествование возможно дальше. Свои воспоминания Короленко до-

вел до приезда из сибирской ссылки в Н.-Новгород, то есть до 1885 года; они захватывают шестидесятые, семидесятые и начало восьмидесятых годов прошлого столетия.

Роза Люксембург, которая переводила первый том «Истории моего современника» на немецкий язык, писала: «Это автобиография Короленко, высокохудожественное произведение и в то же время первоклассный культурно-исторический документ, который охватывает эпоху либеральных реформ Александра II, польское восстание, первые проявления оппозиционного и революционного движения в России и, таким образом, отражает в себе переходное время от старой крепостной России к современной капиталистической. При этом местом действия является Волынь, то есть та пограничная западная область, где своеобразно переплетаются русский, польский и украинский элементы» (письмо из тюрьмы к Луизе Каутской от 13 сентября 1916 года).

В своем предисловии, предпосланном первой книге «Истории моего современника», Короленко указывает, что ее нельзя считать

биографией, потому что он «не особенно заботился о полноте биографических сведений».

Первоначальная рукопись первой книги «Истории моего современника» не сохранилась. Она печаталась с января 1906 года по ноябрь 1908 года последовательно в журналах: «Современные записки» (январь 1906 г.), «Современность» (март и апрель 1906 г.) и затем в «Русском богатстве» (май 1906 г., январь 1907 г., февраль, март, август и ноябрь 1908 г.). Для отдельного издания («Русское богатство», 1909 г.) автором была произведена коренная переработка произведения. Сохранился экземпляр этой переработки, сделанной на оттисках «Русского богатства». Печатный текст оттиска, сменяясь вновь написанными страницами, а иногда — целыми обширными частями, изобилует многочисленными поправками. В позднейшие издания — 1911 года («Русское богатство») и 1914 года (т. VII Полного собрания сочинений, издание А. Ф. Маркса) — автор внес только некоторые сокращения и незначительные стилистические исправления. В издание 1914 года не попали последние исправления, сделанные Владими-

ром Галактионовичем. В 1914 году Короленко жил во Франции, в Тулузе, куда ему присылались корректуры его сочинений для издания А. Ф. Маркса. Однако по условиям военного времени корректурные оттиски первой книги «Истории моего современника» с поправками автора не могли быть им своевременно возвращены и не попали в печать. Получены они были из Тулузы уже после смерти Владимира Галактионовича, в 1923 году, вместе с другими материалами, оставленными там писателем при возвращении на родину в мае 1915 года. Эти исправления были введены впервые в издание «Academia» 1930–1931 годов.

Полностью все четыре книги «Истории моего современника» впервые были изданы в 1922 году (посмертное Собрание сочинений В. Г. Короленко, Госиздат Украины).

В приложении к настоящему тому даны две дополняющие основной текст главы — «Детская любовь» и «Мое первое знакомство с Диккенсом», — вполне законченные и обработанные, но не включенные автором в текст самого произведения.

Авторские примечания даны подстрочно в тексте. Там же даются и переводы иностранных слов. Все редакционные примечания помещены в конце каждого тома, причем пояснения к именам даются однажды и в дальнейшем не повторяются. Места, к которым даны редакционные примечания, отмечены в тексте звездочкой.

Предисловие написано в конце 1905 года и предпослано первым главам «Истории моего современника», появившимся в январской книжке «Современных записок» в 1906 году.

Мне мог идти тогда второй год — Владимир Галактионович родился 15 июля (ст. ст.) 1853 года в Житомире, Волынской губ.

...деду с отцовской стороны... — Афанасий Яковлевич Короленко — дед Владимира Галактионовича. Родился в 1787 году, умер около 1860 года в Бессарабии. Служил в таможенном ведомстве. Женат был на польке, Еве Мальской.

...в связи с Севастопольской войной — Восточная (или Крымская) война 1853–1856 го-

ДОВ.

...дяди Генриха — Генрих Иосифович Скуревич — юрист, судебный следователь («дядя Генрих» в рассказе «Ночью»). Умер в начале 70-х годов.

...старший брат — Юлиан Галактионович Короленко. Родился 16 февраля 1851 года, умер 25 ноября 1904 года. Учился сначала в житомирской, а затем в ровенской гимназии, но курса не окончил. В середине 70-х годов переехал в Петербург, где занимался корректорским трудом. Имел знакомства с участниками народнического движения и оказывал им некоторые услуги. 4 марта 1879 года был арестован вместе с братьями и заключен в Литовский замок, но 11 мая того же года освобожден и оставлен в Петербурге под негласным надзором полиции. Впоследствии жил в Москве, где в течение многих лет состоял корректором «Русских ведомостей» и доставлял в эту газету заметки для отдела московской хроники. Юлиан Галактионович обладал литературными способностями. В ранней молодости он увлекался писанием стихов, переводами и корреспондентской деятельностью

(см. в настоящем томе главу XXIX «Мой старший брат делается писателем»). Перевел вместе с Владимиром Галактионовичем (за общей подписью Кор-о) книгу Мишле «Loiseau» («Птица», изд. Н. В. Вернадского, Петербург, 1878). Владимир Галактионович ценил литературные способности брата и старался впоследствии побудить его к более серьезной литературной работе. В одном из писем в 1886 году В. Г. писал брату: «Мне приходит вопрос, почему бы тебе не присоединить к своим занятиям и литературу...» «Я все не могу забыть, что ведь первые толчки мысли, направившие меня по этому пути, я получил от тебя же, ты очень долго шел в этом направлении впереди меня, и я отлично помню, как некоторые из твоих мыслей, твои аргументы в горячих „харалужских“ спорах поднимали во мне целые вереницы новых идей. Литературные способности у тебя несомненны, и я думаю, теперь все еще можно ими воспользоваться». Однако, оставив довольно рано свои литературные увлечения, Юлиан Галактионович более к ним не возвращался.

...младший — Илларион Галактионович

Короленко (семейное прозвище его было «Перец», «Перчик»). Родился 21 октября 1854 года, умер 25 ноября 1915 года. Учился в ровенской реальной гимназии, а затем в петербургском строительном училище. В молодости занимался корректорским трудом. Готовился «идти в народ» и с этой целью обучался слесарному ремеслу. В 1879 году был одновременно с Владимиром Галактионовичем арестован и выслан в Глазов, Вятской губ., где отбывал административную ссылку в течение пяти лет. Живя в Глазове, занимался слесарным трудом, работая в организованной им с товарищем мастерской (см. об этом кн. II «Истории моего современника», главу «Жизнь в Глазове»). По возвращении из ссылки в конце 1884 года жил в Нижнем Новгороде, работая кассиром на паровой пристани. Впоследствии был инспектором Северного страхового общества, в связи с чем много разъезжал. Между прочим жил в Астрахани, был знаком с Н. Г. Чернышевским, которому помогал в составлении указателя к его переводу «Всеобщей истории» Вебера. При посредстве Иллариона Галактионовича В. Г. Короленко познакомился

с Чернышевским. Жил он и в Сибири, где у него было много связей среди политических ссыльных. Последние годы жизни провел на Кавказе, в Джанхоте, близ Геленджика. С братом Илларионом Владимир Галактионович был особенно дружен с самых ранних лет; впоследствии он старался отразить его образ в двух рассказах, посвященных воспоминаниям детства — «Ночью» и «Парадокс».

...присоединилась и сестра. — У В. Г. Короленко были две сестры. Старшая из них — Мария Галактионовна (Владимир Галактионович называл ее «Машинка») — родилась 7 октября 1856 года, умерла 8 апреля 1917 года. Окончила Екатерининский институт в Москве, затем училась на акушерских курсах в Петербурге. Вышла замуж за студента Военно-хирургической академии Николая Александровича Лошкарева и в 1879 году последовала за ним в ссылку, в Красноярск. По возвращении из ссылки семья Лошкаревых прожила несколько лет в Нижнем-Новгороде.

Вторая сестра В. Г. Короленко — Эвелина Галактионовна родилась 20 января 1861 года, умерла в сентябре 1905 года. Училась в гимна-

зии и затем окончила в Петербурге акушерские курсы. Когда в 1879 году почти все члены семьи Короленко были отправлены в ссылку, Эвелина Галактионовна, нуждаясь в заработке, занялась корректурой (привычный труд в семье Короленко) и в 1882 году вышла замуж за товарища по работе, Михаила Ефимовича Никитина.

Мой отец — Галактион Афанасьевич Короленко. Родился 26 декабря 1810 года в г. Летиचेво, Подольской губ. Умер 31 июля 1868 года в г. Ровно. Некоторые черты своего отца Владимир Галактионович воспроизвел в образе судьи в повести «В дурном обществе».

...миргородского казачьего полковника. — В семейном архиве Короленко сохранилась копия старинного документа, из которого видно, что упомянутый здесь миргородский казачий полковник назывался Иван Король. Жил в XVII веке.

...с сильно изогнутыми верхними линиями. — Ни одного портрета Галактиона Афанасьевича не существует; по семейному преданию, он никогда не фотографировался.

Васильчиков И. И. - киевский, волынский и

подольский генерал-губернатор в 1852–1862 годах.

«...дал судопроизводству удовлетворительное начало». — Городовые магистраты являлись судебнo-административными учреждениями, суду которых были подведомственны все уголовные и гражданские дела, возникавшие между лицами купеческого и мещанского сословия. Во время генерал-губернаторства кн. Васильчикова магистраты во всех городах Юго-Западного края, кроме Киева, были соединены с уездными судами.

...поляк-шляхтич средней руки — дед В. Г. Короленко с материнской стороны — Иосиф Казимирович Скуревич (1798–1853). В молодости служил в гусарах, вышел в отставку в чине подпоручика.

...четыре дочери и два сына. — Дочери: Каролина (1819–1894), в замужестве Туцевич. Эвелина (Ева), мать писателя, родилась в 1833 году в местечке Степань, Волынской губ., Ровенского уезда. Умерла 30 апреля 1903 года в Полтаве, в семье В. Г. Короленко. Анжелика родилась около 1835 года, умерла в годы первой мировой войны. Вышла замуж за учителя

Житомирской гимназии Заблоцкого (выведен в «Истории моего современника» под именем Лотоцкого). Впоследствии жила с детьми во Львове, где одно время издавала детский журнал на польском языке. Елизавета (родилась в 1840 году) жила с начала 90-х годов в семье Владимира Галактионовича. Умерла в 1927 году в Полтаве. Сыновья: Брунон (занимался сельским хозяйством, умер в 90-х годах) и Генрих (о нем см. выше прим. к стр. 12).

...уступил настояниям своей жены — бабушки писателя, Агнии Скуревич (рожд. Рыхлинской). Умерла в конце 80-х годов в глубокой старости, 94 лет.

...брак состоялся. — Брак Галактиона Афанасьевича Короленко с Эвелиной Иосифовной Скуревич состоялся в 1847 году. Ввиду молодости новобрачной она была оставлена мужем еще на год в родительском доме.

...лучистыми серо-голубыми глазами. — Портретов молодой Эвелины Иосифовны не имеется. Все сохранившиеся фотографии относятся уже к позднейшим годам.

Ганеман Самуэль (1755–1843) — немецкий врач, основатель гомеопатии.

...выбегавшем на небольшую площадь. — Здесь речь идет о Житомире, где семья Короленко прожила до 1866 года.

...обломовским томлением и скукой... — Воспоминания об этих послеобеденных часах на раскаленном солнцем дворе и о развлечениях и играх, какие изобретали для себя два мальчика, послужили материалом для рассказа «Парадокс».

...должна была присматривать и за нами. — Образ этой няньки нарисован в рассказе «Ночью».

...разгоняющим эти страхи уже одной своей улыбкой неверия и превосходства. — Образ молодой матери Владимира Галактионовича появляется в рассказе «Парадокс», написанном раньше «Истории моего современника». Личностью и отчасти судьбой Эвелины Иосифовны внушен также образ Эвелины в «Слепом музыканте». Автор, давший ей внешность и даже имя своей матери, так характеризует свою героиню: «Есть натуры, как будто заранее предназначенные для тихого подвига любви, соединенного с печалью и заботой, — натуры, для которых эти заботы о чужом горе

составляют как бы атмосферу, органическую потребность».

Патерики (то есть книги «отцов» или об «отцах») — сборники, состоящие из повествований о жизни подвижников какой-нибудь обители или из поучений этих подвижников. «Печерский патерик», названный так по месту его происхождения (Киево-Печерский монастырь), — один из известнейших памятников древнецерковной письменности. Первое печатное издание патерика появилось в Киеве в 1635 году.

...кучер Иохим — прототип Иохима в повести Короленко «Слепой музыкант».

...приезжал молодой царь Александр II. — Александр II возвращался тогда из заграничной поездки и был в Житомире по пути в Киев.

Кармелюк (1784–1835) — выдающийся руководитель борьбы крестьян против помещиков на Подолии в 30-х годах XIX века. Бывший крепостной (уроженец Литинского уезда, Подольской губ.), он отдан был помещиком за «непокорный нрав» в солдаты. Кармелюк бежал из армии, был сослан в Сибирь, откуда

тоже бежал и стал во главе организованных им партизанских отрядов, громивших панов, богачей и ненавистных народу чиновников.

...впечатлениями ближайшего яркого дня... — В архиве Короленко сохранилась рукопись незаконченной повести «На рассвете», относящаяся к 1887 году, в которой автор в беллетристической форме передает воспоминания своего детства. Из нее Короленко напечатал только одну главу «Щось буде» с подзаголовком «Из неоконченной повести „На заре“» («Киевский сборник в пользу пострадавших от неурожая», Киев, 1892).

...кажется, Коржениовского. — Повесть «Фомка из Сандомира» написана не Коржениовским, а другим польским писателем — Яном Грегоровичем (1818–1891).

...приходился как-то отдаленно сродни. — В первоначальной редакции этой главы (журнал «Современность», 1906, № 1) имеется следующее описание внешности Дешерта (названного там измененным именем — Дегерт): «Человек был огромного роста, очень худой, с длинными усами и большими мрачными глазами. Платье на нем обвисало, точно на ске-

лете, брови почти всегда были сдвинуты, и на лице постоянно стояло выражение недовольства и как бы презрения к кому-то, легко переходившее в вспышки бурного гнева».

В день торжества... — Объявление манифеста об «освобождении» крестьян состоялось в Петербурге и Москве 5 марта 1861 г., в других городах позже — от 7 марта до 2 апреля. В Житомире манифест был объявлен 11 марта.

Немцевич Юлиан-Урсин (1758–1841) — польский писатель, поэт и политический деятель, сподвижник Костюшко.

...он казался квадратным и грузным. — Некоторые черты внешнего облика Валентина Рыхлинского даны в образе дяди Максима в «Слепом музыканте».

Князь Иеремия Вишневецкий (1612–1651) — польский магнат, противник Богдана Хмельницкого, ярый распространитель католицизма.

...держаться веры отцов, хотя бы пришлось терпеть за это... — Об этом эпизоде Короленко вспоминает в статье «Вера отцов» («Русские записки», 1916, № 9).

...слышал от сестер отца — в формуляр-

ном списке Афанасия Яковлевича Короленко указана только одна его дочь Александра и два сына — Галактион и Никтополеон.

Сигизмунд III (1566–1632). — В его правление произошел бунт шляхты против короля.

Конецпольский Станислав (1596–1646) — польский гетман.

Не нужно было бунтоваться... — После польского восстания 1830–1831 годов Польша была лишена конституции 1815 года.

«Boże, coś Polskę przez tak długie wieki...» — первая строка песни, принадлежащей перу неизвестного поэта, которая была особенно популярна в Польше во время восстания 1863 года — «Боже, ты, который в течение стольких веков окружал Польшу сиянием могущества и славы...»

...три сына Рыхлинских — Феликс Валентинович — студент-медик, участник польского восстания. Умер от раны на этапе под Красноярском, по дороге в ссылку. Ксаверий Валентинович — за участие в восстании был сослан на каторгу в Нерчинск. В конце 70-х годов получил право вернуться на родину. Умер в 1904 году. Станислав Валентинович — за

участие в восстании был сослан на каторгу, которую отбывал вместе с другими поляками в Нерчинском округе (Александровский завод), куда позднее привезен был Н. Г. Чернышевский. Своими воспоминаниями о Чернышевском Рыхлинский поделился с Короленко во время их свидания в Иркутске в 1881 году (см. об этом кн. III «Истории моего современника», гл. «Стасик Рыхлинский и история его воспоминаний»). Умер в 1904 году в Иркутске.

Ружицкий Эдмунд — бывший полковник генерального штаба. Будучи переведен с Кавказа в Житомир, принял участие в подготовке польскою восстания. В местечке Полонном Волынской губ. в апреле 1863 года Ружицким был собран большой повстанческий отряд. В мае 1863 года отряд Ружицкого был разбит русскими войсками.

Мазепа Иван Степанович (1644–1709) — украинский гетман. Во время Северной войны, когда шведские войска Карла XII вторглись на территорию Украины, открыто изменил Петру I и перешел на сторону шведов. После Полтавской битвы (1709) бежал вместе с Карлом в Турцию.

Жолкевский Станислав (1547–1620) — польский гетман. Жестоко подавил (1596) казачье восстание на Украине, вспыхнувшее под предводительством Наливайки и Лободы. В 1610 году предводительствовал войсками польских интервентов, вторгшихся в Россию.

Жандармы-вешатели — исполнители распоряжений тайного центрального комитета, руководившего польским восстанием. Они захватывали и казнили тех лиц, в которых комитет усматривал врагов восстания.

...кажется. Стройновского. — По-видимому, это был не Стройновский, а Петр Хойновский — офицер генерального штаба. Хойновский принимал участие в подготовке польского восстания 1863 года.

Александр Гроза (1807–1875) — польский писатель.

Ян Хризостом Пасек (умер около 1705 г.) — польский шляхтич, участник нескольких войн во второй половине XVII века. Автор мемуаров, охватывающих период с 1656 по 1688 год.

«Вестник Юго-Западной и Западной России» — журнал крайне консервативного на-

правления, выходил в Киеве с 1 июня 1862 г. ежемесячно; с сентября 1864 по 1871 год — в Вильно под названием «Вестник Западной России».

«Про Чуприну та Чортовуса». — В авторском экземпляре первой книги «Истории моего современника» (изд. 2-е, «Русское богатство», 1911) Владимиром Галактионовичем сделано к этому месту примечание, что настоящее заглавие этой брошюры Кулиша — «Січові гості».

Пустовойтова Анна (1838–1881) — дочь русского генерал-майора Феофила Пустовойтова и польки. Участвовала в польском восстании. В 1863 году была адъютантом Лянговича, одного из руководителей восстания.

Пирогов Николай Иванович (1810–1881) — известный ученый, врач и педагог.

...решительно высказывался против розог. — Здесь имеются в виду статьи Н. И. Пирогова «Вопросы жизни», первая из которых была помещена в 1856 году (а не в 1858, как указывает Короленко) в «Морском сборнике» № 9.

Добролюбов Николай Александрович (1836–1861) — великий русский критик, пуб-

лицист, революционный демократ. В журнале «Современник» (1857, кн. 5-я) Добролюбов за подписью Н. Л. поместил статью «Несколько слов о воспитании». В этой статье Добролюбов приветствует и развивает мысли, высказанные Пироговым в «Вопросах жизни».

...таксированы такими-то степенями наказаний. — «Правила о проступках и наказаниях учеников гимназий Киевского учебного округа» напечатаны в «Журнале для воспитания», № 11, 1859 г.

...ответил... статьей, полной горечи и сарказма — статья Н. А. Добролюбова «Всероссийские иллюзии, разрушаемые розгами», напечатанная за подписью Н-бов в журнале «Современник» (1860, кн. 1-я).

В первоначальном тексте («Русское богатство», 1906, № 5) подле имени *Мина* проставлено в скобках «Миних».

«Размышление гимназиста лютеранского вероисповедания и не Киевского округа». — Это сатирическое стихотворение Добролюбова, точное название которого не «Размышление...», а «Грустная дума гимназиста...» и т. д., первоначально было напечатано в журнале

«Современник» за 1860 год, книга третья в отделе «Свисток» № 4.

Каракозов Дмитрий Владимирович (1840–1866). — В начале 60-х годов был членом кружка учащейся молодежи («Организация»), во главе которого стоял его двоюродный брат Ишутин. 4 апреля 1866 года Каракозов стрелял в Петербурге в Александра II, но промахнулся; 3 сентября того же года Каракозов был повешен.

Бабушка (по матери) — Агния Скуревич.
Тетки — Анжелика и Елизавета Иосифовны Скуревич.

...переезд к отцу в Ровно. — В первоначальной редакции этой главы («Русское богатство», 1906, № 5) в этом месте сказано: «Но зато от этого года у меня осталось воспоминание сплошного бродяжничества. Кажется, не было ни одного оврага за рекой, ни одной скалы или мыса, которых мы не узнали. Я даже отдалился от всего класса, сблизившись только с такими же беззаботными шатунами, как я и мои два брата. Товарищи по классу смотрели с удивлением, как я порой наскоро пробежал заданное по чужой книге и выходил от-

вечать. Они покачивали головами, но я и теперь, оглядываясь на этот год, не знаю, что было лучше: пятичасовое сиденье в классе и послеобеденная зубристика или наше беззаботное бродяжничество. И даже... порой мне кажется, что последнее дало мне гораздо больше. Тем не менее я чувствовал, что гимназия от меня ушла и что мне уже не догнать товарищей, если все пойдет по-старому. Во мне явилось какое-то острое нерасположение к гимназии, к учителям, к надзирателям, к самым стенам класса... Я стал понимать настроение Крыштановича, и, кто знает, чем бы это могло закончиться, если бы в это время отец уже не переехал в Ровно и не решил перевезти туда же и семью».

В середине июня — 1866 года.

Иль чума меня подцепит, Иль мороз окостенит и т. д. — строки из стихотворения А. С. Пушкина «Дорожные жалобы» (1829).

Любомирские — польский княжеский род, восходящий к началу XVI века. В рассказе Короленко «В дурном обществе», в основу которого положены детские воспоминания о Ровно, есть описание старого замка Любомир-

СКИХ.

«Зерцалом» называлась трехгранная призма, помещавшаяся на столе в присутственной комнате суда. На трех сторонах призмы наклеены были для напоминания и назидания печатные экземпляры Петровских указов: 17 апреля 1722 г. — «О хранении прав гражданских», 21 января 1724 г. — «О поступках в судебных местах» и 22 января 1724 г. — «О государственных уставах и их важности».

...безответная среда только гнулась, как под налетом вихря. — Изображая нравы ровенского уездного суда, автор писал в первоначальной редакции («Русское богатство», 1907, № 1): «Взятничество, конечно, процветало: о разных лицах из судебного персонала мы знали, как именно они „принимают хабары“. Один закладывал руку горсточкой назад, и просители клали деньги в горсточку. Другому надо было „незаметно“ положить на стол, и он нечаянно прикрывал даяния бумагами, и т. д., и т. д. У каждого из сколько-нибудь влиятельных чиновников были свои „привычки“, и просители обязывались знать их... Я не знаю, сколько жалованья получали под-

судки. Отец, кажется, получал около восьмидесяти рублей и тогда на эти деньги можно было прожить даже с такой семьей, как наша. Но отец был страстный любитель преферанса и играл хотя по маленькой, но всегда несчастливо. Часть жалованья еще он тратил на „гамбургские лотереи“, поэтому мать всегда билась, чтобы свести концы с концами. Подсудки, по большей части, жили лучше нашей семьи, а секретарь дворянской опеки, подчиненный отца, получавший восемнадцать рублей в месяц, держал лошадей и коляску и выписывал для жены шляпки и костюмы из Варшавы».

Толстой Д. А. (1823–1889) — министр народного просвещения с 1866 по 1880 год. Позднее, с 1882 года до самой смерти был министром внутренних дел и шефом корпуса жандармов.

«Сын отечества» — ежедневная газета, выходившая в Петербурге с 1862 по 1900 год.

Катков М. Н. (1818–1887) — реакционный публицист, злобный враг революции и всякого общественного прогресса, один из главных вдохновителей крайней реакции.

...предстоит изучать ненавистную математику... — В первоначальной редакции («Русское богатство», 1907, № 1) читаем: «Как бы то ни было, — еще до конца гимназического курса личности Каткова и Толстого были вполне определенными объектами первой моей „политической“ ненависти за пределами школьного мира». Отношение Короленко к Каткову всю жизнь оставалось резко отрицательным. Особенно яркое выражение нашло себе это отношение в письме его к Н. Ф. Хованскому (редактору газеты «Саратовский дневник»), поместившему хвалебный некролог по поводу смерти Каткова. В этом письме (август 1887 г.) Короленко называет Каткова «олицетворением всего худшего в наши тяжелые дни», «главным прокурором от инквизиции», «главным и талантливейшим из доносчиков на всякое честное и свободное слово», «гасильником мысли».

...Лотоцкий — в действительности — Заблоцкий.

..женился на одной из моих теток — на Анжелике Иосифовне Скуревич (о ней см. выше).

Песталоцци Иоганн-Генрих (1746–1827) — знаменитый швейцарский педагог.

...*Степана Ивановича Тысса* — настоящая его фамилия — Цысс.

...единственным его ресурсом в борьбе за порядок и дисциплину. — Настоящее имя директора было Яков Степанович Суцевский. В архиве Короленко имеется письмо сына Суцевского, Сергея Яковлевича, из которого видно, что Владимир Галактионович писал ему и послал первую книгу «Истории моего современника». Выражая благодарность за книгу, Суцевский писал: «История современника так интересна, что нельзя оторваться... Личности учеников и учителей оживают перед глазами, и некоторые из них освещаются новым светом». По поводу образа своего покойного отца он пишет: «Вы говорили, многоуважаемый Владимир Галактионович, что написанное Вами об отце моем может вызвать неудовольствие наше. Нет, ничего. Что же делать, если это правда?»

Истории этой *детской любви* писатель посвятил отдельную главу, не введенную им в печатный текст (см. в приложении к настоя-

цему тому «Детская любовь»).

...Курцевич... *Казимир* — в действительности Казимир Туцевич (1806–1878). Был женат на Каролине Иосифовне Скуревич (о ней см. выше).

«Литовская погоня» — литовский национальный герб. На нем изображен всадник, скачущий на коне.

Ян Курцевич — в действительности Ян Туцевич, родной брат капитана Казимира Туцевича.

Брат моей матери — Генрих Иосифович Скуревич.

...студент Киевского университета. — Некоторые черты этого студента воспроизведены в образе дяди Михаила в рассказе «Ночь».

Сучков Владимир Николаевич (род. в 1852 г.) — гимназический товарищ Владимира Галактионовича, позднее товарищ его по Технологическому институту и по Петровской академии (см. кн. II «Истории моего современника»).

Хочется... сделать что-нибудь такое, что... наполнило бы все это здание грохотом,

шумом, тревогой... — В первоначальной редакции этой главы («Русское богатство», 1908, № 3) автор вспоминает: «Впоследствии, когда я был уже студентом и давал уроки, одна добрая старушка с недоумением рассказала мне, что с ее племянником, недавно привезенным в Москву из полтавской деревни, творится что-то неладное. Мальчик внезапно выбегает из комнаты на крыльцо и в течение нескольких минут кричит диким голосом. Если его пытаются увести в комнаты, — он рвется, кусается, бьет ногами... Если его не трогают, — он выкричится и тихо возвращается в комнаты... Старушка собиралась пригласить доктора, думая, что это начало какой-нибудь нервной болезни. Во время самого рассказа с мальчиком случился этот припадок: он стремительно выбежал на крыльцо и, остановившись на верхней ступеньке, стал кричать во весь голос, кривляясь и размахивая руками. Потом, смирный и несколько сконфуженный, вернулся и прошел в свою комнату. В квартире наступила гробовая тишина, нарушаемая только тиканием маятника да глухими призрачными отголосками уличного движения

сквозь двойные рамы... В моей памяти внезапно встали коридоры нашей гимназии, и мне показалось, что я понял: это была реакция живой природы юного степняка на угнетающую тишь, стоявшую в квартире, с едва теплящимися лампадками и едва шевелившимися двумя старушками... Весь наш городок был, в сущности, такой же сонной квартирой, в которую едва просачивались откуда-то отголоски далекой жизни, а гимназия была точно одна из заводей наших заросших тиной прудов».

Стрельников Ф.Е. - генерал, военный прокурор, составил карьеру киевскими политическими процессами 1879 и 1880 годов, окончившимися рядом казней, в том числе Осинского и Розовского. Убит в 1882 году в Одессе.

Разовский (Розовский) Иосиф Исаакович (род. около 1860 г.) — студент Киевского университета. Арестован в феврале 1880 года в Киеве с литературой и воззваниями «Народной воли» и казнен в марте того же года.

Все мы назначены царем, — возразил отец. — В тексте «Русского богатства» (1908, № 3) это место имело следующее продолжение:

«Никаких дурных последствий для Долгоногова эта история, кажется, не имела. Некоторое время, года еще, помнится, полтора, он оставался у нас, а затем был переведен, если не ошибаюсь, в Москву, то есть получил значительное повышение. Времена тогда были глухие, но „законные основания“ имели тогда значение гораздо большее, чем впоследствии. Министерство внутренних дел не успело еще поглотить все остальные ведомства, как в наши нынешние времена...»

...Достоевскому пришлось стоять у эшафота в ожидании казни. — Федор Михайлович Достоевский (1821–1881) — в молодости был участником революционного кружка М. В. Буташевича-Петрашевского. В числе других членов кружка 23 апреля 1849 года был арестован, заключен в Петропавловскую крепость, затем судим вместе с другими петрашевцами военно-судной комиссией и приговорен к смертной казни. Осужденные были 22 декабря 1849 года привезены из Петропавловской крепости на Семеновский плац, поставлены к столбам, на них надели саваны, прочли им смертный приговор, солдатам приказано бы-

ло взять на прицел — и только в последнюю минуту им объявили изменение приговора. Достоевский получил взамен казни четыре года каторги, которую отбывал в омском остроге (описанном им в «Записках из Мертвого дома»), а затем был переведен в Семипалатинск рядовым.

Гарный Луг — в действительности — Харалуг Ровенского уезда Межерической волости.

...сын капитана, Саня. — Александр Казимирович Туцевич (род. в 1856 г.). Учился в ровенской гимназии, но курса не окончил. В 1877 году поступил наборщиком в одну из петербургских типографий. В 1879 году жил в квартире Короленко и 4 марта того же года был арестован вместе со всеми мужчинами семьи.

...носившей характерное название Стопановки. — Здесь имеется в виду очерк писателя Григория Петровича Данилевского (1829–1890) «Село Сорокопановка» (Из воспоминания депутата***) (1869).

«Застенком» называлась в Польше (в Полесье, на Волыни) немеренная земля, прилегавшая к полям, сенокосам и другим угольям

села и отделенная от них какими-нибудь естественными границами. Расчистка и обработка застенков предоставлялась каждому жителю села на правах заимки. Мелкая шляхта, заселявшая застенки и сама их обрабатывавшая, называлась «застойной шляхтой».

Мицкевич Адам (1798–1855) — великий польский поэт. Его поэма «Пан Тадеуш» была написана в 1832–1834 годах.

Конфедерациями в Польше назывались союзы шляхты для защиты ее прав и привилегий.

«*Речь Посполитая*» — название установившегося в Польше со второй половины XVI века государственного строя — феодально-крепостнической, шляхетской выборной монархии. После третьего раздела Польши (1795) существование Речи Посполитой прекратилось.

...nobilitatis harnolusiensis — (иронически) гарнолужского дворянства.

Двоюродный брат — Владимир Казимирович Туцевич (1849–1921) — сын капитана Туцевича, артиллерист. Окончил кадетский корпус и московское Александровское военное училище. В молодости служил в Крон-

штадте, где одно время вместе с ним жила семья Короленко (мать и сестры Владимира Галактионовича), переехавшая сюда из Ровно. В бытность свою в Кронштадте (1876–1877) Владимир Галактионович очень сблизился со своим двоюродным братом. Впоследствии они встречались редко. Умер В. К. Туцевич в Одессе.

Минин Николай Гаврилович (умер в 1861 г.) — составитель «Краткого учебника русского языка» и «Учебника теории словесности».

Дюма Александр (Дюма-отец) (1803–1870) — французский романист и драматург. Наибольшей популярностью пользовались его исторические романы «Три мушкетера», «Граф Монте-Кристо», «Королева Марго» и др.

Монтенен Ксавье де (1824–1902) — французский романист.

Габорио Эмиль (1835–1873) — французский писатель, автор многих так называемых «уголовных» романов.

«*Воскресный досуг*» — иллюстрированный журнал, выходивший с 1863 года еженедель-

но в Петербурге. В 1873 году его заменила «Иллюстрированная неделя».

«Солдатское чтение» — вероятно, «Солдатская беседа», — журнал, основанный в 1858 году. Выходил по шесть книг в год. Прекратился в 1867 году.

«Всемирный путешественник» — иллюстрированное издание, выходившее в Петербурге с 1867 года еженедельными выпусками. В 1878 году выход журнала прекратился.

Ливингстон Давид (1813–1873) — английский путешественник по Африке. Его сочинение — «Путешествие Давида Ливингстона по внутренней Африке с описанием замечательных открытий в Южной Африке, совершенных с 1840 по 1856 год».

Кук Джемс (1728–1779) — английский мореплаватель. Его сочинение — «Описание жизни и всех путешествий английского мореходца капитана Кука».

Араго Жак (1790–1855) — французский писатель и путешественник.

Беккер Самуэль-Уайт (1821–1893) — исследователь Африки. Первое свое путешествие совершил в 1861–1865 годах.

Святогорец (1814–1853) — под этим именем известен в духовной литературе иеросхимонах Сергей (бывший воспитанник вятской семинарии Семен Авдиевич Веснин). Приняв монашество в 1845 году, Святогорец отправился на Афон, где и остался. Написал «Письма к друзьям своим о святой горе Афонской».

Евгений Сю (1804–1857) — французский писатель.

...не мог нарисовать самого простого пейзажа с натуры. — Короленко никогда специально не учился рисовать, но его значительное дарование в этой области позволило ему впоследствии делать карандашные наброски с натуры. Ими заполнялись его записные книжки вместе с непосредственными записями впечатлений и встреч, составлявшими материал для литературных работ писателя.

...«Гайдамаков» Шевченка... — Поэма «Гайдамаки» впервые напечатана в 1841 году. В 1847 году, после ареста и ссылки Шевченко, сочинения его были запрещены. Они распространялись тайно в бесчисленных списках, ходивших по рукам.

Запорожская сечь была окончательно уни-

чтожена Екатериной II в 1775 году. Часть казаков бежала на Дунай и основала Задунайскую сечь, просуществовавшую до 1828 года.

Чайковский Михаил Станиславович (1808–1886) — польский писатель, участник польского восстания 1830 года. В 1851 году поступил на турецкую службу, под именем Садык-паши, участвовал в Восточной войне 1853–1856 годов, мечтая с помощью Турции добиться восстановления независимости Польши. В 1873 году вернулся в Россию, пропагандировал сближение поляков с русским царизмом. Сотрудничал в реакционных газетах.

...поучениями Мономаха. — Владимир Мономах (1053–1125) — великий князь киевский. В «Поучениях», написанных им для сыновей, заключаются его нравственные наставления и опыт по управлению государством.

...письмами Заточника. — «Слово Даниила Заточника» — литературный памятник XIII века. Автор его (личность которого не установлена) — уроженец южного Переяславля, бывший приближенный своего князя (одного

из сыновей Владимира Мономаха). Подвергшись опале и будучи отправлен в далекую ссылку, он в своем послании к князю просит о помиловании и вместе с тем подвергает критике существующий порядок вещей, при котором народ страдает от угнетающих его княжеских тиунов. Обличительный характер «Слова» придает ему значение памфлета.

Бурлак робить, заробляє и т. д. — украинская народная песня.

Гетьмани, гетьмани! Як би то ви встали и т. д. — Шевченко «Гайдамаки».

У труби затрубили, У дзвони задзвонили и т. д. — Шевченко «Кобзар». Из стихотворения «У неділеньку у святую...»

Не вернуться запорожці и т. д. — Шевченко «Кобзар» — «До Основьяненка».

Гонта Иван — один из главных участников гайдамацкого восстания 1768 года.

Будь проклята мати, Та проклята католичка и т. д. — Шевченко «Гайдамаки».

Не заріже батько сина и т. д. — Шевченко «Кобзар» — «Гоголю».

...в некоторых органах украинской печати. — По поводу «Истории моего современни-

ка» писали: О. Белоусенко — «Шевченко в освітленні російського письменника» («Рада», Київ, 1908, № 87); Сергій Ефремов — «З нашого життя» («Рада», Київ, 1910, No№ 41, 47, 60, 65, 82). Его же «Фатальний вузол», відбиток з «Ради», видавництво «Вік», Київ, 1910.

...по одному делу с Костомаровым и Шевченко. — Антонович Платон Александрович (1812–1883) привлекался, будучи студентом /Московского университета, по делу Сунгурова, а не по делу Кирилло-Мефодиевского братства, в котором участвовали историк Н. И. Костомаров и поэт Т. Г. Шевченко.

...Сергей Тимофеевич Балмашевский. — Настоящее имя его — Григорий Иванович Тимошевский.

Тредьяковский Василий Кириллович (1703–1769) — писатель, теоретик словесности и стихотворец.

...циркуляр «о кухаркиных детях» — циркуляр министра просвещения Делянова, предписывавший не принимать детей трудящихся классов в средние учебные заведения, был издан в 1887 году.

Делянов И. Д. (1818–1897) министр народно-

го просвещения с 1882 года. В 1898 году Владимир Галактионович писал в своем дневнике по поводу известия о его смерти: «В конце старого года умер Делянов, уже много лет лежавший гнилой колодой поперек дороги народного образования в России. Только у нас и возможны десятки лет министерства выжившего из ума и впавшего в детство человека...»

...умер незаметным... преподавателем... на окраине. — Вениамин Васильевич Авдиев умер в 1895 году в Тифлисе, где он был преподавателем словесности в реальном училище. По свидетельству знавших его, он «...до конца своей жизни сохранил ту же яркую оригинальность личности, какая была отличительным его признаком в молодости...» (из письма Адама Фиалковского к В. Г. Короленко от 27 апреля 1916 г.).

«Тайны мадридского двора. Изабелла, бывшая королева. Испании» — сочинение Георга Ф. Борна.

«Похождения Рокамболя» — роман Понсон дю Террайля (1829–1871).

...осталось в моей памяти в виде ярких, но бессвязных обрывков. — Подробно об этом от-

рывочном чтении Короленко рассказал в очерке «Мое первое знакомство с Диккенсом» (см. приложение к настоящему тому).

«*Отечественные записки*» — литературный и политический журнал. С 1839 по 1868 год его издавал А. А. Краевский. С 1839 по 1846 год в журнале работал В. Г. Белинский. В 1868 году журнал перешел к Некрасову, который редактировал его совместно с М. Е. Салтыковым-Щедринным и Г. З. Елисеевым. Являлся влиятельнейшим передовым органом литературы и общественной мысли. Закрыт царским правительством в 1884 году за «вредное направление».

Сеченов Иван Михайлович (1829–1905) — великий русский физиолог.

Молешотт Яков (1822–1893) — физиолог, представитель вульгарно-механистического материализма в естествознании.

Шлоссер Фридрих (1776–1861) — немецкий историк, автор «Всемирной истории», «Истории XVIII века» и др.

Льюис Джордж (1817–1878) — английский писатель, пропагандист позитивной философии Огюста Конта.

Бокль Генри-Томас (1821–1862) — английский историк-позитивист, автор книги «История цивилизации в Англии».

Дарвин Чарлз (1809–1882) — знаменитый естествоиспытатель, своей теорией о происхождении видов произвел переворот в естествознании.

Трубников К. В. (1829–1907) — журналист, издатель и редактор ряда газет.

«*Биржевые ведомости*» — газета, основанная К. В. Трубниковым, выходила в Петербурге с 1861 по 1879 год. Впоследствии название «Биржевых ведомостей» носила бульварного типа газета С. М. Проппера, выходившая в Петербурге с конца 1880 по 1917 год.

«*Голос*» — ежедневная умеренно-либеральная газета, выходившая в Петербурге с 1863 по 1884 год под редакцией А. А. Краевского.

Милль Джон-Стюарт (1806–1873) — английский буржуазный философ-идеалист, экономист. Первое русское издание его «Логики» вышло под редакцией и с примечаниями П. Л. Лаврова в 1865 году.

Золя Эмиль (1840–1902) — французский романист, один из самых ярких представителей

натуралистической школы.

Карлейль Томас (1795–1881) — английский писатель, историк. Рассказ о графе д'Артуа приводится в его «Истории французской революции».

...известного в то время поэта-переводчика — Михаловского Дмитрия Лаврентьевича (1828–1905). Переводил Байрона («Мазепа» и др.), Шекспира («Юлий Цезарь»), Лонгфелло («Песнь о Гайавате») и др.

«Дело» — ежемесячный, научно-литературный журнал демократического направления, выходивший в Петербурге с 1866 по 1888 год.

«Искра» — сатирический журнал революционно-демократического направления, основанный в 1859 году в Петербурге известным карикатуристом Н. Л. Степановым и поэтом В. С. Курочкиным. Закрыт в 1873 году «за неуместные и превратные суждения о правительственной власти».

...продернуть того или другого. — В первоначальной редакции («Русское богатство», 1908, № 10) это место, заключающее характеристику старшего брата, имеет следующее

продолжение: «О нем рассказывали анекдоты. Как истинный „ученый“, он был очень рассеян. Однажды, приглашенный шафером на свадьбу дочери станового пристава, он подвел невесту к алтарю и стал с нею рядом, великолепный, видный, во фраке и с цветком в петлице. Ксензд принял его за жениха и стал уже проделывать первоначальные обряды. Жених, фигурка малозаметная, скромно стоявший сзади, обеспокоился и дернул брата за фалду. Тот, в это время о чем-то глубоко задумавшись, только досадливо отмахнулся рукой. Жених повторил свой маневр. Брат опять отмахнулся. Так продолжалось, пока ксензд не обратил внимания на эту возню. „Да кто же у вас жених? — спросил он. — Иезус-Мария! Ведь я чуть не обвенчал вас с чужой невестой...“ — „Га! Все знаменитые люди были рассеянны“, — комментировал капитан. И вообще брат, особенно вне семьи, был окружен атмосферой общего интереса и признания».

Бронислав Янковский — под этим именем выведен Станислав Григорьевич Франковский, впоследствии муж Жозефины Туце-

вич — двоюродной сестры Короленко.

У капитана были три дочери — Казимира Казимировна (род. в 1852 г.), по мужу Богдановская; Жозефина Казимировна (род. в 1854 г.), по мужу Франковская, и Софья Казимировна (род. в 1860 г.), по мужу Остринская.

Гулливер — герой знаменитого сатирического романа Джонатана Свифта (1667–1745) «Путешествие Гулливера».

Пуше Феликс (1800–1872) — французский врач и естествоиспытатель. В 1858 году Пуше представил в Парижскую академию наук работу, в которой доказывал возможность самозарождения микроорганизмов. Академия назначила тему на премию: «Пролить удачными опытами новый свет на вопрос о самозарождении». Тогда Луи *Пастер* (1822–1895) также занялся исследованиями этого вопроса, причем пришел к выводам, прямо противоположным. Это вызвало длительную полемику между двумя натуралистами.

...доставляло победу материализму. — Имеется в виду статья Писарева «Подвиги европейских авторитетов».

Геккель Эрнст (1834–1919) — немецкий уче-

ный, зоолог, последователь Дарвина.

Бюхнер Людвиг (1824–1899) — немецкий физиолог, представитель вульгарно-механистического материализма в естествознании, автор книги «Сила и материя», вышедшей в 1855 году.

Тэн Ипполит (1828–1893) — реакционный французский писатель, историк, теоретик искусства.

Фогт Карл (1817–1895) — немецкий естествоиспытатель, один из представителей вульгарно-механистического материализма в естественных науках.

Авдеев Михаил Васильевич (1821–1876) — беллетрист, взгляды и литературная манера которого сложились под влиянием произведений Тургенева. Наибольшим успехом пользовался его роман «Подводный камень», печатавшийся в «Современнике» и затем вышедший отдельным изданием.

Словацкий Юлий (1809–1849) — один из крупнейших польских поэтов-романтиков XIX века.

«*Дон-Жуан*» — роман в стихах Байрона.

Гош Лазар (1768–1797) — французский пол-

ководец эпохи буржуазной революции 1789–1794 годов во Франции.

Дантон Жорж (1759–1794) — знаменитый деятель французской революции, адвокат по профессии.

Мордовцев Даниил Лукич (1830–1905) — историк, беллетрист и публицист. Его роман «Знамена времени» из жизни русской передовой интеллигенции пользовался большой популярностью в начале 70-х годов.

Омулевский (псевдоним Федорова Иннокентия Васильевича) (1836–1883) — поэт, беллетрист.

«Что делать?» — роман Николая Гавриловича Чернышевского (1828–1889) появился в журнале «Современник» в 1863 году и был восторженно принят молодым поколением.

«Историческими движениями русского народа» — настоящее название этой книги исторических монографий Д. Мордовцева — «Политические движения русского народа»; вышла в 1871 году.

А на их месте уже кипели другие, для которых настала своеобразная очередь этой повинности... — В первоначальной редакции

(«Русское богатство», 1908, № 10) это место заканчивалось так: «И с каждым десятилетием волнение росло, пока назрело движение семидесятых годов, потрясшее все общественное здание небывалыми эпизодами борьбы одинокой еще интеллигенции. Это и было оправданием смутных предопределений: „молодежь“, во-первых. А теперь, когда туча уже надвинулась и охватывает в событиях последних годов весь горизонт нашей жизни, мы слышим первые зловещие раскаты: это „народ“, во-вторых, выступает своей тяжелой поступью на арену общественной жизни... „Смутные предчувствия“ шестидесятых и семидесятых годов оказались далеко не такими наивными, как могло казаться иному „трезвому“ взгляду...»

«Один в поле не воин» — роман немецкого писателя Фридриха Шпильгагена (1829–1911).

Чайльд-Гарольд — герой одноименной поэмы Байрона.

Аммалат-Бек — герой произведения Марлинского (А. А. Бестужева) «Аммалат-Бек (кавказская быль)».

Рахметов — один из героев романа «Что

делать?» Н. Г. Чернышевского.

...другой шпильгагенский герой из «Между молотом и наковальней». — Герой этот — Георг Гартвиг, от лица которого ведется повествование.

...в конце июня 1870 года. — Здесь у автора ошибка в дате: он окончил ровенскую гимназию в 1871 году.

Драгоманов М. П. (1841–1895) — идеолог украинского буржуазного национализма, историк, публицист, фольклорист.

Ткачев Петр Никитич (1844–1885) — один из теоретиков народничества, сторонник утопического, «крестьянского» социализма, публицист и литературный критик. В 1869 году Ткачев был арестован по нечаевскому процессу и в 1871 году осужден на один год четыре месяца тюрьмы. В 1873 году бежал за границу, где с 1875 по 1880 год издавал журнал «Набат».

Дементьева Александра Дмитриевна (1850–1922) — жена П. Н. Ткачева. По процессу нечаевцев в 1871 году присуждена к тюремному заключению на четыре месяца. Эмигрировала за границу и вместе с Ткачевым издава-

ла «Набат».

Нечаев Сергей Геннадиевич (1847–1882) — анархист-бакунист, сторонник авантюристической заговорщической тактики, продиктованной неверием в возможность организовать массу на борьбу с царизмом. В 1869 году был одним из руководителей студенческого движения. Организовал в Москве, главным образом в Петровской сельскохозяйственной академии, ряд кружков заговорщического типа. Встретив оппозицию своим методам борьбы в лице студента Иванова, убил его и уехал в Петербург. Узнав, что в связи с убийством Иванова в Москве начались аресты, Нечаев бежал в Швейцарию. В 1872 году Нечаев был выдан русскому правительству и в 1873 году присужден к двадцати годам каторги. Умер в Петропавловской крепости.

Тимашев А. Е. - министр внутренних дел с 1868 по 1878 год.

Трепов Ф. Ф.- петербургский градоначальник. За то, что им дано было приказание наказывать розгами политического заключенного Боголюбова, Вера Засулич в 1878 году стреляла в Трепова.

Детская любовь*

Отрывок этот по первоначальному плану автора должен был составить отдельную главу (XXIII) первой книги «Истории моего современника», о чем есть упоминание в письме Короленко к жене от 23 сентября 1905 года.

Сырокомля Владислав (1823–1862) — псевдоним польского поэта Кондратовича.

Басина внучка. — Бася и ее внучка выведены в незаконченной повести «Братья Мендель» (см. второй том настоящего собрания сочинений).

«*Айвенго*» — роман Вальтера Скотта

Сенкевич Генрих (1846–1916) — известный польский романист.

Поль де Кок (1794–1871) — французский романист, пользовавшийся в свое время популярностью у малотребовательных читателей.

Мое первое знакомство с Диккенсом*

Очерк, дополняющий главу XXIX первой книги «Истории моего современника», впервые был опубликован в «Неделе современно-го слова» (1912, № 199 от 30 января), а затем

включен автором в собрание сочинений изд. А. Ф. Маркса.

Д'Артаньян — герой романа Александра Дюма «Три мушкетера».

«Кавалер de Maison rouge» («Le chevalier de la Maison rouge») — роман Александра Дюма.

Однажды я принес брату книгу. — Речь идет о романе Диккенса «Домби и сын».

Примечания

Блоха отплясывает на барабане (*пол.*). — *Ред.*

[^^^]

«Souterrains» — подвальный этаж. (Здесь и далее, где это не оговорено особо, примеч. В. Г. Короленко. — *Ред.*)

[^^^]

Легенду о вмешательстве иностранных держав в дело освобождения я слышал еще много лет спустя в Арзамасском уезде Нижегородской губернии.

[^^^]

4

СКОТ, СКОТИНА (*пол.*), — *Ред.*

[^^^]

5

Служащие в имении (пол.). — Ред.

[^^^]

Линейка (фр.). — Ред.

[^^^]

Веселый вид (*фр.*). — *Ред.*

[^^^]

Довольно!., (фр.) — *Red.*

[^^^]

«Боже, что Польшу столь долгие годы...»
(пол.) — Ред.

[^^^]

10

O Boze-z moj, Boze! Jakim ja biedny! Kto-z mi
dopomoze!

[^^^]

Ханжа, святоша (*пол.*). — *Ред.*

[^^^]

12

У кого линейка? (фр.) — Ред.

[^^^]

Брожению, волнению (*пол.*). — *Ред.*

[^^^]

Свобода действий (*фр.*). — *Ред.*

[^^^]

Deo Optimo Maximo — во славу величайшего и высшего бога (*лат.*). — *Ред.*

[^^^]

Человек (нем.). — Ред.

[^^^]

Осел (*лат.*). — Ред.

[^^^]

Был генерал-губернатором Юго-Западного края с 1865 по 1868 год. Ярый обруситель.

[^^^]

Новый человек (*лат.*). — *Ред.*

[^^^]

Полк (*пол.*). — *Ред.*

[^^^]

Гарнолуужского дворянства (*лат.*). — *Ред.*

[^^^]

Падение нравов гарнолужского дворянства
(лат.). — *Ред.*

[^^^]

Завалинке (укр.). — *Ред.*

[^^^]

«Величественный» (пол.). — Ред.

[^^^]

Эта часть истории моего современника вызвала оживленные возражения в некоторых органах украинской печати. Позволю себе напомнить, что я пишу не критическую статью и не литературное исследование, а только пытаюсь восстановить *впечатление*, которое молодежь моего поколения получала из своего тогдашнего (правда, неполного) знакомства с самыми распространенными произведениями Шевченка. Верно ли передаю его? Думаю, верно. Это была любовь и восхищение. Но... стоит вспомнить сотни имен из украинской молодежи, которая участвовала в движении 70-х годов, лишенном всякой националистической окраски, чтобы понять, где была большая двигательная сила... Движение «в сторону наименьшего (национального) сопротивления», как его называет один из критиков-украинцев, вело сотни молодых людей в тюрьмы, в Сибирь и даже (как, например, Лизогуба) на плаху... Странное «наименьшее сопротивление»...

[^^^]

Оторвавшийся от своего стебля,
Бедный засохший листок,
Куда ты несешься? — Не знаю... (*фр.*) — *Ред.*

[^^^]

Кепство — глупости (укр.). — *Ред.*

[^^^]